



*Николай ПСУРЦЕВ*

# **ПЕРЕГОН**





---

*Николай ПСУРЦЕВ*

**ПЕРЕГОН**

ПОВЕСТИ



---

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1989

ББК 84Р7  
П 86



Николай ПЕРВОН

Николай ПЕРВОН

ПЕРВОН

ПЕРВОН

П • 4702010201—005  
078(02)—89 177—89

ISBN 5-235-00390-X

© Издательство  
«Молодая  
гвардия»,  
1989 г.



## ПЕРЕГОН

Он мог не пойти по этой улице. По ней редко кто ходил. За исключением, конечно, тех, кто там жил, кто обитал в этих серых, неуютных с виду домах-глыбах, домах-булыжниках. Если смотреть на них прищурившись, чтобы окна превращались в расплывчатые темные провалы, а карнизы и водосточные трубы в веревочки трещин, здания и впрямь напоминали огромные валуны, валявшиеся здесь тысячи, миллионы лет, еще с ледникового периода. Четырехэтажные, коренастые, угрюмые, они даже днем, даже солнечным разудалым утром нагоняли тоску, а вечером и ночью так уж и подавно. В каждом большом городе, наверное, есть такие улицы. И без сомнения, те, кто строил их, и думать не думали, что их творения будут представлять такую угнетающую унылость, а вот вышло так, хотели не хотели, а вышло, и все тут. И даже деревья, ютившиеся возле домов, чахлые были, поникшие, щербатые. По всему городу — яркие, мясистые, а здесь щербатые. А по вечерам на всю улицу лишь пара фонарей. Больше, может быть, и не надо, улица-то короткая, прямая, без ям, без выбоин, без коварных асфальтовых трещин, не споткнешься, не упадешь; туда, куда надо, наверняка выйдешь, к Звездному бульвару, к автобусам и троллейбусам, к свету, к толпам спешащих людей — так что, может быть, больше и не надо фонарей. Но все равно там редко кто ходил. К бульвару через другую улицу шли, параллельную, широкую, светлую, веселую, довольную собой, эдакую преуспевающую улицу, с широченными прямоугольниками магазинов, с кое-какой неоновой рекламой, не совсем новую, может быть, даже ровесницу той, своей соседки. А если помоложе, то ненамного. Данин здесь бывал не часто, когда необходимо было приехать в институтские архивы, когда без этого просто не обойтись или когда начальство требует, проверив вдруг книгу посещений и рассвирепев от лени и нелюбознательности своих сотрудников. Для кого-то архив этот наверняка представлял интерес. Там было много неизученных, занятых, очень редких документов, но того, что вот уже



полтора года интересовало Данина, там не было. Для этого надо было ехать в Ленинград, в Москву, самому искать, самому копаться в архивах, потому что по запросу для тебя этого делать не будут, а если и будут, то так долго, что замаешься ждать. Правдами и неправдами два раза он уже вырывался в краткосрочные командировки, кое-что успел, но это был мизер, песчинка из того, что он хотел узнать. Так что и жизнь и деятельность начальника Петербургской сыскной полиции Николая Александровича Румянцева, его роль в раскрытии крупнейшего преступления начала века — ограбления Ростовского банка, еще оставалась для Вадима скрытой завесой не то чтобы уж неизвестности, но скажем так, малой известности. А дело это было наинтереснейшее. Правительство России привлекло к нему заморских специалистов, детективов из сыскного бюро Ната Пинкертон, а все равно раскрыл-таки его наш сыщик, отечественный, — полковник Румянцев. Руководство института и непосредственный начальник Вадима смотрели на эти его изыскания косо, с сомнением и недовольством, но пока не препятствовали, если это не мешало основному заданию группы, в которой работал Данин.

Вышел он в тот день из архива поздно, когда уже вежливо, но со старательно скрываемым раздражением, сонные, уставшие за день, похожие друг на дружку, как близнецы, пожилые дамы-архивариусы, чуть ли не в один голос попросили его доделать столь важную и неотложную работу завтра, с утречка пораньше, а сейчас домой, баньки, нам еще, мол, все проверить надо, по местам разложить, под охрану сдать... Он с охотой согласился — самому опостылело уже заниматься тем, что мало тебя трогает, хотя и надо было доделать все до конца, чтобы не приезжать завтра. Вышел, вздохнул глубоко, в который раз подивился, порадовался сладости, свежести августовского воздуха, в котором еще остались ароматы лета, хотя и примешивались уже к ним едва уловимые запахи осенней свежести и прохлады. Вадим огляделся, людей почти не было — двое-трое на другой стороне переулка — вынул сигарету, хотел закурить, но раздумал; воздух нынешний, плотный, обволакивающий, показался таким благостным, умиротворяющим, что сигарета сейчас только помешала бы, инородной была бы, чужой. Вадим сунул руки в карманы брюк, поежился от удовольствия и зашагал по переулку,

по самой мостовой, благо, что машины тут ходят редко и к тому же сбавив скорость до минимума — в начале переулка для них висел знак. Переулок уходил вправо — он кривенький был, старенький, не одно десятилетие застраивался, а потом через полсотни метров раздваивался, как змеинный язычок. Вправо та самая светлая и преуспевающая улица шла, слева в зыбком, неестественном свете — будто сами дома тускло светились — виднелась пустынная ее соседка.

...Он мог бы и не пойти по этой улице, а уверенно и привычно двинуться вправо и выйти к бульвару. И уже дошел до начала, уже различил приветливый ее лик и тут подумал, а почему влево-то никто не идет? Там же ближе, наверное, скорее к бульвару можно выйти, правда, от остановки дальше, да ему, собственно, и остановка-то не нужна, он решил сегодня побаловать себя, на такси домой махнуть. А подумав так, вспомнил, что когда возвращался из архива с коллегами, с женщинами из института своего, они почему-то здесь шаг убыстряли и первыми всегда говорили, указывая равнодушно рукой на преуспевающую улицу, мол, там пойдем, там ближе. Что за страхи такие? Или просто людей всегда к светлому, более радостному, более красивому, преуспевающему тянет? Они, видя все это, лучше себя чувствуют, у них надежда появляется или не пропадает по крайней мере, если была. Вадим усмехнулся — доработался, о какой ерунде думает. Значит, на такси, значит, влево, там все-таки ближе. Он пошел быстро, потом замедлил шаг непонятно почему. Показалось вдруг, будто пахнуло сыростью, тяжелой могильной сыростью. Он мотнул головой — точно, вегетативно-сосудистая дистония, сейчас тени мерещиться начнут. Нет, теперь уж он точно пойдет, посмеиваясь, по этой улице; преспокойно выйдет затем на бульвар, возьмет такси или частного и через десять-пятнадцать минут он дома. И посмеиваться будет над теми, кто по непонятно каким причинам не решался идти по этой тихой, безлюдной улочке, а повинуюсь какому-то инстинкту, направлялся туда, где люди, где много таких, как он, где терялся среди похожих на себя, спешащих, деловитых, сосредоточенных, становился неотъемлемой их частью, растворялся в них, исчезал... А он вот, Данин, не исчезнет, не растворится, он пойдет один, не как все, против всех, и от этого было немножко приятно, и еще приятно было от того, что, если он и ощущал хоть какие-то со-

мнения, крохотные, ничтожные, то преодолел их. Это было как игра, с детства, с юности. Когда идешь, например, по улице и впереди себя видишь пьяную компанию местных забулдыг-драчунов, а с ними своих же сверстников, смачно сплевывающих, с нагловатой ухмылкой задирающих прохожих, чувствуя свою безнаказанность, потому что слышат за спиной тяжелое пьяное дыхание защитников. И так и тянет перейти на другую сторону или вовсе вернуться и подождать, пока те не уйдут. Ты один, и никто тебя не осудит, но не переходишь и не возвращаешься, а, преодолевая слабость в коленках и знобкую дрожь в желудке и незаметно облизывая вмиг пересохшие губы, идешь прямо, стараясь держаться как можно непринужденней и спокойней. Потому что если не пойдешь, то потом так прескверно себя чувствовать будешь, — недолго, правда, наутро чувства притупятся, но осадок останется, и потеряешь уверенность в себе. И походка у тебя изменится, и голос вдруг станет тише, и в споре будешь обязательно проигрывать и, вообще, ни с того ни с сего вдруг жалеть себя станешь. Но зато уж, если переломишь себя, деревянным шагом пройдешь мимо, да еще ответишь осипшим голосом дерзостью на дерзость и даже, если просто промолчишь, то уж тогда ты другой человек. Страх уходит, и сердце успокаивается, и наваливается тихая приятная радость, и губы ты сжимаешь плотнее, и взгляд делается тверже, насмешливей, ты ощущаешь это, ты видишь это по реакции других...

Данин усмехнулся. Смешно все это. Мальчишество. Ерунда. И, конечно, совсем не потому он направился по этой улице, чтобы доказать себе, что он решительный и достаточно смелый мужчина. Обыкновенная улица, обыкновенные дома, и живут там славные и добрые люди. И совсем она не мрачная и унылая, а даже наоборот, вон даже кое-где в окнах милые кокетливые занавесочки висят, а из углового окна на четвертом этаже музыка льется ласковая, неспешная — кажется, Тото Кутуньо. А пошел он потому, что не хотелось тереться среди людей, устал за день, а во-вторых, поскорее хотелось домой, к себе в однокомнатную удобную квартиру. Там, правда, никто не ждет его, да и слава богу, не надо отвечать на вопросы, почему-то всегда очень глупые ближе к ночи, даже если задает самая умная женщина на свете: «Почему так поздно? Почему не позвонил? Почему не голодный?» и т. д. и т. п.



Тото Кутуньо, наверное, пел про что-то очень хорошее, потому что голос у него был медовый, проникновенный. Захотелось подтянуть, запеть вместе с ним, и представилась вмиг красивая, с умными глубокими глазами женщина (а секунду назад так не хотелось, чтобы тебя ждали) в строгом, но соблазнительном вечернем платье, и сам он себе увиделся в смокинге, в белой рубашке, загорелый, чуть утомленный, с небрежно зажатой меж пальцев сигаретой, что-то вполголоса, усмехаясь краешком губ, рассказывающий своей очаровательной собеседнице... Он вздрогнул, вдруг явственно услышав женский голос:

— Хватит! Все! Пусти, пусти меня! Я крикну сейчас... — Она и вправду пока не кричала, но истошный, режущий крик уже подбирался откуда-то изнутри к ее голосовым связкам, еще секунда, еще мгновение... Вадим понял это так же отчетливо, как если бы сам оказался на ее месте. Он огляделся. Никого.

— Да стой же ты, дура! — Мужской голос был низкий, прерываемый дыханием, обладатель его, наверное, хотел говорить спокойно и усмешливо, но слова прозвучали надрывно и угрожающе: — Куда? Куда ты пойдешь? К мужу? Ну иди, сволочь! Иди...

А потом Данин услышал звук удара, глухой, пугающий, потом еще один, а потом голос, другой, тоже мужской, пониже, визгливый, испуганный:

— Ты что! Убьешь ведь! Она и так еле дышит! Заявит ведь!

— Не заявит... — Переводя хриплое дыхание, отозвался первый. — Не заявит, уж я-то знаю. Не заявишь, ведь правда? Молчишь?

И опять удар...

Вадим остановился, как врос в асфальт, ноги перестали слушаться.

— Тихая улица, — пробормотал он, стараясь сбить дрожь внутри. — Добрые люди...

Он зачем-то расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, потом сделал шаг, ноги опять подчинялись. Уже дело. Назад? Бог с ними, сами разберутся. А если муж и жена скандалят? Твое-то какое дело, тебя же и обвинят. А если нет? Ну и что? Они же знакомые, явно, что знакомые. Зачем встревать? Другое дело, что он бьет, и сильно бьет, и он не один. Да черт с ними в конце концов! Испугался? Уйдешь? Как же ты потом будешь себя ощущать? Наверное, так же, как и прежде,

ты же не маленький уже. И не будет у тебя, как тогда, в детстве, походка меняться и голос глохнуть... И опять-таки никого нет ни на тротуарах, ни на мостовой. Ты и они. Они и ты. И тебя никто не видит. Они за углом где-то, во дворе... Да и к тому же, право слово, кто-нибудь да высунется, не пустой же дом, слышат же люди, найдется хоть один из них нормальный человек. А ты ненормальный? Ты же слышишь? И ведь знаешь, что спать не будешь, если уйдешь; паршиво тебе будет, если уйдешь. В конце концов силенка у тебя тоже есть, ты же теннисист.

Он ощутил, как каждая мышца налилась, эластичной стала, упругой, и дрожь под желудком утихать стала, и через мгновение он и вовсе перестал думать о чем-либо. Побежал бесшумно, благо в кроссовках был, притормозил у угла и стремительно выскочил перед темными фигурами, как чертик из шкатулки. Женщина лежала на земле, возле нее стояли трое. Значит, их трое. Внезапно кураж пропал, и навалилась тоска, щемящая, расслабляющая, именно тоска, а не страх. И в последнем усилии, не надеясь уже ни на что, он яростно вскрикнул:

— Всем стоять! Не шевелиться! Я из милиции!

Почему из милиции, сам не понял, наверное, потому, что в таких случаях это слово само на ум приходит, оно как спасительная соломинка, как избавление, как щит. И верно, эти трое застыли, кто как был, один с рукой поднятой, другой с отведенной чуть назад ногой, третий просто так, по стойке «смирно» замер. Вадим не видел их лиц, они были скрыты темнотой, одно лишь окно в этом доме со двора горело. Но очертания темнота не размывала, не скрадывала. Фигуры он видел отчетливо. А хорошо бы сейчас еще и лица видеть, поверили или нет, или просто в шоке находятся секундным, мгновенным. Если в шоке, то закрепить успех надо. Они тоже, наверное, его очертания видят, за каждым движением следят. Данин потянулся рукой к внутреннему карману куртки, медленно, но уверенно, будто за пистолетом, и добавил уже тише, пытаясь придать голосу твердость, чтобы чеканней его слова прозвучали:

— Стойте спокойно. Попробуйте не навредить себе. Одно движение — и будет худо.

Сказал и подумал: а что дальше, сколько они так стоять будут — минуту, час, два? До каких пор? Крикнуть, позвать на помощь? Сразу поймут, что он не тот,

за кого выдает себя, и что тогда? Бежать? И опять тоска прихватила где-то внутри. «Зачем, зачем, господи?» — болью стучало в висках. Оцепенение прошло, фигуры зашевелились, чуть заметно без резких движений. Но положение их изменилось, один руку приспустил, другой подтянул ногу. Этого и боялся Данин. Они приходят в себя, они начинают думать. Что же делать теперь? И лежащая на земле женщина тоже чуть сдвинулась с места, приподнялась, оперлась на руку, светлое платье ее четко угадывалось в темноте.

Тот, что в середине был, и вовсе опустил руки, прокашляв, сказал тихо, вкрадчиво:

— Послушайте, товарищ, что вам угодно? Вы так напугали нас, так внезапно выскочили, что мы сразу толком-то и объяснить ничего не могли. — А голос подрагивал, причудливо менялась его тональность: не справился, видать, его обладатель еще с волнением, со страхом первоначальным. — Повздорили вот с девушкой, поспорили, а сами знаете, женщины — они неуправляемые, истерички, и пришлось вот успокоить, а вы сразу — не шевелиться, стоять... Вы уж простите, пошумели малость и разойдемся, правда, ребята?

Двое молча кивнули согласно, переступили с ноги на ногу, разминая напрягшиеся мышцы. Они уже успокоились, решили, что все обойдется. «А может, и впрямь уйти?» — вяло подумал Данин. Он жалел уже, что ввязался, не от страха жалел, а от того, что действительно не в свое дело влез, и ребята вроде не плохие, нормальные ребята, и тот, что говорил, видно, грамотный, интеллигентный малый, судя по речи во всяком случае. Да, можно и уйти. Совесть его чиста, он доволен, он будет спать спокойно.

Глаза пообвыкли, и теперь он яснее различал фигуры. Тот, что голос подавал, был худой и стройный; который справа от него — нескладный, громоздкий, с приспущенным левым плечом, в кепке, маленькой, клеенчато поблескивающей; у третьего Вадим успел разглядеть большую продолговатую голову и кривые ноги. Лица все так же тонули в чернильной темноте.

— Ну хорошо, — сказал Данин, — хорошо. Только девушку поднимите. И расходитесь.

Он сделал шаг назад, потом еще один, повернулся неторопливо, зашагал вразвалку, спокойно, чтобы не было видно, что хочет он уйти поскорее, что быстрее за



угол зайти стремится. Но тут внезапно больно по ушамхватило — взвился безнадежный крик:

— Не-е-е-т! Не уходите! Они убьют меня!

И не думал он уже ни о чем, не решал ничего, не размышлял, развернулся автоматически, как по команде, как на тренировке, сорвался, словно с высокого старта, опять руку под куртку сунул, хотел уже гаркнуть: «Стреляю!» — понадсадней гаркнуть, пострашнее, но не успел, метнулись парни в стороны. Один через палисадник, другой к забору, к железным воротцам, а третий, тот, что уговаривал его, вдоль дома, а там за угол можно — и на улицу. Умело удирали, будто не впервой. Вадим кинулся за тем, третьим. Посмотрим, кто кого, уж с тобой-то одним я справлюсь.

Но не успевал за ним Данин, тот бегал отменно и, как показалось Вадиму, даже профессионально, не простой это любитель бега был, или, может, так ему только показалось. Парень сделал ошибку, когда перед углом дома уже, у освещенного окна повернулся, чтобы посмотреть, далеко ли успел пробежать его преследователь, и Данин разглядел его лицо, цепко разглядел, четко, как сфотографировал. Так только в минуты высочайшей собранности и напряженности бывает, как сейчас. Симпатичный парень был, даже можно сказать — красивый, но это потом уже Вадим отметил, когда вспоминал его лицо. И волосы его светловатые отметил, и широко расставленные глаза, и густые брови, и впалые щеки, и тонкие губы энергичного рта, и то, что парень этот не совсем и парень, а мужчина лет тридцати—тридцати двух... А пока Вадим бежал, с каждым метром отставая, а через сотню метров уже на улице просто споткнулся о неведомо откуда взявшийся кирпич, видимо, с машины упавший или мальчишками принесенный, и рухнул на мостовую вперед лицом. Только руки вытянутые и спасли. Упав, перекатился на бок, прервал дыхание, замерев на секунду, вскочил, огляделся, а парня уже и след простыл. Данин сплюнул, махнул рукой, потом усмехнулся такой искренней своей досаде и повеселел от этой усмешки. Вот тебе и приключеньице. А что, славно вышло. Хоть разнообразие какое-то. А то все работа, дом, диссертация, случайные женщины, скучные беседы с друзьями, опостылевшие рестораны...

Обратно вернулся тоже бегом, волновался: что там с женщиной? Она уже поднялась и, опираясь на дерево,





отряхивала платье. Движения ее были скованны, будто каждое из них ей давалось с трудом и болью. Увидев Данина, она выпрямилась, убрала набежавшие на лоб волосы назад, обратила лицо к нему. Он в темноте разглядел ее улыбку и сразу понял, почувствовал, каким-то другим зрением усмотрел, что она очень даже хороша. По всему это заметно было, и как руку поднимает, как поворачивает голову, как платье отряхивает. Вот сейчас ей не очень здорово, а все равно, глядите, как держится. Такое не отрабатывается перед зеркалом, с этим рождаются, как с голубыми или карими глазами, как с родинкой на щеке. Поскорее хотелось на свет ее отвести, рассмотреть, что же у нее за лицо, хотя он уже знал заранее: чудесное лицо. Ну просто роман какой-то. Бандиты, пленная красавица, рыцарь-избавитель — тоже недурен, высок, строен, независим, умен. Черт побери, как все чудно складывается. Вадим был в прекрасном расположении духа.

— Самочувствие? Жалобы? — улыбаясь, спросил он.

— Отвратительное! — Женщина тоже постаралась вновь улыбнуться. — Хочу домой.

Она оттолкнулась от дерева, качнулась и чуть не упала. Вадим подхватил ее. Чудесное, жаркое, ароматное тело. Данин почувствовал, что лицо его запылало. Вот еще не хватало, сроду не краснел. Она вежливо отстранила его.

— Сумочка, — проговорила растерянно, — не унесли же они ее! — Женщина, поморщившись, неловко обернулась, остановила взгляд на единственном подъезде. — Или у Митрошки она осталась?

Вадим тоже пошарил глазами вокруг, но ничего не увидел.

— Ну да бог с ней, — женщина махнула рукой. — Там, собственно, и не было ничего, да и старенькая уже, бог с ней.

Да, извините, — она опять повернулась к Данину. — Спасибо вам огромное. Я думала уже все. Просите, что хотите. Ну что вы хотите?

— Я уже все получил.

— Не поняла.

— Слова благодарности. Вот что нужно благородному мужчине от женщины.

Она слабо усмехнулась:

— Пошли.

Ступала она еще нетвердо, но усилием воли застав-



лила себя держаться прямо, чтобы не дай бог кто не увидел, что она не такая, как всегда, что у нее что-то не так. Иные женщины, наоборот, стараются выглядеть измученной, утомленной, чтоб пожалели их, приласкали, доброе слово сказали, а эта, видно, не из тех, у этой всегда все хорошо на лице, что бы ни случилось, макияж и улыбка, даже если не совсем веселая, но все же улыбка. Тускло-желтый, как кошачий глаз, фонарь высветил ее лицо с одной стороны — свет упал удачно, славное было у нее лицо при таком свете: мягкое, большеглазое, яркое. На такие лица оборачиваешься, взглядом провожаешь, жалеешь, что не с тобой эта женщина, помнишь ее некоторое время, даже если мельком вполоборота увидишь, все равно помнишь. Но все же был недостаток у нее, был — нос маловат, короток и ниже переносицы словно продавленный немного. А может, наоборот, достоинство это — ведь так гармонично смотрится все ее лицо. «Выглядит она замечательно, — подумал Данин. — Но за тридцать уже, за тридцать. Ну что ж, мне тоже без года тридцать. Самый раз». Подумал так, но знал, что ничего не будет, не станет он сейчас куражиться, ухаживать за этой прелестницей чуть насмешливо-снисходительно и по-мужски ласково в то же время, как умел. Знал потому, что не чувствовал в себе этой потребности. Чего-то не было в спасенной красавице того, что любил он в женщинах, чего-то не хватало. «Щепетильным ты стал в женском вопросе, — усмехнулся он про себя. — Избаловали...»

— Вы и впрямь из милиции? — спросила она с едва заметной насмешкой и откинула голову чуть вбок, чтобы удобней было на него смотреть.

— Нет, — сказал Данин. — Не из милиции. Это я так, для острастки, для большей убедительности. Как увидел, что их трое, так и обмер. Задребезжали коленки-то, вот и сказал.

— Откровенно вы, — она повела подбородком, то ли одобрительно, то ли удивленно. — Немногие мужчины решаются говорить о своих страхах.

— Это я так, чтобы вам понравиться, — сказал Вадим. — Женщины любят, когда мужчины смело признаются им в своих недостатках. Отдельных, скажем так, недостатках. Женщинам такие мужчины кажутся свободными от условностей, делаются ближе. Верно?

— Верно, — рассмеялась женщина. — Вы знаток. Теоретик или практик?

— Все понемножку.

Так и есть — исчез завод. Пропало желание знакомиться, просить телефон. Что сбило его, он никак не мог понять. Нестерпимо хотелось домой.

Женщина вдруг снова качнулась, как тогда, у дерева, прихватила лоб руками, остановилась, задышала часто.

— Что, что с вами?! — Вадим поддержал ее за локоть.

— Сейчас, сейчас, — ослаб голос, и слова она будто выдохнула. Руки сползли со лба, опустились, коснулись живота, вжались в него пальцами. Женщина согнулась и выпрямилась тотчас. Данин нахмурился. Они были почти у бульвара, людей прибавилось. На них стали обращать внимание. Они снова пошли, только уже медленней.

— Знакомые ваши? — спросил Данин, всматриваясь в свою спутницу.

— Где? — испуганно огляделась женщина.

— Ну те, которые удрали?

Она замешкалась на мгновение.

— Да нет...

— Ну как же «нет»? Я же слышал разговор.

— Какой разговор? Что вы слышали? — Лицо ее обострилось, будто высохло. Взгляд, недобрый, колкий, метнулся к нему и опять ушел в сторону.

Вот те на. Не хочет говорить о своих знакомцах. Занятно.

— Ну как же, разговор про мужа, еще про чего-то там.

Это Вадим уже под дурака решил сыграть. Интересно ему стало.

— Не знаю, вам показалось. Поняли: показалось вам! — Она говорила раздраженно, с нажимом. — Случайные хулиганы пристали...

— Да не похожи они на хулиганов, — с добродушным упорством настаивал Данин. — Я того белобрысого разглядел, симпатяга. Мне лицо его знакомым даже показалось.

— Врете вы все, — всхлипнула женщина, — врете, никого вы не видели.

Данину стало скучно. Он пожал плечами. Ну не видел, так не видел.

— Дело ваше, — сказал он. — Где вы живете?

— Не провожайте, — женщина сморщилась неприязненно. — Я сама доеду.

— Вот вам и благодарность. В кои-то веки доброе дело сделал.

— Оставьте адрес, — прервала она его, — я вам подарок сделаю, дорогой.

Вадим присвистнул. Лихая дама. Адрес, конечно, он не оставит и провожать точно не поедет после таких слов, но на такси хотя бы ее надо посадить.

Он посмотрел на часы, скоро полночь, а народ на бульваре гуляет, как днем. А впрочем, неудивительно, последнее тепло лето отдает. Он вышел на дорогу, поднял руку. Женщина встала рядом. Она поняла, что он ловит машину для нее.

— Не обижайтесь, — примирительно сказала она. — Нервы. Я испугалась...

Зеленые огоньки убегали, даже не притормаживая. Ехали в парк, на отдых или еще куда за денежным пассажиром. Хотя чем Данин не денежный пассажир, с виду хотя бы? Джинсы, кроссовки, модная коротенькая лайковая куртка — подарок мамы — ну просто преуспевающий молодой мужчина. Остановился наконец. Данин взялся за ручку дверцы и почувствовал вдруг, как на него наваливается сзади что-то тяжелое. Вадим неестественно вывернул голову — пытаюсь ухватиться за него негнушимися пальцами, женщина медленно оседала на землю. Он развернулся проворно, подхватил ее под руки, и голова ее тут же запрокинулась, закатились зрачки на глазах. По-мертвецки жутко глядели на Вадима белые узкие щели. Придерживая женщину одной рукой, другой открыл заднюю дверцу и кое-как втиснул ее, вялую, обессиленную и показавшуюся почему-то невероятно тяжелой, на сиденье. Шофер удивленно вытаращился на них.

— Пьяная, — брезгливо сказал он, сморщив узенький лоб. — Не повезу, нагадит еще.

— Повезешь, — не поворачивая головы, перебил водителя Данин. — В больницу повезешь, ближайшую...

Ехали минут пять, больница совсем неподалеку оказалась. С километр по бульвару, потом направо и еще направо, на скромную улочку с милыми сердцу домами довоенной еще постройки — эркеры, внушительные каменные карнизы, балконы. Бывал Вадим здесь, ходил по этой улице, а так ни разу внимания и не обратил, что здесь больница имеется. Ее, правда, трудно было при-



метить — все корпуса там, в глубине, а на улицу только фасад трехэтажного, желтого, украшенного тремя тощенькими колоннами здания выходит. У входа неприметная стеклянная дощечка с неброской тусклой надписью «Городская больница № 5». Пройдешь и глазом не ухватишь, поленишься прочесть, подумаешь, учреждение какое-то, много их тут. А таксисты, они все про больницы и поликлиники знают, про больницы и милицию, их первым делом этому обучают, как в парк только они приходят. Подкатил прямо ко входу, притормозил мягко, повернулся, сказал совсем тихо, будто звук его голоса мог повредить больной:

— Здесь приемный покой, вы пойдите позовите кого, а я посижу, — и кивнул Вадиму по-дружески, будто не первый год его знает. Всего пять минут ехали, а уже вроде как знакомые — сближает беда, даже такая, не совсем уж, наверное, и великая.

Данин взлетел по ступенькам, толкнул дверь. Пухлая добродушная женщина с красным носом-пуговкой и румяными щеками выслушала его внимательно, набрала номер на телефоне, позвала санитаров с носилками, и когда те пришли — молодые, крепкие, практиканты, видимо, студенты, — сама встала из-за стола, хотя и тяжело ей было (Вадим видел, как поморщилась она, ступив на отекавшие, больные ноги), и держала дверь до тех пор, пока не внесли санитары носилки.

Вадим расплатился с таксистом, тот даже руку протянул на прощание, удачи пожелал, утешил мимолетно, мол, всякое бывает, обойдется, и, опять съежив узкий свой лоб, который так портил открытое пухловатое его лицо, включил скорость.

Возле женщины остался только один санитар, угловатый, длиннорукий, с костлявым наивным лицом. Он старался держаться уверенно, профессионально, как учили, и от этого еще больше чувствовалась в нем растерянность, и лицо его приобрело совсем уж детское выражение. Когда Вадим вернулся, он мерил женщине давление.

— Откуда у нее синяки на шее и руках? — спросил санитар, снимая стетоскоп. — Свежие синяки.

Вадим пожал плечами.

— Я подобрал ее на улице, — сказал он. — Хулиганы пристали.

— Били? — сурово спросил санитар. Он хотел казаться взрослым, этот мальчик.

— Видимо, били, я появился уже после. Что с ней?

— Потеря крови. Тяжелое состояние.

— Потеря крови? — Вадим изумился. На теле он не видел ни единой раны.

— Схожу за врачом, — выпрямляясь, сказал санитар. — Только вы не исчезайте.

И опять в который раз за сегодняшний вечер пожалел Данин, что встрял в это совсем теперь уже непонятное дело. Лежал бы сейчас себе дома, смотрел телевизор или болтал с кем-нибудь по телефону. Спокойно, привычно, знакомо. А теперь вот больница, пугающие, нелюбимые с детства запахи, угнетающая тишина, неестественная неуютная чистота и ощущение поселившегося здесь навеки горя, беды.

Вадим подошел к носилкам, склонился над женщиной. И словно почувствовала она взгляд, дрогнули веки, разлепились с трудом. Удивление в глазах, страх, страдание...

— Что со мной?

— Это у вас надо спросить, — без всякого сочувствия ответил Данин. Потом спохватился, нельзя так резко, она не виновата, что он не дома.

— Вы потеряли сознание, и я привез вас в больницу, — добавил он мягче.

— В больницу? Зачем в больницу?

Испуг был самый искренний, неподдельный, будто не в клинику она попала, а в морг, на кладбище или живьем в могилу. Она была решительной женщиной — перевозмогая себя, приподнялась, оперлась на локти, хотела спустить ноги с каталки; Вадим уже протянул руки, чтобы поддержать, но она рухнула со стоном навзничь и замерла, опять закатив глаза. Вскинулась из-за стола дежурная, хотела проковылять уже к ним, но Данин махнул рукой, и она опять села. Женщина вновь открыла глаза, посмотрела на него в упор — жалобно, просяще, — выдохнула сквозь пересохшие, дрожащие губы:

— Только не говорите никому ничего. Просто хулиганы пристали, ударили. Или нет, не так... — Она тяжело и звучно глотнула. — Умоляю, забудьте, что вы слышали наш разговор. Умоляю, прошу, отработаю потом, отблагодарю, отплачу. Вы их плохо видели, не разглядели, услышали мой крик, подошли, они бежать, и все. Слышите, и все! Ради всего святого! Ради жизни моей!..

Откинулась голова, расслабились мышцы на лице, и пустым оно стало, неживым, как маска, хотя глаза были открыты и глядели куда-то в пространство, невидяще и стеклянно.

Сколько мольбы вложила она в свою просьбу, сколько беспомощности и безнадежности было в ее голосе, Данину даже не по себе стало, он повел плечами, словно дрожь его била, потер лицо ладонями. И когда обрел прежнее более или менее нормальное свое состояние, в услужливо распахнутые санитаром двери вошел врач.

Он, видимо, ел, когда его потревожили, скорее нет, пил чай, обжигающий, прямо с огня, потому что горело полное, рыхлое его лицо, пылало жаром, а вокруг яркого, мягкого, не мужского рта было рассыпано множество беловатых крошек, видно, от пирожного.

Он был явно недоволен. Не один, наверное, пил чай, а в обществе хорошенькой сестрички. Вадим невольно улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь? — неприязненно спросил доктор, подойдя к нему.

Вадим опять не сдержал улыбки и пожал плечами — в который раз за сегодняшний вечер. Вечер пожимания плечами.

— Вид ваш понравился, деловой, сосредоточенный, чуть притомленный, но стремительный, — сказал Вадим. — Так во время войны хирурги, наверно, выходили к раненому, к тридцатому за день.

Врач был, видимо, неглуп и необидчив. Он вздохнул, прикрыв глаз; снял шапочку, обнажив рыжие, жесткие, как медные проволоочки, волосы. И лицо его помягчело, неприязнь сошла, ни следа от нее не осталось, он протер шапочкой лицо — Вадим заметил, как неодобрительно покачала головой дежурная, — шагнул к женщине, спросив предварительно:

— Кто вы ей?

— Никто. Прохожий. Ее били, я вступился. А потом ей стало плохо.

— Кто бил?

— Вот уж этого не знаю. Какие-то парни. Не видно в темноте.

— Хорошо, — врач держал женщину за руку и считал пульс. — Как зовут ее, не знаете?

Вадим пожал плечами и чертыхнулся про себя, это уже походит на тик. «Домой, домой, отдыхать, спать,



а завтра вспомнить, посмеяться, рассказать друзьям, а к вечеру забыть».

Доктор жестом приказал санитару отвезти каталку, а сам повернулся к Данину:

— Попрошу вас никуда не уходить. В таких случаях мы обязаны сообщать в милицию, что я сейчас и сделаю, и вы непременно понадобитесь. Так что ожидайте, хорошо? Отделение тут рядом. Они придут скоро.

Данин кивнул обреченно, а что делать, не бежать же, хотя кто-нибудь другой на его месте именно так и поступил бы. Доктор ушел, а он присел на жесткую банкетку под плакатом о вреде переедания и уставился бездумно на голую стену напротив. Ругать и корить себя уже не хотелось, надоело. Чего уж там, раньше думать надо было, сейчас поздно, сейчас надо набраться терпения и ждать. А, собственно говоря, ничего страшного не произошло, ну потерял каких-то несколько часов, все равно ничего путевого в это время не сделал бы, а так хоть будет о чем вспомнить. Ладно, хорошо. Что же завтра ему предстоит? Прежде всего отоспаться, на работу придет часам к десяти, составит справку о сегодняшнем посещении архива, часов в пять заберет Дашку из детсада, погуляет с ней, недолго погуляет, потому что не хочет видеть потом, когда приведет ее, поджатые губы своей бывшей жены. Бывшая жена. Сочетание-то какое-то идиотское. Жена она или есть, или ее нет, это не звание, это не должность, это состояние души, это родственная связь. Почему, интересно, не говорят бывший брат или будущий брат?..

Задребезжала стеклами распахнутая дверь, отвалилась до отказа, пропуская молодого коренастого белобрысого парня в кожаном пиджаке, в полосатой сорочке и в полосатом галстуке. Он наклонился быстро к дежурной, та махнула в сторону Данина. Парень уперся в него взглядом, прищурился, будто сразу понял, кто таков этот субчик в лайковой куртке и белой расстегнутой почти до пояса рубашке. Хваткий парень, не сомневающийся парень, из молодых.

— Добрый вечер, — сухо сказал он, тяжело глядя Вадиму в глаза.

Данин этот взгляд выдержал, поднялся, вежливо улыбнувшись, сказал:

— Куда уж добрее. Добрее просто не бывает.

— Что так? — важно спросил парень. Все-таки осо-

знание своей значимости ему не шло. Он извлек из кармана удостоверение. — Оперуполномоченный пятого отделения Петухов. Ваши документы, если имеются.

— Имеются, — сказал Вадим.

— Так... Институт научной информации по общественным наукам... так... младший научный сотрудник... Хорошо. Значит, так. Расскажите все подробно, до деталей, ничего не упускайте и не спешите, я буду записывать.

Данин рассказал все быстро. Даже с подробностями рассказ у него получился короткий — шел, услышал, побежал, а они в разные стороны... потом она упала, и я ее привез.

— Она не называла себя?

— Нет.

— Вы их не запомнили?

— Нет.

— Совсем-совсем?

— Совсем-совсем. Темно было.

— Ну хоть роста какого?

— Один пониже, другой повыше, третий тоже пониже...

— Издеваетесь?!

— Да бог с вами, и не думаю. Я же говорю, темно было, хоть глаз выколи.

— И вы не испугались, влезая в самый разгар?

— Да нет, почему? Испугался. Да неудобно как-то было пройти мимо.

— Перед кем неудобно?

— Да перед самим собой. Нормальному человеку всегда более всего перед собой неудобно, чем перед кем-либо.

— Ученые все, философствуют... А вот мне не верится, что вы на темной улице, услышав крики и шум борьбы, кинулись туда.

— Не понял.

— Вид у вас уж больно благополучный. Такие, как вы, обычно стороной проходят.

— Ну знаете! — Вадим привстал.

— Извините, я пошутил, — с сухой любезностью произнес Петухов. — Не уезжайте пока из города никуда, если это можно, вас скоро вызовут, — он помедлил, — в прокуратуру...

И, довольный эффектом, поднялся и, не кивнув даже, шагнул к дверям, ведущим в больницу. Но в тот

момент они распахнулись, и снова появился доктор. Сейчас он действительно выглядел сосредоточенным, деловым, утомленным. Он пожал руку Петухову, повернулся к Вадиму:

— Еще минуту, хорошо?!

Потом отошел с оперуполномоченным подальше, чтобы Вадим не мог их слышать, и о чем-то горячо заговорил. Петухов качал головой и поглядывал на Вадима. Наконец доктор и Петухов закончили разговор и подошли к нему.

— Положение серьезное, — сказал доктор, — много повреждений и внешних и внутренних. Как она шла еще — удивительно, видимо, в шоке.

— И улыбалась, — вставил Вадим. — И шутила.

— И улыбалась, и шутила, — согласился доктор. — Это шок.

Петухов пристально разглядывал Данина. Вадим, в свою очередь, повернулся и стал точно так же смотреть на оперуполномоченного. Тот нисколько не смутился, просто отвел глаза. Доктор устало усмехнулся.

— Вот еще что, — добавил он. — Мы узнали ее фамилию и домашний телефон. Сейчас приедет муж. Он убедительно просил вас подождать...

— Да вы озверели! — рявкнул Вадим. — Сколько можно!

— Спокойней, товарищ, — чуть повысив голос, остановил его Петухов. — Спокойней.

Доктор сочувственно взглянул на Вадима.

— Муж ее на машине, — он улыбнулся. — Так что до дома вас довезет.

Вадим вдруг улыбнулся доктору в ответ, и расхотелось ему ругаться, отнекиваться, твердить, что никто не имеет права его удерживать. Да его и не удерживали-то, собственно, его просили, а он сам волен был решать, уходить или оставаться. И конечно же, он останется, подождет мужа. Если надо. Когда Вадима именно просили, а не требовали, и просили вежливо и доверительно, он почему-то обезволивался сразу и, взбрыкнув для виду, малодушно соглашался, даже если просьба нарушала его планы и желания и противоречила вообще всей логике последующих действий. Черт бы побрал его дурацкий характер! А ведь так неудержимо хотелось домой!

— Зачем я ему? — Вадим со вздохом уселся на скамью. — Премия вручить хочет, компенсацию за



страх, награду за мужество? Или взглянуть, с кем это его женушка по ночам шляется?

Доктор нахмурился.

— Не кощунствуйте, — неодобрительно произнес он. — Она действительно попала в беду. Увечья серьезные.

— Это от двух-то ударов? — не удержался Вадим.

— Каких двух ударов? — сощурившись, встрял Петухов. — Вы же говорите, что ничего не видели.

— Это она так мне сказала, что ее ударили два раза, — любезно ответил Данин.

— Ладно, — доктор тронул Петухова за плечо, — пойдемте — и, кивнув Вадиму, добавил: — Вы ждите.

— Такова моя участь на сегодня. За добрые дела приходится расплачиваться, — горестно сказал Вадим.

...И снова вздрагивает дверь, но теперь уже не отлетает яростно, а приоткрывается лишь наполовину. Сначала показалось лицо, а потом узкие плечи, короткий торс в мешковатом пиджаке, затем острые колени. Вадим приметил широкий утиный нос, морщинистые дрябловатые щеки, жидковатые волосы, зачесанные от висков кверху. Прикрывает лысину? Похоже. Неужели это ее муж? Быть не может. Ему же за пятьдесят...

Вошедший огляделся опасливо, ответил на вопросительный взгляд дежурной:

— Недавно сюда Можейкину Люду доставили... Меня ждать должны.

Дежурная махнула в сторону Вадима и уткнулась в книгу. Интересно, что это за книга, которая так увлекла ее? Про любовь? Про счастливую семью?

Походка у него была осторожная, вкрадчивая, но не без достоинства, хотя и горбился слегка, а голову нес прямо. Или это манера держаться на все случаи жизни — чуть согнувшись в почтении, но голову вскинуть — мало ли кто перед тобой: если значительный человек — головку опустим, если не очень — спинку выпрямим. Вадим одернул себя: еще не знаешь человека, а уже ярлык привесил, нехороший ярлык, без знака качества. Ревнуешь? Не хочешь, чтобы такая красавица была нежна и ласкова с таким сереньким, гладеньким — никаким?.. «Опять! — Вадим вновь остановил себя. — Как же я хочу домой!..» Он поднялся навстречу, улыбнулся печально, сочувственно.

— Это вас я должен благодарить? — Можейкин оценивающе разглядывал Вадима. Он старался это де-

дать незаметно, но не получалось, слишком любопытствующими были его прозрачные светло-серые глаза. — Спасибо вам огромное, от всей души спасибо. Вы герой. Таких истинных рыцарей редко сейчас встретишь. Люди приучились думать только о себе.

— Ну что вы, — Данин был сама скромность. — На моем месте так поступил бы каждый.

— Нет, нет, нет! — негодуя, замахал руками Можейкин. — Это свойственно лишь незаурядным личностям, уверяю вас. Вы и сами не догадываетесь, какой вы человек.

«Наблюдательный я человек», — подумал Вадим, видя, как распрямляется спина у Можейкина, как принимает лицо его снисходительно-покровительственное выражение.

— Давайте присядем, — предложил Можейкин и сел первый, уверенно и небрежно. И показалось Вадиму, что не такой уж он серенький и гладенький и что-то в нем есть сильное, скрытое, чего не ухватишь сразу, не рассмотришь с налета. Но симпатии от этого к нему у Вадима не прибавилось, он все еще помнил свою догадку о сгорбленной спине и вскинутой голове.

— Расскажите, как все было?

А мужу, интересно, можно все рассказать? Об этом она не говорила. А впрочем, наверное, не надо, раз уж начал врать, надо продолжать дальше в том же духе, потом разберемся.

Он сообщил то же самое, что и оперуполномоченному, разве что приукрасил немного. Оказалось, что он просто храбрец, ни секунды не сомневающийся в себе и своих силах.

— Так, — задумчиво протянул Можейкин. — Вы и впрямь прекрасный молодой человек. Всю жизнь жалел, что нет у меня сына. Жена, знаете ли, дочь родила, а сына не успела, умерла... Я, знаете ли, вдовец. Люда у меня вторая жена. Я как увидел ее три года назад, так и обмер сразу, понял, что влюбился, старый болван, на старости лет такое открытое, яркое чувство. Как она сейчас? Пришла в сознание?

Вадим пожал плечами:

— Можно узнать у дежурной, она позвонит в отделение.

— Да-да. — Можейкин поднялся, подошел к столику. Румяная женщина с усилием оторвалась от книги,

вдохнула, набрала номер, спросила что-то тихо и так же тихо ответила Можейкину.

— Потеряла сознание, — грустно сообщил Можейкин. — Бедная, бедная. Так вы говорите, никого не разглядели?

— Никого.

— Ну вспомните, может быть, какая-то деталь всплывет.

Вадим покрутил головой.

— Как же теперь их найти, подлецов? Трудная задача. Молодые, говорите, были?

— По-моему, молодые...

— Трое?

— Трое.

— Ах подлецы, подлецы...

— Точнее и не скажешь — подлецы.

Они посидели молча. Вадим молчал, потому что ему, собственно, не о чем было говорить с Можейкиным. Хотя, конечно, по привычке он мог бы сейчас с ним поболтать, порасспросить его, где работает, в каких условиях живет, ни нервирует ли молодая жена, сколько лет дочери и так далее. Ни к чему не обязывающие вопросы, ни к чему не обязывающие ответы. Так, обычный треп малознакомых людей. Но побыстрее хотелось уехать домой. Только как подвести Можейкина к мысли, чтобы тот отвез его. Или не стоит? Поехать на такси? Их еще полно в городе. Да и не хотелось ему теперь отчего-то ехать с Можейкиным в одной машине — как гвоздь вколотилось в мозг: «Головку опустим, спинку выпрямим».

Вадим похлопал себя по коленям, поднялся неторопливо, расчетливо неторопливо, сказал с полуулыбкой:

— Ну пойду я...

— Ах, да, да, — встрепенулся Можейкин, словно Вадим неожиданно вывел его из задумчивости, вырвал из цепких скорбных мыслей о молодой жене. И задумчивость эта показалась Данину наигранной. Что-то многое ему сегодня кажется.

— Вот еще что, — Можейкин тоже встал, взял Вадима под локоть и, не глядя в глаза (взгляд его упирался ровнехонько в самое плечо Данину), спросил чуть медленней, чем следовало:

— Если не секрет... э... э... где работаете, кем? О, бога ради, не хотите — можете не отвечать. Я пони-



маю, вы человек скромный, но писем писать не буду благодарственных, не буду, все понимаю, все понимаю. Ах, да, — он театрально хлопнул себя по лбу, — я-то сам не представился, Можейкин Борис Александрович, доцент экономического факультета нашего университета...

— Данин Вадим Андреевич, сотрудник Института научной информации по общественным наукам. — Вадим нехотя пожал протянутую руку.

— Знаю, знаю, — обрадовался Можейкин. — Директора знаю — Баринова Сергея Митрофановича, замечательнейший мужик и одаренный ученый, когда-то в годы далекой юности учились вместе в Ленинграде. И еще, еще... — Он нетерпеливо потер лоб костяшкой большого пальца. — Сорокина, да Сорокина Леонида Владимировича. Ну как? Ценят вас там, не зажимают, а? А то поговорю по старой памяти-то...

— Ценят, — ответил Данин. — Не зажимают.

— Ну и чудесно. И вот что... — Можейкин слегка замялся, и взгляд, уже переместившийся на лицо Данина, опять скользнул на его плечо. — Вы не рассказывайте никому об этом... случае. Знаете ли, мир тесен... Пойдут сплетни, жену Можейкина избили... Кстати, ее, наверное, сильно били?

— Видимо, так и есть, иначе она бы не потеряла сознание... Мужественная женщина.

— Изумительная, чуждая женщина. Ну так вы согласны со мной? Не стоит распространяться об этом, правда? И знаете что, если вдруг чего там вспомните, детали какие, внешность бандитов, вы скажите мне сначала, прежде чем в милицию идти, хорошо? — Теперь Можейкин уже не просил, он требовал, хотя, казалось бы, ни в интонации, ни в лице ничего не изменилось, только вот в серых глазах на мгновение холод появился, жесткость едва уловимая промелькнула. — А Сергею Митрофановичу привет, как встретите.

Он с чувством и самой наимилейшей улыбкой пожал Вадиму руку и тут же сел на скамью и отрешился, словно ушел в свои мысли, — и серенький, не серенький, и гладенький, не гладенький, и сильный, не сильный, не поймешь какой человек. «И даже словом не обмолвился о том, чтобы до дома довезти», — вяло и безучастно подумал Вадим.

Он прошел мимо дежурной, которая что-то жевала, не отрываясь от книги, и шагнул за порог больницы.

А утром и впрямь все вчерашнее выдуманное, призрачным показалось, будто и не с ним все это произошло, будто в кино все увидел, не очень талантливым кино, сработанным сценаристом-поденщиком и режиссером-халтурщиком. И ни радости он не ощутил от ночного своего геройства, и ни того удовлетворения, которое на день, на два, на несколько дней приводит тебя в хорошее расположение духа, поднимает настроение, позволяет настоящим мужиком себя почувствовать, хладнокровным, уверенным, умным. И поэтому пробуждение его было вялым, неторопливым. Вчерашний день не принес ничего доброго, и сегодняшний тоже вряд ли принесет, все будет как обычно, знакомо, без неожиданностей.

Он пролежал минут десять, потом вскочил, отдернул шторы. Утро обещало теплый, может быть, даже жаркий день — дерется еще лето за свои права, как никогда сильно оно в этом году. Не стал Вадим стоять у окна, как обычно, не захотелось любоваться чудесным городским видом, который из него открывался (когда получил эту квартиру, радовался, как ребенок, что почти в самый центр попал, что каждый день теперь любоваться может тем самым настоящим городом, добрым, старым, разнотильным, разнородным, веками строящимся, родным, милым его сердцу), прошлепал на кухню, выглотал большую чашку воды, будто с похмелья, вернулся в комнату и принялся за гимнастику. Энергично и остервенело даже ломал он свое тело, и с удовольствием принимало оно эту ломку, потому что молодедело до упругости и сил в нем прибавлялось.

Уже под душем невольно вернулся ко вчерашнему дню, пожалел, что не спросил у доктора, отчего Можейкина потеряла много крови, раны-то он не приметил. Или носом кровь шла? Или горлом? А потом стерла женщина ее следы. Может, так. А может, ее изнасиловали? Ого, это посерьезней. Но те трое вроде как ее знакомые были, а не случайные подвыпившие мерзавцы. Да скорее всего, конечно, из носа или горла кровь шла, от ударов, вон ведь сколько синяков на теле. Ладно, вызовут в прокуратуру, как пообещал оперуполномоченный Петухов, там узнаем.

Улицу свою, тихую, зеленую, немногочисленную, прошел быстро, удивившись в который раз, что вот нет на ней ни предприятий, ни учреждений, здесь просто живут люди, отдыхают, хозяйничают, автомобильный

шум сюда особо не долетает, а все равно четко угады-  
ваешь, какой сегодня день — будний или воскресный,  
даже если все дни перепутаются у тебя в голове, забо-  
леешь, например, затемперишь, а придешь в себя,  
выглянешь на улицу и точно скажешь, воскресный се-  
годня или какой другой день. Отчего так — непонятно?  
Надо будет подумать, тысячный раз промелькнуло в го-  
лове.

Соскочив на нужной остановке с троллейбуса, по-  
дался чуть назад к современному, стекло-металло-бетон-  
ному зданию с длинным, заостренным на конце козырь-  
ком над входом. Вахтер даже головы не поднял, даже  
на приветствие не ответил, так увлекся газетой — са-  
мая читающая страна в мире! Вчера дежурная в боль-  
нице, сегодня вахтер, в троллейбусе пассажиры через  
одного газету или книгу держат. Любопытно, а читают  
ли они дома?

Отвечая на приветствия, Данин прошел длинным,  
светлым от ламп дневного освещения коридором, от-  
крыл дверь в свою комнату. Слава богу, на месте толь-  
ко одна Марина, как всегда, серьезная и тусклая с ут-  
ра. Она опять постриглась, она каждую неделю  
стрижется коротко-коротко, как мальчишка. Ей идет,  
хотя Данин ни разу не видел ее с длинными волосами.  
Может быть, с ними лучше. У Марины иногда бывают  
нестерпимо красивые глаза, особенно если она их уме-  
ло и не торопясь накрастит, или когда у нее что-то ра-  
достное случается в жизни, тогда и без туши и краски  
глаза блестят и светятся. Белое, нежное лицо ее пор-  
тит нос, длинный и с горбинкой, а неплохую фигурку —  
слишком широкие бедра.

Данин и Марина — друзья. На работе. В этой ком-  
нате. А еще в коридоре и столовой. А как захлопы-  
ваются за ними двери института, то вроде как просто  
знакомые. Так бывает — служебная дружба.

— Ой, Вадик, — Марина даже не поздоровалась,  
так не терпелось ей сообщить что-то важное и не очень  
приятное. — Тебя Сорокин с утра требует. Как придет,  
говорит, пусть ко мне мигом, и вообще, говорит, что  
это такое, когда хотят, тогда и приходят, будем ставить  
вопрос. Не в себе он сегодня с утра.

Из кабинета своего Сорокин выходил редко, и если  
все-таки выходил, то ненадолго, навещая наскоро  
в комнаты к сотрудникам и спешил обратно к себе, в  
свое логово. Да и заглядывал-то он к подчиненным



для проформы лишь — надо. Не приказами положено, не инструкциями, а традицией, жизнью, нынешним стилем руководства. Кого жаловал и симпатию питал, у того про успехи выпрашивал, про трудности, про личную жизнь, острил совсем не остроумно, но это тоже положено — вроде свой. Кого недолюбливал, на того смотрел каменно, полуприкрыв глаза свои тяжелыми веками. Указывал, отчитывал, каждый раз повторяя почти слово в слово: «Я к вам не предвзято отношусь, без пристрастия, а просто жалую тех, кто работает, отдает себя науке без остатка, кто инициативен и исполнительен. Талант талантом, а наши изыскания требуют труда, кропотливого и скрупулезного. Станете такими, будем друзьями». Слова-то уместные подбирал, но какая-то фальшь в них таилась, неуловимая, едва заметная.

К серьезным, хмурым и мрачным людям у него душа лежала, к тем, кто, не разгибаясь, за своим столом день проводит, плохо ли, хорошо ли работает, но старается или вид делает, что старается. Как-то на одном из собраний Сорокин заметил: «Я вот не раз уже видел бродящего по коридорам Данина. Идет улыбается, фразочками легкомысленными на ходу со встречными перебрасывается. Ему что, делать нечего? Вон какая тема обширная у его группы. А он улыбается. О чем это говорит? О безответственности, о незагруженности. У работающего человека нет времени для улыбочек и шуточек».

Вадим ухмыльнулся, чтобы обиду не выказать, и обронил с места: «А с работой, значит, не справляюсь?» Сорокин прокашлялся, ответил тихо, с усилием, с неохотой слова вышеживая: «Справляется, но могли бы лучше, если бы вели себя поскромнее». Данин развел руками, оглянулся, коллег на помощь призывая: подтвердите, мол, что обыкновенно себя веду, как все, куда уж скромнее. Может, не похож просто на всех, да и только. Но немую просьбу его коллеги за обычное ёрничанье приняли и, конечно же, промолчали. Ну а уж когда Сорокин прознал, что Вадим собирается книжку издавать, тут желчи не было предела. Вызвал он его как-то к себе, когда Вадим исполнение одной справки затянул, и отчеканил, с трудом удерживая голос, видно было даже, как щеки его обвислые подрагивают: «Мне писатели не нужны, мне нужны работники исполнительные и дисциплинированные. А вы, гляжу, хорошо устроились, времени свободного у вас просто невпрово-

рот, если умудряетесь еще и книжечки пописывать. Надо же, — он крутнул большой, лобастой головой. — Все и писатели рвутся, все Толстыми себя мнят», — и что-то затаенное услышал Вадим за этими словами, и голос даже изменился у Сорокина, больше на стон стал похож, но потом все прошло в мгновение, и добавил он жестко: «Я теперь лично за вами приглядывать буду. Увижу, что пустяками в рабочее время занимаетесь, — расстанемся».

...Вадим вошел в кабинет, и, едва только Сорокин рот открыл, он уже и вспомнил все. Точно. Тот тип из музея Кремля, из тех, кто жалуется. Полудурок пыльный. А Сорокину только дай повод нервишки ближнему потрепать. Было, не было — неважно. Раз жалуются — значит было. Тем более на него, на Данина, жалуются, значит, сто тысяч раз было... SOS! Помогите! Я ж ничего плохого никому не делаю в институте и уж тем более самому Сорокину. Никого не подсуживаю, ни на кого не капаю, в начальники не рвусь, работу выполняю от и до. За что?! «Заместитель коменданта Кремля, сам лично, человек уже немолодой, пришел сюда, чтобы высказать неудовлетворение вашим вчерашним поведением...» — кипел Сорокин.

Так вот, значит, в чем дело. Надо же как обернулось-то все до тошноты примитивно-подленько. А ведь должен был ты предвидеть такую перспективу. Мелкого наполеончика этого просить надо было, умолять униженно, они же любят, когда пресмыкаются перед ними, угодничают. А ты в лоб — давай, мол, и все. Но ведь по справедливости требовал, и не чужое ведь, свое. Но, оказывается, свое тоже надо уметь просить. Так что учись, учись спинку-то выгибать, бери пример со всем угодного и во всех отношениях приятного нового знакомого твоего Можейкина.

Ведь не раз бывало, не успеешь порог переступить, двух слов человеку сказать, а он уже смотрит на тебя колюче, с неодобрением, а иной раз с эдаким подозрительным прищуром. Как это называется? Антипатия — мгновенная неприязнь. Что же в тебе их не устраивает? Одежда твоя, глаза твои, манера держаться, вмиг разгаданное пренебрежение. Ведь есть же среди его знакомых люди, которым он изумляется искренне, — их любят все! Куда бы ни приходили они, что бы ни просили у самого злейшего-презлейшего, у самого черствейшего-пречерствейшего — и все им разрешают,

все дают, да еще с добрым словом. Может, улыбаются они по-особому. Да нет, черта с два. И не улыбаются, и всегда говорят одно и то же. Но вот что заметил Вадим: они жалкими какими-то делаются, не просящими, не угодничающими, а именно жалкими, слегка убогими, жизнью покореженными. Наверное, в этом дело? Люди любят сострадать, сочувствовать, сопереживать. Преуспевающий радуется, что он не такой и может помочь, не преуспевающий видит своего собрата. Наверное, так. Хотя Вадим попробовал так однажды — прихватил сердце, зажал эмоции, унял сразу возникшую брезгливость к себе и попробовал. Не получилось, то есть вообще не получилось! Раскусили его, разгадали, с еще большей уже неприязнью отнеслись. Не свойственно ему это, значит. А посему плевать на всех, терять мне особо нечего. Принимайте какой есть. Без прикрас. Так что не пример ему Можейкин.

История-то с Кремлем была незамысловатая. Года полтора назад приятель Данина, журналист из городской газеты, Женя Беженцев, — лентяй и нытик по натуре, но отменно пишущий, когда очень этого захочет, тучный, развалистый, большеголовый, усмешливый, — предложил Данину написать серию очерков о городе, об истории, об интересных памятных местах, о чем-нибудь необычном, интригующем, о чем еще никто не писал. Ухватился Вадим за идею, горячо ухватился, одержимо, махнул рукой на работу, хотя за это потом получил сполна, и за три месяца написал шесть очерков. Редактор был в восторге, придумал рубрику «Городские этюды» и стал публиковать материалы два раза в месяц, по воскресеньям. Через полтора года Беженцев вновь подкинул Вадиму идею, отдать материалы в издательство, может получится книжка. В издательстве Данина поддержали и включили книжку в план. И вот недавно Данину позвонили оттуда и попросили написать еще один материал о Кремле, чисто описательный, с красотами, с пафосом, на открытие. Но в Кремль просто так не пускают работать, нужна соответствующая бумага с просьбой от организаций. Такая бумага у Вадима была, выданная ему еще в прошлом году институтом.

Встретил его заместитель коменданта, сухой, узкоплечий, в мешковатом, допотопном костюме. Посмотрел на него без выражения, хотя смотрел долго, но будто не видел его, довольного жизнью, небрежного, бла-



гоухающего импортным одеколоном, посмотрел-посмотрел, и все. То есть он мог бы дальше и не говорить ничего, все ясно было, что он скажет. И что письмо действительно уже, мол, срок прошел, и что молоды больно, чтоб мне указывать, и что я, мол, на руководящей работе собаку съел, и что ежели всякого пускать, то черт знает что получится. Короче — клишированный такой наборчик. Карикатура. Может, для кого, конечно, и не карикатура, может, для кого, конечно, это уважаемый человек и превосходный работник, для Сорокина, например (по его меркам), ну а для Вадима — точно карикатура. Ну он его прямо так и спросил: вы, мол, не тот, про которых сейчас в газетах пишут, не бюрократ ли? Ох, ох, ох, что тут началось! Одним словом, когда Вадим захлопнул за собой дверь, косяк дрожал свирепо еще несколько мгновений.

А сам комендант оказался энергичным, коренастым, крепким мужиком лет пятидесяти, со смешинкой в узких восточных глазах. Держался он уверенно, подтянуто. Вадим сунул ему бумагу, тот поглядел на нее полминуты, потом наклонился к селектору и сказал секретарше: «Выпишите товарищу Данину разрешение. — И повернувшись к Вадиму, добавил: — Хотя не положено в общем-то, но ерунда».

... — Для своих личных целей вы используете бумаги института, — заключил Сорокин, понижая голос. Возбуждение его пошло на убыль, но верхняя пухлая, синеватая губа то и дело вздрагивала едва заметно. — Завтра принесите мне объяснительную.

— Что я должен объяснить? — безучастно осведомился Вадим.

— Все. И зачем ходили в Кремль с институтской бумагой, и как себя там вели. Бездушные и хамство должны быть наказаны. Мы разберем ваше поведение на профкоме. Идите.

Вот так, все просто. И не докажешь ничего, не переубедишь. Ему верю, вам нет, он старше и заслуженней, а все остальное демагогия. Интересно почитать его диссертацию. Какой он там?

Марина потянулась ему навстречу, даже со стула привстала, собрала аккуратно и осторожно напояженные губы в кружочек, вопрошающе поглядела на него, и была в глазах ее, зеленых, длинных, глубоких, такая искренняя, серьезная забота, что Вадим не удержался, подошел к женщине и легко поцеловал ее в этот аро-

матный кружочек губ, провел ладонью по коротким волосам, потом присел на краешек стола, улыбнулся ласково и облегченно как-то, потому что почувствовал, что совсем улетучился, исчез щемяще неприятный осадок от разговора с Сорокиным, и разговор этот теперь представлялся ему смешным и нелепым, и спросил беззаботно:

— Почему же он так не любит меня? А?

— Ну что там, как там? — нетерпеливо дернула его за рукав Марина.

Данин рассказал. Даже не рассказал, а представил в лицах, без досады, без раздражения, а просто так, словно о чем-то очень забавном поведал.

— А может быть, тебе кажется? — предположила Марина. — Он ведь не только к тебе так, вон Лешку Корина тоже спокойно пропустить не может, все ему выговаривает. А может, у него характер женский, переменчивый, занудливый, сегодня так, завтра эдак? А может, он к вам с Лешкой неосознанно с неприятием относится? Вы такие красивые, молодые, женщины вас любят, все дается легко. Знаешь ведь, как бывает, одни любят в людях те черты, которыми сами не обладают, но хотели бы, другие эти черты ненавидят. Наверное, так?

Вадим неопределенно покачал головой, поболтал ногой возле Маринино стула и поймал вдруг себя на мысли, что опять хочет ее поцеловать, хмыкнул и сказал беззаботно:

— Может, так, а может, нет. Надо подумать. Ты докторскую его читала?

— Конечно, а ты нет? Прочти. Отменная работа. Просто на удивление. Я, когда читала, абстрагировалась от Сорокина, от личности его. И автор увиделся мне таким обаятельным, симпатягой, остроумным, широко мыслящим, размашистым...

— Парадокс, — заметил Вадим.

— Или мы чего-то не понимаем, — заключила Марина.

Потом Данин углубился в работу, искал, выписывал, сопоставлял, с радостью работал, с интересом, редко такое бывало в последнее время. И, ко всему прочему, не мешал никто. Начальство будто вымерло, а соседи по кабинету отбывали трудовую повинность. Лето. Сенокос. А колхозников не хватает. Они в городе за

колбасу бьются. Вот бледнолицые чиновники и спешат на выручку. Взаимозаменяемость.

А когда передышку себе давал и закуривал, все порывался Марине про свои вчерашние подвиги рассказать, но не решился, что-то остановило его, непонятного было много в этой истории, опасностью вдруг зябко потянуло. Откуда она исходила, эта совсем необъяснимая опасность, и почему пришло такое чувство, он разбираться не стал, махнул рукой — прорвемся, мол — и постарался забыть.

Ровно без пятнадцати пять поднялся, потянулся, общил радостно:

— Пойду Дашку заберу.

— Привел бы как-нибудь, — сказала Марина, — посмотрели бы, что за чудо у тебя чудесное растет.

— К сожалению, не у меня.

— Но все равно твое.

— Зайду как-нибудь, — пообещал Данин.

Он уже был у двери, когда Марина тихо сказала ему в спину.

— А можешь зайти и один...

Он улыбнулся — вот так, как бы невзначай, как бы между прочим, она не в первый раз предлагает ему себя. Не оборачиваясь, он спросил:

— Алик прописался уже к матери?

— Да.

Ответила, как клинком по воздуху рубанула. Даже свист Данину послышался.

— Не жалеешь, что развелась? — осведомился он беспечно.

— Ты, кажется, куда-то шел, — сдержанно сказала Марина.

Данин ухмыльнулся и открыл дверь.

Думал ли когда-нибудь, гадал ли еще год, еще два года назад, что будет он так откровенно и безудержно радоваться встрече со своим ребенком. Со своим!.. На детей всегда смотрел ласково, добро, но без каких-то чувств особенных, хорошенькие они, конечно, маленькие, забавные, да и только. Хороши, когда не твои, когда там они, у кого-то, у твоих друзей и знакомых, хороши, когда на улице встретишь, чистеньких, аккуратеньких, в яркие, броские одежонки упакованных. Но своих детей не хотел, и даже щемило садняще под сердцем, когда иной раз молодого папу с ребенком встречал — гуляющих. Виделся ему этот папа несчастным-



разнесчастным, невыспавшимся, уморенным домашними заботами, наплевавшим на все свои важные дела и думающим только о кашках, котлетках, сосках, погремушках, да о выстиранных пеленках. И когда родилась Дашка, принял он ее не сразу, смотрел подозрительно, трогал, удивлялся, чего жена в ней нашла, чего так хлопочет, чего светится так. И поначалу портилось у него настроение, когда просыпался ночью или утром, — почему-то казалось, что жизнь его кончилась и что стал он стариком. Ведь как оно получается, ежели без детей, то и до шестидесяти еще молодой, а с ребенком и в двадцать шесть старик. Плюс ко всему к тому времени уже и отношения с Ольгой стали не из лучших. Вечно недовольны они были друг другом, каждый требовал к себе внимания, помощи требовал, а сам отдавать не стремился, ждал, пока другой первым начнет. Думали они, что после рождения ребенка все заладится. Заладилось. С Дашкой у Ольги заладилось. А с ним никак. Не сблизил их ребенок, не сроднил пуще, отдалил наоборот, развел по своим углам. И жили они так, как большинство живет, для ребенка, по инерции. Кое-как. И домой уже в последний год он приходит ой как не хотел. Потерялась острота, попритих интерес друг к другу, и Дашка совсем не в удовольствие была, мешала только. Но вот случилось чудо (для него чудо, а так дело-то обыкновенное). Совсем немного времени прошло, и стал Данин понимать, что все больше к ребенку привязывается, незаметно, исподволь; какое-то особое благоговение на него находит, когда на руки ее берет, когда к сердцу прижимает, когда целует, когда рассказывает что-то. И спешил он домой теперь только ради нее, чтобы поглядеть на нее, погладить, за ручки мягонькие подержаться. Ольга это видела и злилась почему-то. Обиженно плечиками вздергивала, норовила съязвить, задеть или замыкалась хмуро на день, на два. Отчего? Ревность? Непохоже...

Вот он, этот уютный и веселый дворик, затерялся среди старых, крепких довоенных домов; укрывалась пестрая площадка с беседками, песочницами, каруселями за легкими, пушистыми, каждому ветерку покорными липами. Гомон стоит на площадке разноголосый. Не увели еще, значит, детей с прогулки. Это хорошо. Вадим любил смотреть, как Дашка гуляет, с приятелями и приятельницами своими играет. Он оперся плечом о дерево, закурил. Но вот увидела она его, ухватила остры-

ми, зоркими своими глазками, побежала, бросив игрушки. Он перегнулся через заборчик, поднял ее, прижал к груди ее худенькое, теплое тельце, ощутил, как гулко и часто постукивает ее сердечко, — или, может, это его сердце так шумно стучит — услышал дыхание ее, прерывистое, счастливое, — к нему бежала, к отцу, — услышал запах ее рта, чистый, свежий, такой близкий и родной. И вроде как закружилась у Вадима голова, будто оторвался он от земли, будто летать научился...

А потом они гуляли. На бульвар пошли к памятнику Горькому, там тише, мало людей. И Дашка все рассказывала ему, рассказывала что-то, словно сто лет его не видела, хотя неделя для нее, наверное, и есть сто лет. Коротенький, кругленький носик ее морщился, светло-карие глаза (его глаза!) были так вдумчивы и серьезны, что Вадим едва сдерживался, чтобы не расплыться в умильной улыбке.

Наверное, стоило жениться хотя бы только из-за того, чтобы родилась такая вот Дашка. Кстати, а собственно, зачем он женился? (Боже, в который раз он спрашивал себя об этом.) Она настоящая? Было дело. Но ведь не только из-за этого. Боялся больше не найти такую вот, казалось бы, тебя понимающую и вроде любящую, такую вот живую, энергичную, общительную, такую вот хорошенькую, ласковую, нежную? Но ему же с самого начала нежность эта, да и слова ласковые фальшивыми казались, не от души, не от сердца идущими, а от привычки капризничать. Так зачем же? Думал, что это просто сейчас так видится, мол, не привык еще, поживем, все по-другому будет?

А Дашка дергала его за руку, чтобы сплясал Вадим с ней танец, который они сегодня в саду разучили, и он притопывал в такт ногой, а она держалась за его палец и крутилась под его рукой, самозабвенно и весело. И люди, что проходили мимо, даже шаг замедляли, хотя и так брели неторопливо, гуляли, — повнимательнее чтобы разглядеть их — таких счастливых, подивиться им, позавидовать.

А вот им с Ольгой никто не завидовал. Вроде на людях добры они к друг другу были, предупредительны, но близкие, друзья замечали, что не так у них что-то, наигранно и нарочито. Подруги ее — более бесцеремонные, чем его друзья, — говорили ей впрямую об этом. А она потом, злясь — не на них, а на него, — пересказывала ему их слова. А его друзья только спра-

шивали как бы между прочим: «Разводиться, что ль, будешь?» А он и вправду часто думал об этом, потому что в тягость ему эта жизнь была, не жил он, а как механизм какой-то функционировал. И, ко всему прочему, уже давно физического влечения к Ольге не испытывал. Но он был нерешительным и мнительным. Ему причина нужна была, веская и убедительная, чтоб не жалеть потом ни о чем. Он все реже и реже стал приходить (даже несмотря на Дашку), жил у мамы, а жена и не противилась, ну а ему-то и подавно вольготно было. Жизнь снова краски обрела, и он порхал, как мотылек, легкий и ничейный, развлекался шумно и весело, работал упсенно и всласть и совсем перестал задумываться, как будет, что будет? Как будет, так и будет...

Дашка бегала вокруг ушастого и игривого коккер-спаниеля и пыталась ухватить его за хвост, а он, видя, что это ребенок, не лаял, не огрызался, а только отмахивался лапой и отбегал обиженно в сторону. Дашка уже умудрилась свалиться пару раз на дорожку, сбила себе коленки, но не замечала ни ссадин, ни боли, хохотала, захлебываясь и распалившись, гонялась за собачонкой.

...И причина отыскалась, самая что ни на есть банальная и самая что ни на есть подходящая. К этому все и шло, видно, этим и должно было кончиться. Жизнь умнее нас. Все началось, как в плохоньком романе или заштампованном фильмике. Вадим и думать не гадал, что так в жизни бывает. Раздался звоночек как-то в квартире у мамы, где он жил, и когда он снял трубку, незнакомый женский голос проговорил спокойно:

— Это Вадим? Здравствуйте. Имею вам кое-что сообщить. Если вас это интересует, конечно. Совсем неплохо было бы, если бы вы подошли в какой-нибудь из дней, завтра, допустим, к проходной организации, где работает ваша жена, в обеденный перерыв. Много любопытного увидите. Только в сторонке где-нибудь стойте, незаметненько.

Долго сидел он перед телефоном и трубку опустил только тогда, когда громкие и писклявые гудки стали в ушах иголочками покалывать. Конечно, он не пойдет, решил. Некрасиво это, неэтично. Он не из тех, кто за женой следит, каждый шаг ее проверяет: не дай бог мужчина какой подвернется, понравится больше, чем он. Конечно же, не пойдет.



А на следующий день, ровно без пятнадцати час стоял он, прячась за табачный ларек, недалеко от проходной городского бюро путешествий, где жена работала гидом. И вот в час с минутами подкатил к резным дверцам вишневый «Жигуль», вышел оттуда мужчина, невысокий, светлый, с лица незаметненький, стертый какой-то, под сорок уже, а может, и за сорок, изысканно и опрятно одетый; по виду знающий себе цену, чуть надменный. Он прошелся возле машины, закурил, а тут и Ольга выбежала, совсем как девчонка, легкая, ловко накрашенная, в ярком платье. Подбежала к нему, поцеловала, по-свойски привычно, но и с порывом, а он чуть прижал ее к себе уверенной рукой, провел ладонью по щеке, и засмеялись они оба, радостно и беззаботно. А потом он дверцу для нее открыл, усадил в кабину, бережно поддерживая под локоток, и укатили они лихо неведомо куда, хотя нет, ведомо, наверное.

Поначалу только чуть пощемило в груди и прошло. И возвращался он на работу без особых волнений, и лишь монотонно твердил про себя: так и должно было случиться, так и должно. А к вечеру так скверно вдруг стало, так муторно, что решил забыть об увиденном, мол, черт с ним, всяко бывает. Но забыть не смог ни завтра, ни послезавтра. А потом пришел к Ольге и все выложил. Когда говорил, старался казаться беззаботным, но не вышло, и не сдерживал уже себя, говорил с горечью, но как о деле уже решенном. Она не оправдывалась, не уговаривала его, согласилась с его словами, и от этого ему еще горше стало, но отступить было некуда. Потом суд, потом хлопоты по размену квартиры. А потом облегчение, пришедшее как-то сразу, без каких-то там переходных периодов. Он быстро пообвыкся с мыслью, что холостой и что теперь вновь вся жизнь впереди, а то вроде как конченная была. И вообще все прекрасно. Только вот Дашка... Но Ольга не препятствовала их встречам, поощряла даже, может, надеялась, что он вернется, она же заявила ему после суда: «Все равно придешь, где еще отыщешь такую...»

А Дашка уже бежала к дому, там мама ждет, по маме ведь тоже соскучилась. Нетерпеливо ждала его у лифта, торопила, вскрикивая: «Ну быстрее же, что ты как вареный, как утенок вареный».

Она встретила их, как и раньше встречала, с покровительственной полуулыбкой, кивнула Вадиму привычно и деловито, как будто он каждый день так при-

ходит, запахнув кокетливый халатик — раньше у нее такого не было. А когда к Дашке наклонилась, потеплела лицом, подобрела, помолодела вмиг.

— Ой, коленки содрала, — развела она руками и колко глянула на Вадима, но тут же постаралась смягчить взгляд, подняла Дашку на руки и понесла в ванну. — Пойдем промою, йодом замажу.

— Не надо йодом, — захныкала Дашка.

— Как дела? — крикнула она из ванной.

— Спасибо, нормально. — Вадим прошел в комнату, обвел ее глазами. Знакомые, родные вещи, среди этих вещей он прожил пять лет. Стенка, диван, телевизор с оцарапанным боком, им оцарапанным, когда передвигал его с одного угла в другой, повредил этот бок; плед на диване, в который он закутывался, дурачась, изображая индейского вождя на совете старейшин.

Завизжала Дашка. Это действительно больно, когда йодом смазывают ранку. Она ворвалась в комнату со слезами на глазах, бросилась к Вадиму, обняла его ноги.

— Мама нехорошая, она меня не любит, — верещала она. — К тебе хочу, возьми меня к себе.

Ольга, посмеиваясь, стояла в дверях. Но смотрела не на Дашку, а на него смотрела, на Вадима. Он встретил ее взгляд, нахмурился, отвел глаза.

— Вот и уходи к своему папе, — сказала Ольга, проходя в комнату и усаживаясь на диване. — Ты мне больше не нужна.

Дашка замолкла, разжала ручонки; склонив голову набок, недоумевающе и жалко посмотрела на мать. Как же так? Она же пошутила, просто ей больно было. Ольга не выдержала, протянула руки.

— Да никому я тебя не отдам, моя ты, моя, и больше ничья!

Дашка бросилась к матери и уткнулась лицом ей в живот.

Ольга поправила волосы, провела ладонью по лицу. Она ждала его прихода, подкрасилась, надушилась едва уловимо чем-то французским.

— Мама звонит? — спросила она.

Родители Вадима год уже как жили в Москве, отца перевели в министерство начальником управления. Они звали его, но он ехать не собирался. Он любил свой город и чувствовал себя здесь гораздо лучше, чем где-либо.

— Звонит, — ответил Вадим.  
— Как они там?  
— Нормально.  
— Поешь? — с надеждой спросила Ольга.  
— Не хочу.  
— Ты похудел.  
— Тебе кажется.  
— Нет, правда, ты похудел и осунулся, и потемнел, и неприкаянный какой-то сделался. Ты плохо питаешься?

— Обычно. Как всегда.  
— Всегда я тебе готовила и кормила. А теперь некому. Некому, да?

Вадим неожиданно засмеялся.  
— Некому, некому, — успокоил он. — Я живу один.  
— Я не в этом смысле, — сухо заметила Ольга. Она не любила, когда ее уличают.

— А в каком же? — спросил Вадим простодушно. Ольга промолчала, наклонилась к Дашке, поцеловала ее, и та убежала на кухню к ящику с игрушками.

— Ну да, конечно, я и забыла, — с легкой усмешкой сказала она и нервным движением поправила разъезжающийся на коленях халатик. — Ты же у нас одинокий охотник. Тебе никто не нужен. Ни я была не нужна, ни Дашка. Ты сам по себе. А меня будто и вовсе не было, так, ненужный придаток к твоей жизни. Вспомни, ты хоть куда-нибудь брал меня с собой? Я что-нибудь видела, а я женщина и не дурнушка к тому же!

— Далеко не дурнушка, — подтвердил Данин и принялся рассматривать ее, как живописец рассматривает законченную работу, то отходя, то приближаясь, то наклоняя голову вправо и влево.

Ольга подняла на него глаза и, криво усмехнувшись, отвернулась.

— Все ёрничаешь, — тихо сказала она.

Тепло и уютно было в квартире и остро пахло домом. Да, да, именно домом. Бог его знает, из чего состоит этот запах, но в его квартире пахло пылью и застоявшимся табачным дымом, как в общественном туалете, а здесь домом.

— Я кое-что забрать хотел, — сказал Вадим. — Вырезки из журналов. Думал, не понадобятся, а вот понадобились. Найди, пожалуйста.

Ольга вскинулась, подошла к стенке. Оказывается,



она давно уже все приготовила. Вадим опустился на диван, похлопал по ворсистому, упругому его боку, он спал на нем пять лет. Диван скрипнул дружелюбно.

Ольга разложила вырезки на пледе, принялась заворачивать в симпатичную оберточную бумагу. Она сейчас совсем близко от Вадима была, такая красивая, такая ароматная, такая желанная. Она словно почувствовала что-то, потянулась к нему.

«А почему бы и нет? — подумал Вадим. — Почему бы и нет? Дашку можно отправить гулять». Но он отвернулся как бы невзначай, как бы не заметил ничего, чтобы не обидеть ее. Нельзя. Поздно. Лучше не будет, только хуже.

— Спасибо, — сказал он. — Я пойду.

И пошел к двери и не обернулся даже.

\* \* \*

Объяснительную Вадим написал. Не сразу, правда. Три страницы покоились уже в мусорной корзинке. Когда рвал их, ухмылялся — злой и ироничной получилась первая объяснительная. Вроде бы серьезно поначалу читалась, а ощущение оставалось такое, будто насмехался он и над замкоменданта Кремля и над своим начальником. Не поймет Сорокин, обозлится только пуще. Так что во второй описал только факты. Сухо и кратко, без комментариев. Профком назначили через два дня, в пятницу, а в четверг вечером он получил повестку из прокуратуры. Предлагалось явиться в пятницу именно в тот час, на который был назначен профком. Вадима это позабавило. В пятницу утром, посмеиваясь, он дошел до комнаты, где сидел председатель профкома Алексей Ильич Рогов. У порога Вадим принял скорбный вид и, постучавшись, вошел. Высокий, угловатый, с тонким, аскетичным лицом, с аккуратной короткой бородкой, Рогов походил на дореволюционных интеллигентов, какими их показывают в кино. Он всегда был неулыбчив и молчалив. За пять лет ни с кем в институте близко не сошелся, и, собственно, никто к этому и не стремился. Но вот общественные обязанности свои исполнял старательно и умело. С личным временем не считался. Когда чувствовал несправедливость, был непреклонен в спорах даже с самым высоким начальством.

Вадим протянул ему повестку.

— Ну и хорошо, — неожиданно весело сказал Рогов. — Перенесем профком на следующую неделю. А там Сорокин уедет в тур по Чехословакии, — он поднял на Вадима глаза и усмехнулся краешком губ.

Вадим от удивления даже не нашелся, что сказать, кивнул только. Рогов с Сорокиным во врагах вроде не ходили. Значит, прослышал что-то Рогов про историю в музее.

— А в прокуратуру зачем, если не секрет? — спросил он.

— В качестве свидетеля. Драка, — лаконично ответил Вадим. Не стоит пока всего рассказывать.

Данин ни разу не был в прокуратуре. Не приходилось. Так случилось, что убережен он был от столкновений с законом, убережен даже от того легкого волнения, от той смутной тревоги, которую непременно ощущаешь, когда падает вдруг в руки из почтового ящика легкий прямоугольный листочек с таким знакомым и привычным, но почему-то так пугающим словом «повестка». Чист ты перед людьми, чист перед совестью, знаешь, что ничего такого зловещего с тобой не происходило, а вот все равно вздрагиваешь и судорожно, суетливо начинаешь копаться в памяти, а вдруг что-то было, а вдруг ты забыл о чем-то. И не найдя ничего, все равно не успокаиваешься, все равно ждешь чего-то плохого, подгоняешь время, поскорее бы уж этот день и час, когда все выяснится.

На сей раз Вадим, конечно, знал, по какому поводу его вызывают и почему в прокуратуру, оперуполномоченный-то предупредил. И понимал он, что волноваться-то не волнуется, а испытывает лишь легкое раздражение от вспомнившихся враз вкрадчивого тона и подозрительных глаз оперуполномоченного Петухова. Его подозревают. И в чем? В избиении женщины. Какая нелепость! Но Можейкина-то, наверное, пришла в себя и все рассказала, и в прокуратуре, несомненно, не дураки сидят, разберутся. Да, впрочем, и на Петухова обижаться нечего — у него работа такая, под девизом «Доверяй, но проверяй». Так что шагал Вадим легко и беззаботно, с удовольствием вспоминая едва приметную усмешку Рогова, когда увидел он его повестку. Неглупый, наверное, этот мужик Рогов, понимающий. Одна лишь деталька маленькая — вот эта вот усмешка и слова про поездку Сорокина, а как много говорит о человеке.

Он вышел на Строительную, где-то здесь должна быть районная прокуратура. Вадим знал эту улицу, ходил по ней часто, а вот даже и не догадывался, что у подъезда одного из этих невысоких, грязно-желтых домов должна висеть скромная неброская вывеска. Он достал повестку. Так, дом пятнадцать. Значит, по правой нечетной стороне. После тринадцатого дома обнаружился провал, а в провале сквер, надежно скрытый лиственной густотой. Жесткие кусты забором огораживают студенисто-подрагивающие кроны высоких деревьев. Вот поэтому-то и не видел он этого дома, упрятан он, не хочет напоказ себя выставлять.

Когда открыл дверь и вошел, подумал, ничего здесь нет такого особенного, как в обычном городском учреждении, коридоры, двери, за ними голоса, стук машинок. Вон какой-то маленький, тихий человек проскочил с папкой под мышкой, по виду бухгалтер, а на самом деле, наверное, следовательно, сложнейшие убийства раскрывает или еще что-нибудь в этом роде.

Вот и нужная дверь, справа на стене маленькая табличка: «Следователи: Минин, Косолапов». Ему к Минину. Интересно, какой он, этот Минин? В узкой, как пенал, комнате едва уместились два стола, два сейфа, четыре стула. Сидящие за столами подняли головы. Один, что подальше у окна, смотрел недружелюбно, с раздражением, видимо, ему помешали. Был он остроплеч, узколиц, смугл, что-то кавказское в нем проглядывалось. Второй, крепкий, синеглазый, с крупным, как ломоть дыни, ртом, смотрел на него тоже без особой радости, но с любопытством. «Сейчас я вас разгадаю», — подумал Данин. Он поздоровался и положил повестку на стол второму.

— Я к вам, — сказал он, улыбаясь.

Тот взял повестку, приподнял брови, с легким удивлением глянул на Вадима, кивнул на стул. Вадим сел. Значит, угадал. Минин повертел повестку, отложил ее в сторону, достал из ящика стола большой белый бланк, посмотрел на Данина, но уже без удивления — с улыбкой, — сказал:

— Давайте знакомиться. Я следователь районной прокуратуры Минин Сергей Алексеевич. Позавчера мною возбуждено уголовное дело по факту преступления, совершенного в отношении гражданки Можейкиной. Вас я буду допрашивать в качестве свидетеля. Давайте запишем ваши данные.



Пока Минин заполнял протокол допроса, Вадим разглядел следователя и решил, что ему повезло. Этот получше, чем тот, что у окна, пораскованней, посимпатичней, к тому же, видимо, Вадимов ровесник, наверняка неглуп и с ним можно найти общий язык.

Следователь закончил писать, протянул ручку Данину, пододвинул к нему протокол:

— Распишитесь вот здесь, об ответственности за дачу ложных показаний.

Вадим невольно замер, на мгновение будто выстудилось нутро, а в лицо, наоборот, дохнуло жаром. И почему-то заостенели пальцы. Он знал, что по нему не видно, когда вот так обдаёт лицо жаром, не краснеет оно, но все равно неудобство почувствовал, будто высветили его одного в этой комнате, будто мощные прожекторы направили в самые его глаза. Ложные показания! Он будет давать ложные показания? Ну конечно. Его ведь просили об этом, умоляли... Он ведь помнил, как она просила, он видел глаза ее в тот момент, в них страх был, искренний, настоящий, она о смерти говорила, и он поверил ей и сейчас верит. Ложные показания... Нет... Это не ложные показания. Он ничего не соврет. Он просто не скажет кое-чего. А может быть, и впрямь это кое-чего ему показалось. И зачем себя подставлять под удар, вызывать будут, дергать, зачем ввязываться не в свое дело, и так уже ввязался сдуру. Хватит. Ничего не случится, не преступление же он, в конце концов, совершает. Мало ли какие ссоры у знакомых людей бывают, сами разберутся и без помощи прокуратуры. А может, родственник ее этот белобрысый красавец, может, племянник любимый или братец двоюродный — ведь как она молила. И не дрожала уже рука, когда брал ручку, когда подпись свою, корявую, некрасивую, — почти до тридцати дожил, а так и не научился расписываться — выводил. И, отложив ручку, посмотрел на следователя прямо и открыто и не чувствовал вины за собой преждевременной за то, что расскажет сейчас, и за то, что не расскажет тоже.

Он говорил спокойно, неторопливо, изредка замолкая, припоминая детали. И о том, почему по этой улице решил пойти, рассказал, и о том, как голоса слышал, как испугался поначалу и уйти решил, но как пересилил себя и на помощь кинулся, рассказал, что темно было и что лежащее тело только углядел и еще

три силуэта над ним, и о том, как находчиво слово «милиция» на помощь призвал и как рванулись неизвестные в разные стороны. Даже постарался припомнить, во что одеты они были, но за точность не поручился, мог и перепутать, ночью, как говорится, все кошки серы. Следовательно записывал старательно, понятиливо кивал головой, несколько раз с одобрением и с долей уважения даже посмотрел на Вадима. Хороший парень этот Минин, с ним легко.

— Значит, во дворе совсем темно было или горели какие-то окна? — спросил Минин, отложив в сторону ручку и массируя уставшие пальцы.

— Не помню... не помню, — Вадим подумал. — Или нет, горело одно или два, не помню, — и спохватился запоздало, значит, не так уж и темно было. — Но до нас свет не доходил. Хотя, когда один из них побежал, на мгновение влетел он в эту полоску света, спину я его увидел, неестественно белые кисти рук...

— Кисти рук... — повторил следователь и раздумчиво посмотрел на Данина. — Хорошо детали ловите. Пишете?

— Немного.

— По спине написать могли бы его? По тому, как бежал, как плечами и руками двигал, как ноги ставил? Короче, какой он?

— Я понимаю вас, — ответил Вадим. И, как на экране, увидел опять этого белобрысого — пружинистого, тренированного, расслабленного в то же время, пластичного, породистого, и лицо его увидел, живое, уверенное, чуть хищноватое, совсем не испуганное, а скорее досадливое. Припоминая, Вадим глядел на следователя и в какое-то мгновение понял, что поймал тот что-то в его глазах, что-то упрятанное, укрытое тщательно, недосказанное, потому что искорка недоверия промелькнула у Минина во взгляде, и насторожился он как-то вдруг, будто понял интуитивно, о чем думал Данин в эти секунды. И оборвалась враз протянувшаяся между ними с самого начала разговора ниточка взаимного доверия и взаимного понимания. Сначала оборвалась, а потом исчезла бесследно. Вадим отвел глаза, будто ненароком, случайно, как бы заслышав шаги в коридоре. И вопросительно посмотрел на дверь, и, когда та так и не открылась, вернулся взглядом к столу, к белому листу протокола, и, не поднимая уже больше головы, словно в задумчивости, повторил:

— Я понимаю вас. Праздный он, самолюбивый, уверенный в себе, разжатый, раскованный, трусоватый в то же время...

— Симпатичный? — быстро спросил Минин.

И хотел было уже Вадим вскинуть глаза, даже голова чуть дрогнула, дай бог незаметно, но напрягся вовремя и удержал себя, и продолжая смотреть на протокол, ответил ровно:

— Не знаю, не видел.

И подумал тут же: «Наверное, возмутиться надо было, мол, я же сказал, что темно было и лиц не видел. Не доверяете, оскорбляете подозрением! Но поздно, поздно уже».

— Ну что ж, — Минин деланно вздохнул, развел руками и, в упор, бесцеремонно разглядывая Вадима, лицо его, плечи, шею, руки, сказал: — Не видели, так не видели. Распишитесь.

Потом он убрал протокол в стол и вместо него извлек оттуда же тошую папку. Вынул из нее какие-то фотографии, несколько бумажек.

— Это фотографии и план места происшествия. Место происшествия установлено со слов Можейкиной...

— Она пришла в себя? — не выдержал Вадим.

— Да, в тот же день, — с едва заметной усмешкой ответил следователь. Не поднимая головы, он раскладывал снимки.

Вадим ощутил горечь в горле. От курева, наверное, от никотина, машинально подумал он. Так. А если Можейкина, придя в себя, все по-другому рассказала — всю правду? Может, она в шоке была, когда его, Данина, просила не рассказывать, что с этим белобрысым знакома? Ну и что? Чепуха все это. Он отказаться может, спокойно отказаться. Никто теперь не докажет факт того разговора. Вот, дурак, ввязался. Данин покривился. Урок теперь тебе на всю жизнь.

— Вы больны? — услышал он голос справа. Голос был низкий, тихий, участливый. Однако Вадим вздрогнул. Он быстро повернул голову и наткнулся на маленькие, черные глазки другого следователя.

— С чего вы взяли? — Вадим постарался беспечно улыбнуться.

— Глотаете с трудом, за горло рукой держитесь, морщитесь. Ангина?

— Нет, просто першит.



— А-а-а, — протянул следователь и снова уткнулся в бумаги.

«Психологи доморощенные», — со злостью подумал Вадим. И злость помогла. Одна она теперь только завладела им. И исчезли сомнения, исчезли страхи. Он смотрел на Минина теперь без волнения и даже с легкой неприязненной усмешкой.

Минин указал на фотографии и попросил:

— Покажите, как вы шли, где увидели Можейкину и этих троих.

Фотографии были цветные прекрасного качества, сделанные с помощью вспышки. Снимали, наверное, в ту же ночь. Данин все показал.

— Спасибо, — сказал следователь. — Давайте я отмечу повестку, и можете идти.

Когда Вадим уже был в дверях, Минин проговорил ему доброжелательно:

— Если что вспомните, приходите.

«Только не грохнуть дверью, — подумал Вадим, — как тогда, в Кремле».

До дома своего шел пешком, шел долго и только у подъезда вспомнил, что рабочий день еще не кончился и надо было идти в институт. Войдя в квартиру, сев в кресло и закулив, понял, что никуда не пойдет, видеть сегодня никого не хочет, что сегодня он будет один весь вечер.

А наутро все те вчерашние неприятные ощущения, которые вчера так мучили его, так досаждали, так раздражали и мешали поладить с самим собой, притупились, потеряли остроту, стали неясными, расплывчатыми, бесформенными. Хотя осадок остался. Он все помнил, что было вчера, четко помнил, в деталях, но неудобства или беспокойства больше не ощущал. И очень был этому рад, а еще был рад тому, что умеет вот так замечательно управлять собой, своими эмоциями, чувствами. Раньше вот не умел, а сейчас научился. Еще год назад, если бы случилось подобное, маялся бы и мучился долго-долго, мрачный бы ходил, дерганный, все из рук бы валилось, срывался бы, заводился с полуслова. А сейчас все в порядке. На душе ладно и спокойно. Правда, трудов он затратил на это немало — ворочался полночи, уговаривал себя, что чиста его совесть, что одно только им чувство руководило там, в прокуратуре, — человеколюбие, и что если уж дал слово, то надо держать его. А потом варианты

просчитывал, каким образом недосказанность его, несчастные эти ложные показания могут на нем негативно отразиться. Просчитал и убедился, что никаким. И еще одно очко в пользу душевного равновесия прибавилось. Одним словом, поднялся он с ощущением радостной уверенности в себе и с верой, что сегодняшний день будет не из самых худших...

И впрямь ему повезло. Как никогда хорошенькая, как никогда кокетливая в это утро, Марина с довольным и гордым видом, будто виновницей всему была она, сообщила, что рано-рано утром сегодня Сорокин уехал на неделю на семинар в Киев, — это директор срочно послал его вместо кого-то там заболевшего. Данин присвистнул восторженно, ринулся к своему столу, широким жестом вынул лист бумаги из ящика и скоро и размашисто написал на нем заявление об отпуске за свой счет. Самому Сорокину он не решился бы этот листок подсунуть, не разрешил бы он, воспротивился, остренькими буквами вывел бы в углу: «Возражаю!» А заместитель его большеголовый, лысенький, неуклюжий, похожий на обиженного медвежонка Ряскин подпишет вне всякого сомнения, подпишет, даже слова не скажет, даже не скривится недовольно, не пробурчит: «Очередной же ведь отгулял, и за свой счет в феврале уже брал...» И сегодня же, ну в крайнем случае завтра в Ленинград, в архив, там работа, настоящая, его, там ему рады, там ждут.

...Едва в поезд сел, залихорадило от сладостного предчувствия скорой работы, даже стойкий, чуть горьковатый запах старой бумаги ощутил. И все улыбался, когда у окна стоял, курил и мелькавшие огоньки машинально провожал глазами. А потом пораньше спать улегся, чтобы прошла поскорее ночь. Уже засыпая, решил, что завтра первые полдня тоже спать будет, чтобы проскочило, пролетело время. Жаль, что на самолет билетов достать не мог, но обратно только на самолете — подольше в Ленинграде прожить надо, все возможное из своего отпуска выжать.

\* \* \*

Как ни расчудесно и ни замечательно было в Ленинграде, как ни обласкан он был там добрыми, умными, все понимающими людьми, как ни прижился он за эти дни к такому далекому и близкому теперь городу, как ни радостно и хорошо ему было там, а ког-

да, дрогнув, коснулся самолет серой клетчатой бетонной полосы, через несколько минут замер, все еще деловито гудя, легкость Вадим ощутил необычайную, непривычную умиротворенность, умильность даже какую-то почувствовал. Подивился поначалу. Что? Почему? Без беспокойства подивился, вяловато даже, а потом понял — домой прибыл, к своему. Конечно же, так и раньше бывало, когда возвращался, но там, откуда он приезжал, всегда было хуже, хоть чуточку, но хуже, чем дома, и дня через три нестерпимо уже хотелось в родной город, в уютную свою квартиру. А на этот раз, когда в Ленинграде был, и не вспоминал ведь о доме, и не тянуло, и не пощипывало сердце легонькой, едва ощутимой тоской, да и вообще уезжать не хотелось. На мгновение даже промелькнуло как-то: а не остаться ли навсегда? Ан нет. Как вот увидел сейчас стеклянную коробку аэропорта, так устыдился даже тому, что не рвался домой, что в мыслях даже почти предал его. Но со стыдом своим справился Данин быстро, привычно дав себе допуск, мол, человек я, не машина; и скоро уже ходко и весело вышагивал по бетонке. Выйдя из аэровокзала, узрел огромный хвост на стоянке такси и пошел справляться об автобусе. Оказалось, что тот уехал только-только, следующий будет через полчаса. Он не расстроился и не огорчился даже — есть ли причины? Он дома, он отлично поработал, он доволен собой. И углядел, наверное, в нем этакое преуспевающего, делового, знающего себе цену молодца один из леваков, которых всегда хватает в аэропортах и на вокзалах и которых не возьмешь вот так вот запросто — они себе клиента сами ищут, рассматривают его зорко, прицениваются. Подошел он неторопливо, вразвалку, весь джинсовый, стертый, безволосый почти, спросил тихо: «Куда?» — как своего. Услышав ответ, назвал цену, Вадим непроизвольно провёл по карману, а потом усмехнулся и кивнул: «Поехали».

Дорога разморила. Машина бежала плавно, едва ощутимо покачиваясь. В салоне было тепло и пахло новенькой обивкой, а магнитофон обволакивал чем-то итальянским, медовым и печальным. И все время дороги — ни слова. Это тоже чудесно, когда не тревожит тебя назойливо водитель, не расспрашивает тебя, не рассказывает о чем-нибудь своем, на его взгляд, интересном и занимательном, а ты киваешь с усилием и



поддакиваешь невпопад. У подъезда Вадим расплатился и с легким сожалением вышел: с удовольствием вот так бы ехал и ехал еще. Взявшись за ручку двери, весело подмигнул своему отражению в стекле, вошел, привычно сунул ключ в скважину почтового ящика. Рухнула ему на руки кипа газет, смятых, силой просунутых почтальоном в узкую щель. Он подхватил их, посмеиваясь, донес до лифта, потом кое-как открыл свою квартиру, бросил газеты на маленький столик в коридоре и увидел посередине разбежавшихся веером листов знакомую квадратную бумажку. Вадим нахмурился, отставил кейс, поднес бумажку к глазам. Так и есть — повестка. Только теперь не в прокуратуру, а в милицию, на позавчера. Ну беспокоиться здесь не о чем, позавчера он, естественно, прийти не мог — причина уважительная: отпуск. Данин отбросил повестку и, на ходу снимая пиджак, пошел в комнату. Бросив пиджак на кресло, потянулся к магнитофону, посмотрел, что за кассета там стоит. Так, прекрасно, снова сладкоголосые итальянцы; нажал клавишу, достал из заднего кармана брюк сигареты, закурил, присел на диван, вздохнул глубоко, поежился, как после пробуждения в зимней нетопленной квартире, уставился бездумно в одну точку на противоположной стене, желая еще по-прежнему пребывать в безмыслии, продлить немного приятные минуты, проведенные в машине...

— Зачем!? — вдруг неожиданно для себя, вслух, громко сказал Вадим.

Потом подумал и добавил уже тише, но злее:

— К черту!

Потом еще подумал и тоскливо заметил:

— Дурак...

Он неуклюже вскинулся, с силой, большей, чем требовалось, притушил сигарету в пепельнице, поднялся, хлестко хлопнул по клавише магнитофона. Пуговицы на рубашке расстегивались с трудом — всегда нормально расстегивались, а сейчас вот почему-то с трудом — он едва сдержался, чтобы не рвануть полы в разные стороны. Рубашка полетела на диван, за ней брюки... В ванной горячий душ успокоил, опять появилась сонливость. С силой растирая тебя полотенцем, он решил: завтра навестит Можейкину в больнице, если она еще там, или дома, если выписалась, а потом позвонит в милицию.

Проснуться пораньше, как с вечера еще решил,

не удалось. Когда разлепил, когда с трудом почему-то оторвал голову от подушки, на часах уже десять с минутами было. Присел на постели, свесив ноги на пол, и подивился досадливо, а голова-то и впрямь тяжелая, словно не вчера он в самолете три часа провел, а сегодня, совсем недавно. Может, заболел, продуло где-нибудь? Даже самая легкая простуда порой много неудобств приносит. Как-то не так себя ощущаешь, каждое движение замечаешь, каждый жест фиксируешь, словно на чувствительность свое тело пробуешь. Но наплевать, переживем, это не самое страшное. Вадим поднялся с силой, принял привычную стойку и начал энергично разминать себя издавно отработанными упражнениями. Закончив, понял, что не простужен он, а голова отяжелела, видимо, от смены климата, давления или еще чего-нибудь атмосферного, температурного...

Приемный покой встретил тишиной, специфическими больничными запахами и пустотой. За столом дежурной сестры тоже было пусто, стоял на столе только стакан чаю, и настольная лампа просвечивала его до дна, и темная жидкость в стакане была похожа на расплавленный янтарь. Вадим направился уже к дверям, ведущим в больницу, когда его окликнули, властно и строго. Прямая, с величественно откинутой назад головой на него неприветливо взирала средних лет дама в белом халате. Данин поздоровался, спросил о Можейкиной.

— Три дня как выписалась, — сухо ответила сестра, усаживаясь.

— Адрес, телефон я могу узнать? — спросил Вадим.

— Таких справок не даем, — отрезала сестра.

Вадим усмехнулся.

— И правильно, — сказал он. — За разглашение государственной тайны — расстрел, — он наклонился к сестре и любопытствовал шепотом: — Давно в контрразведке?

Сестра отпрянула, поджала губы, бросила коротко: — Не смешно.

— Смешно было две недели назад, когда я втащил ее сюда полуживую, — устало сказал Вадим. — Позовите-ка мне того самого врача, кто ее тогда принимал. Это было четырнадцатого июля.

Сестра несколько мгновений смотрела на Вадима недоверчиво, потом кивнула и стала торопливо листать большую амбарную книгу. Потом потянулась к телефону, набрала номер, проговорила быстро:

— Доктора Тимонина в приемный покой.

— Спасибо, — сказал Вадим и пошел к банкетке, на которой сидел две недели назад, ожидая мужа Можейкиной.

Лицо у доктора сегодня было приветливое, чистое, словно отглаженное, и теней под глазами не угадывалось, и губы были не так плотно сжаты, как в тот день. И вообще, покруглее показалось Вадиму его лицо, чем тогда, особенно когда Тимонин повернулся к нему в фас, улыбнулся широко, насколько возможно, не деланно, не искусственно улыбнулся, а искренне, дружелюбно-уважительно. Приближаясь к Данину, он уже протягивал руку для пожатия и говорил чуть громче, чем следовало:

— Приветствую вас, отважный и добрый Робин Гуд. Вы не представляете себе, сэр, какой фурор вы произвели своим подвигом на юную часть нашего медперсонала. Меня просто одолели просьбами, чтобы я как бы невзначай, как бы случайно пригласил вас к нам.

Он был приметливый, этот доктор, он уловил, наверное, что-то нехорошее в глазах Вадима и умолк на полуслове, умело стер улыбку с лица, прикоснулся к плечу Вадима, как бы извиняясь и вместе с тем усаживая его этим жестом на банкетку. Внимательно посмотрев Вадиму в глаза и, видимо, удовлетворившись осмотром, присел сам и спросил просто:

— Чем могу?

— Адрес мне ее нужен, — сказал Вадим. — Поговорить хочу.

Он подумал вдруг, что доктор решил после этих слов, будто он за благодарностью пойти хочет, за ощущением своей значимости и благородности, и поэтому, помедлив, добавил:

— Уточнить кое-что надо, я не все толком помню. Стремительно ведь все произошло и в горячке, да и вообще...

— Верно, верно, — поддержал Тимонин, — сочувствие, вернее — участие ей сейчас не помешает, то, что нужно. Депрессия сильнейшая у нее была. Мы утишили, как могли. Но теперь лучше доктора для нее — время и дом. Пострадала она, конечно, крепко, очень крепко.

— Такие сильные были побои? — спросил Вадим. — Но ведь ее раза два-три только и ударили.

— Вот те на! — удивился Тимонин и даже чуть от-



странился от Вадима и оглядел его, будто впервые видел. — Вас, что же, не вызывали еще в прокуратуру?

— Вызывали, — осторожно подтвердил Вадим, уже предчувствуя, что ему сообщат сейчас что-то недоброе.

— И что же, ничего не рассказали?

— Да нет, ничего, — нетерпеливо ответил Данин.

Тимонин пожал плечами и фыркнул, не сдержавшись.

— Ну и ну. Может, думали, что вы знаете... Странно. Короче, побои — это все чушь. Вреда большого они ей не принесли, и не из-за них она теряла сознание. Она была изнасилована. И причем жестоко. Понимаете? Как минимум два-три человека участвовало в этом. Все было сделано зверски, я бы даже сказал садистски. Возможно, пользовались и подручными предметами. Этого я тоже не исключаю... У нее были сильнеешие повреждения внутренней полости, и поэтому она потеряла много крови. Ко всему прочему, естественно, добавился сильнейший психический шок. Первую неделю просто-напросто не хотела жить. И даже пыталась покончить с собой...

Доктор говорил, а Вадиму казалось, что тело его деревенеет, что руки, ноги, голова, плечи становятся холодными и нечувствительными. И губы тоже немеют, и язык не хочет слушаться. И он боялся пошевелиться, боялся произнести хоть слово. А вдруг это не кажется, вдруг на самом деле. Он вздохнул, а вдоха не получилось, только клокотнуло что-то в горле, как у сытой хищной птицы.

— Что? — Встревожился доктор, пристально всматриваясь Вадиму в глаза.

— Нормально, — сказал Данин, — все прошло. — Он звучно и длинно проглотил слюну и смутился и, чтобы скрыть смущение, спросил быстро: — Выходит, что ее изнасиловали еще до того, как появился я?

— Вы невероятно догадливы, — не сдержал ухмылку Тимонин.

Вадим не обиделся, даже хотел рассмеяться, но не получилось, на губах промелькнула только тень улыбки.

— Ну вот и чудесно, — сказал доктор. — Вы уже и улыбаетесь.

Он хлопнул Вадима по колену, поднялся, подошел к столу дежурной сестры, полистал ту самую толстую книгу, вырвал из своей записной книжки листок, что-то быстро записал на нем и вернулся обратно.

— Вот, — сказал он, протягивая Вадиму листок. — Ее адрес, телефон. Идите, навещайте. Передайте привет. Или нет. Не надо. О больницах и врачах лучше не вспоминать.

Вадим поблагодарил, пожал доктору руку и направился к выходу. Сестра кивнула ему на прощанье.

Когда захлопнулись за Вадимом двери больницы, он и не подумал даже, куда ему надо идти, даже на бумажку с адресом не взглянул — с первого взгляда не запомнил он название улицы, чтобы направиться в нужную сторону. Ноги сами его повели поближе к центру, повели к шуму, подальше от этой неприметной, спокойной улочки, от тишины ее умиротворяющей, но сейчас почему-то ненужной и нежеланной.

Он вышел на бульвар, прозрачно-изумрудный от зелени, красивый, почти такой же, как Гоголевский в Москве. И даже литая ограда и гранитные толстые, как бочонки, столбы были похожи на московские. И так же кучно и деловито машины тут сновали по мостовой... «А может, уехать? — вдруг подумал он. — В Москву уехать, к родителям. Работу там себе найду. В случае чего отец поможет. И с книгой вроде все уже в порядке. В случае чего прилетать буду. Всего-то два часа лету...» Он улыбнулся своим мыслям, такими радостными, такими спасительными они ему показались. А потом и засмеялся даже, только тихонько, про себя, остановился, сунул руки в карманы, огляделся вокруг. Как чудесно все, как замечательно! И люди все такие нарядные и симпатичные, и дома такие яркие, и лавочки уютно-заманчивые. А солнце-то, солнце, как сквозь сито, через листву густую просеивается и лучиками тоненькими ласкает твоё лицо, не палит, не жарит, а именно ласкает. «Москва далеко, — опять подумал Вадим, — и там все забудется, все сотрется, выветрится все из памяти. А собственно, что такого я совершил? Да ничего. Ничего дурного».

На душе стало легко, и напряженность внутри исчезла, и скованность пропала, и он опять чувствовал себя легким, сильным, подвижным. И было приятно шагать по бульвару и едва заметно рисоваться вольной своей, раскованной походкой и открыто, чуть-чуть нахально смотреть в глаза проходящим женщинам — всем без исключения и красивым, и симпатичным, и совсем уж неприглядным. И приятно было ловить на себе их взоры, то строгие, то деланно-равнодушные, но всегда,

как казалось ему, заинтересованные. А что? Он и впрямь парень ничего. Высок, строен, крепок, привлекателен лицом и одет не худо.

«Можейкина сама виновата, — успокаивал себя Вадим. — И издевательства над собой сама спровоцировала — ведь есть такая гипотеза, что жертва зачастую сама провоцирует преступника. А теперь не хочет говорить, кто это. Значит, ей так надо. И я здесь совсем ни при чем. Я поступил, как обычный порядочный человек, — он поморщился. Что-то не понравилось ему в этих рассуждениях, он никак не мог понять что. — Ну а в самом деле? Что, я милиционер, что ли? Что, это мой долг? Уж я-то скорее должен поступать по совести в таких случаях, а не по долгу».

И чтобы окончательно успокоиться, он решил, что надо все-таки действительно позвонить Можейкиной, а то и встретиться с ней, обговорить все еще раз. А вдруг изменилось что? Вдруг она сама уже хочет все рассказать? Так что же получится может? Что это он, а не она, преступников покрывает? И вновь пришло беспокойство, знакомое и нудное. Он остановился, поискал глазами телефонную будку. Обнаружил ее впереди метрах в сорока. Заспешил к ней. Но, пока шел, ее уже заняла приземистая коротконогая женщина с недовольным, потным лицом. Вадим встал возле будки так, чтобы женщина его видела. Она скользнула по нему взглядом и, казалось, даже не заметила. Неторопливо набрала номер, постояла немного, монетка так и не провалилась. Тогда она вынула из большой, плотно набитой и поэтому пузатой дерматиновой сумки бумажку, глянула на нее коротко и опять набрала номер. На сей раз монетка провалилась, и женщина произнесла громко и визгливо:

— Туфлей нету женских, австрийских?

Видимо, услышав отрицательный ответ, повесила трубку. Лениво достала еще монетку, опять посмотрела в бумажку и набрала номер:

— Алле, туфлей нету австрийских... Эй, обожди-ка, а дублинков? — выругалась и опять повесила трубку. И следующая монетка свалилась в железную утробу автомата:

— Эй, магазин... Ага. Белья нету постельного? Много? Ага... — Она записала что-то на бумажке карандашом, предварительно посплюнявив его, и опять полезла за двумя копейками.





Вадим отошел от автомата, но недалеко, чтобы опять не перехватили, обвел взглядом близлежащие дома, но телефонных будок больше не заметил. Он вернулся обратно.

— Эй, магазин... Нету? Ага, — доносилось из кабинки.

Вадим вынул сигарету, прикурил. Дым показался противным и горьким. Сигарета полетела в урну.

Он наконец решился постучать в стекло кабинки. А в ответ только:

— Эй, магазин... Нету? Ага...

«Так сдвинуться можно», — подумал Данин и принялся нетерпеливо ходить взад-вперед. Потом остановился, вынул листок с адресом Можейкиной. «Ул. Блюхера», — прочитал он. Это недалеко, несколько остановок на троллейбусе. Надо подъехать поближе к дому и там уж позвонить, а то ждать здесь бесполезно. Он сделал уже несколько шагов в сторону остановки, когда скрипнула дверца кабины, и женщина наконец вышла из нее:

— Наглец, хулиган, — злобно прищурившись, процедила она и утиной походкой поковыляла прочь.

Хотел сказать ей вслед Вадим что-нибудь хлесткое, остроумно-обидное, чтобы разрядиться как-то, снять раздражение, чтобы поставить на место эту женщину-утку, а потом покривился и передумал. Поймет ли? Нет. Оскорбится только, еще злее станет, еще ненавистней на людей глядеть будет. Недобрала чего-то очень важного эта женщина в своей жизни. Радости, наверное, недобрала, ласки, благополучия. А теперь вот и злится на весь свет и сама не понимает почему. Злится, и все тут.

Вадим рывком открыл будку, ступил на скрипящий песком ребристый пол ее, отрывисто набрал номер. Ну конечно. Занято. Господи, как же мешают эти мелочи, как сбивают настроение! Он набрал номер еще несколько раз. Наконец-то!

— Аллё? — Голос был тихий, потухший, испуганно-вопрошающий.

— Добрый день, Людмила Сергеевна. Это... вот даже не знаю, как представиться. Я вам, кажется, и фамилии своей даже не называл. Короче, я тот, кто в больницу вас отвез, в тот не самый, скажем так, удачный день нашей жизни. Вадим Данин.

— А-а-а, — без всякого энтузиазма протянула женщина. — Конечно. Помню. Мой спаситель. Добрый че-

ловек. — Вадиму показалось, что Можейкина тихонько засмеялась, и он недоуменно пожал плечами. — Я хочу еще раз поблагодарить вас. За все, что вы сделали для меня...

— Как вы себя чувствуете? Как настроение?

— Я? — переспросила женщина и сказала медленно и слабо, будто прошептала: — Неплохо, наверное. А может быть, плохо. Не знаю.

«Пьяна? Не в себе?» — подумал Вадим, а вслух сказал:

— Вас опрашивали? Следователь прокуратуры с вами говорил?

— Говорил. Давно уже. Симпатичный, молодой...

— Вы все помните, что отвечали ему?

— Я? Наверное, помню...

— Людмила Сергеевна, у меня просьба. Давайте встретимся. Опасаюсь, что по телефону нормального разговора не получится.

— Встретиться? Хорошо. Приходите... Хотя нет. Не надо. Скоро муж придет. Ко мне не надо. Лучше на улице. Хотя на улицу я не выхожу... А впрочем... На углу Блюхера и Тюринского переулка есть кафе-кондитерская. Можно там. Во сколько вы будете?

— Через двадцать минут.

— Хорошо.

Еще из будки Вадим видел, как к остановке подходит троллейбус. Повесив трубку, он выскочил из кабины и стремглав побежал к остановке. Успел в последнюю секунду. Двери едва не сдавили его с боков.

Улица Блюхера была оживленной, многолюдной и шумной. На первых этажах старых, еще довоенных громоздких домов располагалось множество магазинов, и манили эти магазины приезжих яркими своими витринами и рекламой самых разнообразных товаров. Такси, автобусы и «рафики» с загородными номерами, казалось, парковали здесь сутками.

Из дверей кафе-кондитерской выплывали теплые, сладкие запахи — запахи детства, беззаботности, безмятежности и беспричинной радости. Стоя у кафе, Вадим отыскал глазами дом, где жила Можейкина, ее подъезд — он выходил на улицу — и стал наблюдать за ним, делать все равно было нечего, он приехал немного раньше.

Он не сразу узнал ее, когда женщина вышла из дверей подъезда. В блеклом платье она была, в неброс-



ком, матерчатом, каком-то мятом пиджачке. И вообще вся сама она была бесцветная и невыразительная. Чуть сутулилась, чуть покачивалась, как впервые поднявшийся после долгих дней, проведенных в постели, больной. Голова была опущена, и глаза на серо-бледном лице безжизненно смотрели под ноги. Она медленно подошла к переходу, остановилась на краешке тротуара, пропускающая плотный, по-черепашьи движущийся поток автомобилей.

Вадим, собственно-то, не удивился. Все понятно, тяжелая травма, и физическая и психическая, даже самого сильного человека может выбить из колеи. Он не удивлялся, но почему-то уж очень муторно стало на душе. На мгновение ему подумалось, будто он и только он виноват в том, что вот эта, такая красивая, яркая и жизнерадостная женщина в одночасье превратилась чуть ли не в старуху, унылую, тусклую, сгорбленную. «Нет,— сказал он себе,— это мне только кажется, и кажется из-за чем-то недавно вызванного и никак не уходящего раздражения».

Машины замерли перед светофором, а Можейкина так и не ступила на мостовую. Рядом с ней вдруг возник мужчина в маленькой кепке и короткой прорезиненной куртке. Он склонился к ее лицу и что-то говорил. Вадим видел, как меняется женщина в лице, как расширяются ее глаза, как кривится, приоткрывается рот, как рука в медленном испуге тянется к груди, к горлу. А парень что-то говорил и говорил ей. Теперь он даже держал Можейкину за плечо, и Вадиму почудилось, что длинные, крепкие пальцы его с силой впились в тело женщины. Машины снова поехали. Они мельтешили перед глазами и мешали сосредоточиться. А впрочем, и не надо было сосредоточиваться, надо было бежать к ней, бежать на помощь, как тогда. Потому что и сейчас там, на той стороне, происходило что-то нехорошее и злое. А еще через секунду он узнал этого парня, его фигуру, его повадку, очертания этой вот головы, втянутой в плечи, очертания этой вот крохотной кепочки. Он — один из тех трех, что били Можейкину. Не тот, за кем Данин гнался, а другой, тот, что стоял левее, и он даже что-то там еще говорил, кажется.

Вадим шагнул на мостовую. Пронзительный визг клаксона резанул по ушам, скрипнули тормоза, кто-то выматерился. Вадим отмахнулся и сделал еще несколько шагов.

Обозленно взвизгивая, застывали перед ним машины, едва не касаясь горячими своими мордами его ног, бедер. А Вадим, как слепой, толкался среди них, метался из стороны в сторону, изгибался, извивался, пытаясь выбраться из этого стального душного лабиринта. Под ноги он не глядел и на машины не глядел — лишь краешком глаза улавливал щель, куда можно проскочить, — он смотрел на Можейкину и на этого парня в кепке. Если что-то произойдет, он должен это хотя бы видеть, чтобы предотвратить, не дать ничему случиться, — как-нибудь, все равно как, хотя бы криком... Раздраженные вскрики клаксонов, тонкое повизгивание тормозов всполошили людей. Те, кто стоял у перехода, во все глаза смотрели на мостовую, и у ограды на тротуарах сгрудились кучки людей. И парня в кепке эти звуки тоже заставили повернуться. Он прищурился, будто почуял что-то неладное, еще больше сгорбился, напрягся, дернул губами, чуть оскалился, сверкнув ровным рядом зубов, стремительно повернулся к женщине, накрыл лицо ее ладонью, сжал его пальцами, сказал что-то, скривившись, оттолкнул ее голову и нырнул в толпу. Можейкина отпрянула назад и, теряя понемногу равновесие, мягко повалилась на бок. И тут автомобили, как по команде, словно вросли в землю — светофор преградил им дорогу. Сопровождаемый отборной бранью, выскочил Вадим на тротуар, бухнулся на колени перед Можейкиной, чуть встряхнул ее голову, несильно хлопнул два раза по щекам; и когда открыла она глаза — через мгновение открыла, через секунду — крикнул кому-то, кто рядом стоял: «Кто-нибудь, умоляю, отнесите ее к лавочке возле магазина. Я сейчас», — и кинулся туда, куда за несколько секунд до него побежал парень в кепке.

Он натыкался на людей, как недавно еще на машины, отталкивал кого-то, извинялся, кидался то вправо, то влево, отыскивая крохотный хотя бы просвет между ними. Он знал наверняка, что напрасна суматошная эта гонка его. Парень уже далеко, он свернул, наверное, в какой-нибудь переулок или подворотню или вбежал в ближайший подъезд или ближайший магазин, но все равно Данин пробивался сквозь толпу, потому что гнала его вперед неведомая ему сила, ему надо было сделать все до конца, чтобы не ругать потом себя, не упрекать, не корить, не терзать. Издалека теперь люди видели высокую фигуру его, решительное, чуть шалое от погони лицо, и за мгновение до того, как приближался он к ним,

расступались они в стороны, давая ему дорогу. Вадим подался чуть вправо, к ограде тротуара, машинально взглянул вдоль нее и увидел парня. Тот бежал по мостовой, а не по тротуару, бежал, прижимаясь к ограде, чтобы не задела его проезжающие мимо машины. Вот оно как значит, не свернул он никуда — значит, стремится к определенной цели или просто дурак, ведь давно бы уже мог исчезнуть. Вадим прыжком перескочил ограду и тоже помчался по мостовой. Парень оглянулся, потеряв на этом несколько мгновений, и увидел Вадима, пригнулся еще ниже, и стремительней замелькали его ноги. Вадим тоже прибавил и понял, что нагонит парня, он бегаёт лучше, быстрее бегаёт, если бы еще не курил... Парень неожиданно перемахнул ограду, исчез на мгновение из виду, и потом Вадим снова увидел его кепку в толпе, она маячила светло-серым пятном среди темного моря голов, а затем исчезла. И Вадим догадался, куда она исчезла. Небольшой короткий переулочек здесь был. Вадим достиг его — и ограда тут кончилась, и не надо было перескакивать ее — и снова различил парня, он подбежал зачем-то к табачному киоску, схватил какого-то малого, стоящего там, за плечо, и вместе они кинулись к припаркованной рядом машине, к такси. Малый влетел в кабину, на место водителя, парень в кепке нырнул в противоположную дверь, и тотчас сорвалась машина с места, чуть присев от толчка на задних амортизаторах. Автоматически скользнул Вадим взглядом по номеру, на всякий случай, может, пригодится, хотя вряд ли, зачем? А почему вряд ли, да хотя бы затем, чтобы преследовать сейчас эту машину. Он огляделся — ни одного автомобиля в переулочке — пустой переулочек, чистый, даже безлюдный, и не верится, что совсем рядом в двадцати шагах буквально, напористо катит такой густой и шумный людской поток. Он выбежал на улицу, встал на углу, выставил руку. Но он был здесь не один, много охотников и впереди, и сзади него стояли, и всем позарез нужна была машина, и каждый спешил, а машины, словно дразнясь, посверкивали зеленым глазком и проезжали мимо...

Можейкина сидела на лавочке, опершись плечом на усталую дородную женщину с большим приветливым лицом, и невидяще смотрела перед собой. А женщина держала огромными толстыми пальцами кажущийся миниатюрным жестяной цилиндрок с валидолом и, пытаясь глядя Можейкиной в глаза, вопрошала участливо:



— Ну как, милая, лучше? Лучше?

А Можейкина только покачивала головой, как китайский божок, и все. Вадим сел рядом, отдышался, улыбнулся дородной женщине, поблагодарил ее, взял Можейкину за плечи, повернул к себе.

— А-а, вы... — без выражения произнесла она.

— Я провожу вас домой, — сказал Вадим.

— Домой? Нет, не надо домой. — Можейкина нахмурилась, будто припоминая что-то, и взгляд ее стал осмысленным, она застенчиво улыбнулась, огладила платье на коленях; наклоняя голову то вправо, то влево, полюбовалась им, как девочка-подросток только что купленной обновой, и проговорила нормальным, твердым голосом: — Пойдемте съедим что-нибудь сладкое. Я так люблю сладкое.

Вадим изучающе посмотрел на нее, прищурился, раздумывая, потом поднялся и, поддерживая женщину за руку, помог встать и ей.

— Если что, я могу пособить, — басом предложила дородная доброжелательница.

— Спасибо, — еще раз поблагодарил Вадим. — Мы сами.

Можейкина шла довольно уверенно, но видно было, что уверенность эта дается ей с трудом, с усилием. Слишком правильно она шла, слишком прямо и слишком жестко. И глаза ее, широко раскрытые, не на улицу, не под ноги смотрели, а внутрь, в себя, она будто приглядывалась, оценивала каждое свое движение. Уловив состояние женщины, Вадим подумал, что опасения его, наверное, напрасны — с психикой у Можейкиной вроде все в порядке, раз так сосредоточенно вглядывается она в себя, прислушивается к себе. Просто не выздоровела, не пришла еще в норму после шока. Эти несколько шагов, пока шли до кафе, они молчали, молчали, и пока он столик подыскивал, где поудобнее расположиться, где поговорить можно без помех. В кафе было многолюдно, но не так чтобы очень. Приезжий люд любил поесть основательно, и поэтому в этот час обычные кафе и столовые были набиты битком, что не протиснуться, а в кафе-кондитерскую все больше горожане ходили, кофе попить, черный, крепкий, пирожное отведать — побаловать себя. А как только уселись за маленький столик возле окна, Можейкина проговорила неожиданно:

:

— Хамство какое, совсем распустились! — и посмотрела на Вадима.

Он не понял сначала, о чем это она, даже оглядел зал, полуобернувшись: потом догадался, но ничего не ответил, сделал вид, что, разглядывает меню.

— Что я ему девочка, что ли, — продолжала Можейкина, но возмущения в ее голосе не чувствовалось. — Знакомиться на улице. Пристал и требует, чтобы я ему свидание назначила. Я отказалась, а он мне в лицо...

Только теперь Вадим поднял глаза и опять, ни говоря ни слова, посмотрел на нее в упор. Можейкина не выдержала нескольких секунд, отвела взгляд, нетерпеливо осмотрела зал, словно отыскивала официантку. Данин подвинул к ней меню.

— Спасибо, — сказала женщина. — Попросите официантку. Кофе хочется.

Но звать официантку не понадобилось, она уже спешила к их столику. Большими, желтоватыми, морщинистыми руками огладила скатерть — скорее по привычке, чем из-за желания быть приятной гостям, — произнесла без выражения:

— Говорите.

Он продиктовал заказ, и официантка ушла, унося с собой меню. Вадим потрогал вазочку с салфетками, поскреб ею по скатерти и спросил негромко:

— Они вам угрожают?

— Кто? — встрепелась Можейкина, и глаза у нее сделались круглыми, как у птицы.

— Они вам звонят по телефону и угрожают, — не обратив внимания на восклицание Можейкиной, уже не вопрошая, а утверждая, продолжал Вадим. — Они караулят вас у подъезда в надежде, что вы выйдете прогуляться. А вы только в первый раз вышли сегодня с тех пор, как покинули больницу. Так?

Можейкина как-то обмякла в мгновение, словно подтаяла, как снежная баба в теплый солнечный день. Веки отяжелели, надавили сверху на глаза, обвисли щеки. Она прошептала, выдыхая:

— Я не знаю, о чем вы...

— Знаете, — жестко и тихо сказал Вадим. — Все вы знаете. Не делайте из меня дурака.

Он понимал, что ведет себя жестоко, что не должен он так говорить с больной, потерявшей интерес к жизни женщиной. Ему, наоборот, надо было сейчас жалеть ее, успокаивать, улыбаться, говорить ласковые слова...

Но он хотел знать правду, ему невероятно хотелось знать правду.

— Кто они? — спросил Вадим. — И почему вы не хотите, чтобы их наказали? Они же чуть не убили вас. Они преступники... И я, болван, ничего не рассказал следователю. Но если вы не скажете сейчас мне, кто они, я немедленно пойду в прокуратуру и...

Она не дала Вадиму договорить, стремительно протянула к нему руки, сбив при этом вазочку с салфетками — она мягко покатилась по столу и звонко шмякнулась об пол, — цепко ухватила его руки пальцами и с силой замотала головой. Она хотела что-то сказать, но, наверное, перехватило у нее дыхание, и вместо слов Вадим услышал хрип. А потом худые, острые плечи ее задергались, словно в конвульсии, голова запрокинулась, закатились глаза, и пальцы еще сильнее впились в его руки. «Припадок, — тоскливо подумал Вадим. — За что же мне все это?..» В зале уже обратили на них внимание, многие осторожно оборачивались, а некоторые и попросту бесцеремонно разглядывали.

Женщина с мелким лицом, что сидела рядом, поморщилась брезгливо и прикрыла ладонью глаза маленькой девчушке, которая болтала ножками на стуле и, широко разинув ротик, разглядывала Можейкину. Какой-то низенький мужичок приподнялся было со своего места, наверное, чтобы помочь, но тотчас плюхнулся обратно, усаженный твердой рукой плотной, крутоплечей дамы. Вадим уловил все это краем глаза, пока вставал с места, пока наклонялся над Можейкиной, пока растерянно шептал ей что-то на ухо и, не зная, что предпринять, обмахивал салфетками ее бледное, покрытое испариной лицо. Вот он увидел официантку. Она уже стояла рядом и встревоженно наблюдала за ним и за Можейкиной. Поднос в ее руках дрожал, и чашки на нем ритмично позванивали. Вадим машинально схватил одну чашку, подул зачем-то на кофе, хотя он и так был не очень горячий — руку не обжигал, пальцами приоткрыл Можейкиной рот и влил туда полглотка, а через секунду еще столько же. Подействовало. Женщина перестала дрожать. Плечи ее обвисли, застыли. Можейкина вздохнула, покрутила вяло головой и закрыла глаза, а когда открыла через мгновение, лицо у нее уже не было таким отрешенным и безжизненным. Посетители теперь уже откровенно разглядывали их. И даже буфетчица, мах-



нув рукой на очередь, перегнулась через стойку, во все глаза глядела на них и охала.

— Может быть, «скорую»...

— Врача, конечно, бы надо... Солнечный удар, наверно...

— Да вы с ума сошли, в помещении-то... — слышал Вадим голоса и чувствовал при этом неудобство и неловкость. И надо было поскорее выйти отсюда, забыть о Можейкиной, о прокуратуре, о насильниках. Выйти, подставить лицо солнцу и идти, куда глаза глядят...

— Людмила Сергеевна, все в порядке? — спросил он, разглядывая Можейкину.

— Да, все в порядке, — неожиданно радостно откликнулась она. — А что-нибудь случилось?

Вадим заглянул ей в глаза. Играет? Да вроде нет, слишком уж естественна она. Да и бледность имеется, и испарина, и побелевшие ногти на пальцах, и пульсирующие жилки на шее и у виска. Он, конечно, не врач, но в психиатрии разбирается немного, интересовался когда-то, читал, кое-что видел. Да и зачем ей играть? Чтобы отвлечь его от разговора о прокуратуре, о преступниках? Глупо. Наоборот, он станет любопытствовать еще больше.

— До дома дойдем? Здесь недалеко, я помогу. Хорошо? — Он говорил с ней сейчас, как с маленькой девочкой, которая упала и больно расшибла ножку, как его дочка несколько дней назад.

Можейкина кивнула согласно. Прежде чем встать, она расправила платье на коленях, опять полюбовалась им, наклоняя голову то вправо, то влево, а затем легко и непринужденно поднялась и встала рядом с Вадимом, улыбающаяся и беззаботная, как школьница. Данин расплатился с официанткой, взял Можейкину под руку, и они направились к выходу. На улице Можейкина зажмурилась от солнца, потянулась, как после хорошего сна, и замурлыкала что-то себе под нос. Вадим молчал. Он боялся сейчас говорить с ней, спрашивать ее. Возле подъезда женщина опять поглядела на свое платье, потом выпрямилась, поправила воротничок, горделиво посмотрела на Вадима, повернулась один раз вокруг себя и спросила:

— Хорошее платьице, правда?

Вадим машинально кивнул.

— Вот, — и Можейкина вдруг показала ему язык. — Это мне мама купила, на день рождения.

Повернулась и потянула на себя дверь.

— Вас проводить до квартиры? — растерянно предложил Данин.

— Это еще зачем? — обиженно произнесла Можейкина. — Я уже взрослая.

Вадим закурил, постоял некоторое время, раздумывая и хмурясь при этом, потом не спеша двинулся по улице.

\* \* \*

Проснулся тяжело, с усилием приоткрыл глаза — веки будто приклеились друг к дружке, хмыкнул даже, вяло представив, как пальцами растопыривает их, как придерживает, чтобы не дай бог снова не потянулись они друг к дружке, не слиплись намертво. Обычно по утрам легкости особой он не ощущал, но тяжести тоже. А сегодня вот как-то вязко было, сонная вязкость тело его сковывала. И встать не хотелось, и одеваться не хотелось, и завтракать, и на улицу выходить, и на работу бежать... И лень, не лень, а состояние такое, словно всю ночь проплакал горько, навзрыд, все силы на это выложив.

Когда вернулся вчера от Можейкиной, все места себе не мог найти, все слонялся по квартире, все порывался уйти снова, только не знал куда, где спокойствие обрести, кто поможет ему вернуть прежнее привычно-беззаботное состояние. Все прикидывал и проигрывал варианты и один за другим отбрасывал, морщась с досады, злясь на себя, жалея себя, — что вот не обрел он в жизни своей места такого, где мог от мыслей душевных освободиться — да, пожалуй, и не от мыслей даже, а так от неудобства, от ломоты душевной; что и человека такого не нашел, которому без стеснения, без оглядки, разом, сбивчиво можно было бы поведать о непонятностях своих, — и никаких советов не надо было бы ему и сочувствия, а надо было, чтобы просто человек этот ему приятен был, его человек, да и крепкий к тому же, надежный, не нюня...

Читать не читалось, телевизор раздражал, сумерки за окном и вовсе тоску нагоняли, безнадежную какую-то, беспросветную. Он попытался о чем-нибудь приятном вспомнить. Завтрашний день представить. Не смог, не получилось, все радости и приятности и вчерашние, и завтрашние пустячными, безмерно мелкими виделись, мало того что мелкими — ненастоящими. Подумал, мо-

жет, выпить. Есть вон в баре целый арсенал напитков различной крепости и окраски. Вон они стоят, манящие яркие бутылки с настоящим мужским лекарством — панацеей от всех бед и горестей. Потянулся уже в зеркальное нутро полированной тумбы, но замерла рука в воздухе на полпути — вспомнил, что странное действие на него в последнее время спиртные напитки оказывают — не бодрят и не дурманят, лишь сил убавляют, голову тяжелют, не контрастируют краски вокруг, как раньше, — так стоит ли?

Вадим выключил телевизор, и телефон выключил, автоматически отметив, что вот уже несколько дней боится он телефона, морщится болезненно, когда вдруг резко начинает вызванивать он, — разделся, бросил одежду на пол и повалился на диван...

Однако все, хватит. Надо идти на работу. И хорошо, что надо, просто замечательно, что надо, не будет там времени задуматься, копаться в себе, покончить с с мнениями — все дела, дела, может быть, и не нужные тебе дела, может быть, и попросту не твои дела, но все-таки дела — работа. И выхолостит беготня эта, и суета все то, что исподволь тревожит его и снова обретет он ту самую безмятежность, в которой так привык пребывать, в которой так хорошо ему всегда было, так сладостно — поменьше тревог, поменьше волнений. Мельтешение знакомых лиц, бессмысленная болтовня в коридорах, смешки, шуточки, десятки разных привычных мелочей — и он станет таким же, как и прежде, забудет обо всем, наплюет на все. Прочь неудобства, да здравствует душевный комфорт!

Окно во всю стену — как экран для широкоэкранного и широкоформатного показа. И треть города в него вмещается, если у самого окна стоять, а если к дальней стенке отойти, то четверть, а может, и того меньше. А может, и вообще только десятую часть видишь, где бы ни стоял. Но все равно картинка что надо — крыши, чердаки, темные провалы беспорядочных переулков, окна, осыпавшиеся карнизы, голуби и почему-то дым в двух-трех местах. Откуда? Неужто каминные дымоходы? А что за крохотная серебряная точка небо прошивает? НЛО? Мираж? Все проще — самолет. Скучно. Всего лишь самолет. Данин затаился и выдохнул дымок на окно. Дымок растекся слоисто по стеклу, замер, будто задумался, и обреченно потянулся вверх. На стекле быстро исчезал мутный запотевший кружок... На семи-



этажном доме крышу красят. Мужики в спецовках по самому краю ходят, полшага, и тютю. И не боятся, черти, как по тротуару шастают. Вон девчонка в окне дома напротив промелькнула, вроде хорошенькая. Ну-ка, покажись еще. Совсем ничего, свеженькая, глазастая. Только что-то с одеждой у нее не в порядке — блузка красная, юбка зеленая.

— Теперь так модно? — спросил Вадим, и к кому не обращаясь.

Никто ему ничего не ответил.

— Хомяков, скажите, пожалуйста, — не обращаюсь, опять подал голос Данин. — Вы тоже модный? У вас черные пуговицы к серому пиджаку красными нитками пришиты?

За спиной у Вадима фыркнули по-собачьи. А Хомяков и впрямь на пса похож — на пекинеса, противенького такого, со вмятой мордой. И Татосов тоже на пса этого похож, и на Хомякова. Татосов и Хомяков вроде как «двойняшки». «Ученые», — хмыкнул Вадим и обернулся. Левкин почему-то слишком поспешно отпрянул от Маринки, с которой сидел рядом и что-то ей объяснял с карандашом в руках. Целовались, что ли? Не... Если б целовались, то Татосов и Хомяков давно бы в обморок попадали, валялись бы сейчас и всхрипывали, и пришлось бы «скорую» вызывать, деньги на апельсины собирать... А Левкин мужик ничего, здоровый, громогласный, разухабистый, только уж больно хозяйственный, все свертки да сумки, колбаса да молочко. А когда на Маринку смотрит, у него глаза, как у коровы, делаются.

— Нет, правда, — сказал Данин. — Скажите, Хомяков, это вам кто подсказал или сами додумались, или в журналах заграничных углядели брюки по шиколотку носить, а под ними оранжевые носки? — Вадим сел за свой стол, почесал висок. — Ведь у вас же жена есть. Она что, не следит за вами?

Татосов вскочил с места и засопел, задыхаясь. Сколько ему лет? Пятьдесят три? Пятьдесят пять? Левкин с неохотой оторвался от Маринки, скрипнув стулом, поднялся и примирительно сказал Хомякову, предварительно погрозив Данину кулаком:

— Не обижайтесь, Анатолий Иванович. Вы у нас недавно и не знаете Данина, он так шутит. У него вот юморок такой. — Он многозначительно pokrutil пальцами возле лба.

— Ну знаешь ли, — сказал Данин и сладко потянулся.

Хомяков пробормотал что-то про издевательство и не обсохшее на губах молоко, но послушно сел. А Татосов и вовсе голову не поднял, пока Данин, Левкин и Хомяков так занимательно беседовали.

Вадим поковырялся в бумагах, стал что-то писать, через пару минут отбросил ручку, подвинул к себе телефон, снял трубку. Она гудела, и Вадим тоже загудел вместе с трубкой:

— У-у-у-у-у-у, — в одной тональности тянул он.

— Это невозможно, — негодуя, хлопнул ладонями по столу Хомяков.

— А вас не спрашивают, — сказал Данин.

— Вадим, — зло одернул его Левкин. — Что с тобой? Ты сегодня особенно дуришь.

— Все, все, все, все, — сказал Данин, взял ручку, опять начал писать и чуть не заплакал...

А потом Данин пошел в буфет и взял себе кофе, томатный сок, ветчину и хлеб. Намазал ветчину горчицей и стал жевать. Вокруг ходили сотрудники, его коллеги, кивали ему, здоровались. И он кивал и здоровался. Кофе был горячий, и Вадим обжег язык, и он стал чувствительный и шершавый, и некоторое время теперь противно будет курить. «Тогда не буду курить, — решил Вадим. — Это полезно». Вокруг за столами тоже пили и ели, где-то смеялись, но в общем-то было тихо. В институте работали культурные люди. Вадим допил сок, взял пальцами стакан за кромку и крутанул его, стакан заплескал, дробно стуча гранями по столу. Вадим взял второй стакан и сделал то же самое. Два стакана гремели в два раза громче. Подошла уборщица, собрала стаканы и сказала, что Данину надо лечиться. Данин согласился, но сказал, что на пару у них это лучше получится. В буфет вошли Хомяков, Татосов и Левкин. Левкин нес сумку, большую, черную, хозяйственную, из дерматина. Проходя мимо Данина, Хомяков брезгливо отвернулся, а Вадим хотел подставить ему ножку, но не получилось, тот далеко был от стола. Оказывается, что очередь вдруг увеличилась. Вадим и не заметил когда. Кто-то за спиной сказал, что, оказывается, привезли колбасу. Но Хомяков, Татосов и Левкин упорно встали в самый хвост. Минут на сорок. Данин прошелся взглядом по очереди — тетки из бухгалтерии, линотиписты, уборщицы и вахтеры. Научных сотрудников раз, два и обчелся.

И понятно, им работать надо. А Хомякову, Татосову и Левкину не надо.

— Левкин, — громко сказал Вадим. — В мясном на углу дают котлеты по тринадцать, тебе бы взять штук пятьдесят. Дешево, и готовить не надо. А в универмаге постельное белье арабское, пять комплектов в руки. Ага, Левкин, хорошее белье. А еще апельсины, а еще...

Левкин покраснел, но из очереди не вышел. Все смотрели на Вадима и все его не любили. Особенно Хомяков и Татосов. Хомяков вполголоса сказал, что таких перевоспитывать поздно, их надо ликвидировать. Вадиму стало скучно, и он ушел.

Марина что-то увлеченно писала и, водя ручкой по бумаге, шевелила губами, как школьница, еще бы язык надо было высунуть и носом пошмыгать. Она красивая сегодня была. Она всегда была ничего, но сегодня особенно. В белом платье с голубой оторочкой. Уютная, домашняя. Старательная. Вадим подошел и сел рядом, на тот стул, на котором сидел Левкин, и стал смотреть, как она пишет. Марина подняла глаза, улыбнулась рассеянно и опять зашуршала по бумаге. Вадим смотрел. Затем наклонился и поцеловал ее под ухом. Марина по привычке хмыкнула, и замерла, и натянулась в струну, и не решилась на Вадима взглянуть. А Данин опять наклонился и поцеловал ее в щеку, а потом в уголок губ, а потом мягко взял ее за подбородок, повернул к себе и, глядя в открытые ее глаза, поцеловал в губы. Они поддались поспешно и с горячностью. Ручка полетела на стол. Теплые ладошки обхватили его лицо и сжали, подрагивая. Наконец, задыхаясь, они разняли лица и посмотрели глаза в глаза, недоумевая и радуясь. И Вадим вдруг стал маленьким, и ему захотелось, чтобы его погладили, и погрели, и покачали, и побаюкали. И еще ему хотелось уткнуться в упругую Маринкину грудь и никого не видеть долго-долго. Он провел рукой по глазам и сказал себе: «Нет, нет! Я сильный, я держусь, я всем вам...» Показал Маринке язык, покривил губами, встал и подошел к окну. Он знал, что Маринка смотрит ему в спину, и знал, как к смотрит.

К вечеру он выпросил у Рогова четыре отгула.

\* \* \*

Митрошка. Что это? Имя? Прозвище? И кто этим именем-прозвищем назван? Женщина? Мужчина? Молодые? Старые? Но он точно помнил, что Можейкина



сказала именно так — Митрошка. «Сумку потеряла, оставила, наверное, у Митрошки...» И где, интересно, эта диковинная Митрошка проживать может, на какой улице, в каком доме? Естественней всего, конечно, предположить, что именно в том доме, во дворе которого вся эта история и произошла. Но почему на улице тогда эти четверо отношения выяснять стали? Почему не в доме? Не в квартире? Но, впрочем, и это объяснить можно — там Можейкина в прострации находиться могла, в полубморочном состоянии, а вышла на улицу — полегчало ей, прояснилась голова, вскипела злость... Ходил Данин по комнате упругими, быстрыми шагами, тер лоб, виски пальцами, потому что туго что-то соображалось, не виделось, как отыскать ему бесполого пока Митрошку, а с его помощью попробовать «друзжков-приятелей» Можейкиной установить. Еще вчера он решил выяснить, кто же они такие? Где живут? Чем занимаются? Ему же легче, чем ребятам из уголовного розыска и из прокуратуры, он же больше знает. Он должен был сообщить им все это, но не сообщил, а теперь поздно. Он ведь расписался уже об ответственности за дачу ложных показаний, теперь если придешь и все по-новому расскажешь, не так, как прежде, привлекут к суду. А впрочем, привлекут ли? Надо бы с юристом посоветоваться, с юристом-практиком, со знатоком всяких там отношений с милицией, прокуратурой. Да вот нет у него такого юриста знакомого, а в юридическую консультацию не пойдешь. Ну да ладно, завтра-послезавтра найдем и юриста, а пока нечего попусту растрачивать с таким трудом выхваченные отгулы. Все равно не пойдет он в милицию. Стоит только лицо Можейкиной вспомнить там, за столиком в кафе, и всякое желание отпадет туда идти, этой женщине и так досталось круто и без него, а с его помощью и вовсе худо станет. Пока подонков этих отловят, они многое способны с ней сделать — терять им нечего, не они сами, так из окружения кто... Хотя... хотя, кто его знает, в этих рассказах о мщении и тому подобном болтовни больше, чем правды, но все же рисковать не стоит. Нет, точно не стоит. Он сам способен их найти, наверняка способен, недаром жизнью и деятельностью такого замечательного российского сыщика, как Николай Румянцев, занимается. Пока читал о нем документы, воспоминания, и сам немного к сыску приобщился — методику розыска, последовательность хотя бы в общих чертах, но узнал...

Значит, основная задача такая — установить их и анонимку в милицию или там в прокуратуру забросить, и все, и миссию свою он считай выполнил.

Митрошка. Первый и основной пока пункт. Митрошка и сумка. А начнем, пожалуй, все-таки именно с этого дома, где все и произошло. Не надо ничего усложнять, все может оказаться предельно элементарным. А Вадим чувствовал шестым, седьмым, восьмым каким-то чувством, что связаны они все с этим домом — и Можейкина, и трое этих... Ну а если, как говорится, «прокол», вот тогда и будем думать, что делать дальше.

Все вокруг теперь иначе ему виделось: и люди, и дома, и деревья — праздничней, радушной. И солнце светило иначе, ярче, веселей, нежней для него светило: и воздух утренний именно тем самым казался, утренним по-настоящему, свежим, бодрящим — не городским — и упругим к тому же, его потрогать даже можно было, кончиками пальцев осязать можно было, до того хорош он, до того плотен и чист. И сам себе Вадим другим казался, совсем не таким, как вчера, позавчера или даже неделю назад.

Сегодня Вадим обрел прежнее состояние, когда каждую клеточку тела своего чувствуешь, когда все движения свои — походку вольную, уверенную, полуулыбку на крепком лице, будто со стороны видишь и со стороны оцениваешь. И осмотром этим доволен весьма, и оценку очень даже высокуюставляешь. Теперь он знал, что может, знал, что есть у него резерв, запас прочности есть. Правда, когда на Звездном бульваре из троллейбуса картинно-элегантно выпрыгнул, когда чуть небрежной — «делоновской» походкой по тротуару зашагал и взгляды женские заинтересованно-любопытствующие уловил, огорчился вдруг, неожиданно для себя подумав: а не играет ли он сейчас в сыщиков-разбойников? Не игра ли это для него? Серьезная, нужная, но все же игра... Но в хорошем он пребывал сегодня состоянии духа, и поэтому мысли эти долго не задержались. В конце концов, решил он, даже если и есть в начинании его элемент игры, то это тоже неплохо, значит, легче дело пойдет, уверенней он держаться будет...

И днем переулком этот таким же неприветливым и пониклым казался, как и ночью, будто тень со всего города здесь собралась, весь серый цвет на стенах домов-глыб сконцентрировался. И если ночью мрачность, унылость эта естественной казалась — темнота

как-никак, а в темноте и самый развеселый дом неприглядным покажется, то днем он просто пугал настороженной угрюмостью своей, холодными, так ни разу и не угретыми солнышком стенами зданий, только что не осклизлыми они были, и небо виднелось над головой, а так полное ощущение, словно в погреб спустился. Поскорее пройти этот переулок хотелось, припуститься бегом, чтобы выйти побыстрее на светлые, опрятные, разгоряченные летней жарой улицы города.

Вот и дом, тот самый, злосчастный. Во двор Вадим заходить не спешил, прошелся — руки в карманы — по другой стороне переулка, улыбаясь, как бы любопытствуя, пробежался цепким взглядом по окнам — совсем непримечательные окна, глухие отчужденные, наверное, и на быт живущих здесь унылость переулка отпечаток свой накладывает. Данин вразвалочку пересек мостовую, вошел в арку, темную, с низким сводом, чтобы только экипаж проехать мог, — совсем старенький дом, дореволюционный еще — и очутился в колодце двора. Ничего необычного, лавочки возле двух подъездов, бачки мусорные, детская площадочка крохотная, щербатым, низким заборчиком огороженная. И никого. Пустота во дворе. И немудрено, почти одиннадцать уже, на работе люди, кто не работает — домохозяйки, старики — по магазинам пошли. Жалко, что стариков нет, можно было бы поболтать о том о сем, невзначай про Митрошку спросить. Он, собственно, на это и надеялся. Не бегать же по подъездам, не звонить по квартирам и выспрашивать: «Где здесь некто такое проживает, Митрошкой называется?» Дети тоже помочь бы могли, они иной раз больше стариков про свой дом знают. Но и они отсутствовали — на каникулы разъехались кто куда ребята. Рано пришел Данин, но не мог терпеть более, поскорее, поскорее хотелось ему дом этот увидеть, разглядеть повнимательней, быстрее все выяснить хотелось, нетерпение его жгло. Ну как быть теперь? Что делать? Вадим вынул из заднего кармана какую-то бумажку мятую, потертую, с давно ненужными телефонами, посмотрел на нее внимательно, покачал головой недовольно, повернул обратно к арке. Это он на всякий случай проделал, кто его знает, может, этот самый Митрошка сидит сейчас у окна и за ним наблюдает, а так вроде человек не туда попал, куда нужно. Пошарил глазами по переулку, ни одного магазинчика, как назло, ни приемного пункта прачеч-



ной и ни сберкассы, ничего такого, что вот на таких маленьких улочках бывает в первых этажах стареньких домов. Он двинулся вверх по переулку к широкой и прямой, новыми, современными домами застроенной улице Ангарской. Он помнил, что там где-то неподалеку от переулка, на углу в не снесенном еще, но уже давно к этому подготавливаемом доме гнездилась маленькая, затхлая, грязенькая пивнушка, по недосмотру чьему-то еще уцелевшая. Все может случиться, может, и застанет он там кого, кто сообщит ему что-нибудь дельное.

Она там и находилась, в том самом трехэтажном, десятки раз крашенном в самые невероятные цвета стареньком доме. Последние года два цвет был приемлемый, зелено-желтый — не ласкал глаз, но и не раздражал. Уже на подходе к пивнушке кучками стояли заведывающие. Вялые с утра и дерганные одновременно, вздрагивающие от окрика, от шума неожиданного. Беседы здесь велись незамысловатые, все больше о спорте, о работе, о соседях. Пока еще негромко разговаривали, голоса были тусклыми, бесцветными, не подействовало еще пиво.

Вадим вошел внутрь. Кислым духом пахло, резким запахом подтухшей копчушки по ноздрям ударило. Глубокая тоска, написанная на отекавших, небритых, бледных лицах, в глаза бросилась. Данин еще разок оглядел зальчик и около стойки справа от автоматов увидел, как ему показалось, то, что нужно. Трое мужчин там стояли. Основательно пили они огромными, в треть кружки, глотками — только кадыки судорожно елозили по шее, толстыми пальцами тщательно и сосредоточенно чистили рыбу. Но самое главное, что двое из них в шерстяных спортивных костюмах были, значит, живут совсем неподалеку, и лица у них были нормальные, чистые, свежие лица здоровых сорокалетних мужиков. Не тряслись они с похмелья, не кричали, перебивая друг друга, а разговаривали чинно, негромко. Вадим отыскал свободную кружку, пристроился рядышком. Мужики о каких-то своих делах заводских беседовали, рассудительно беседовали, обстоятельно. На Вадима внимание не обращали, много сейчас по городу таких ребятишек ходит — джинсы, курточки, кроссовки.

Контакт с ними Вадим установил быстро, попросил спички, хотя зажигалка у него в кармане лежала, угостил своими заморскими сигаретами «Винстоном» —

в Ленинграде новые друзья подарили. Мужики взяли сигареты, затаились с опаской, поморщились, но нового знакомого своего обижать не стали и принялись докуривать через силу. Они узнали, что Вадим инженер, работает тут неподалеку в одном управлении, а он, в свою очередь, узнал, что они с кабельного завода, а живут ну просто в двух шагах отсюда.

— О, так вы здешние, — обрадовался Данин. — Я же ведь тоже здесь жил раньше, ох, давно это было, лет пятнадцать назад. Хорошее раньше пиво, говорили, тут было. Всегда свежее, душистое...

Мужики закивали согласно, раньше все было лучше, а вина какие были, дешевые, вкусные, а колбаса, а рыба, да что говорить...

Вадим засмеялся. На него посмотрели с удивлением.

— Да вот вспомнил человечка одного забавного. Не появлялся, интересно, здесь? Митрошкой называют.

Мужики пожали плечами. Один, постарше, с могучей шеей, попытался было вспомнить, но не смог.

— Да мы, собственно, недавно здесь живем, — сказал он. — И не знаем толком никого.

Вадим расстроился. Опять кого-то искать надо, болтать с кем-то о всякой ерунде.

— А ты знаешь, — добавил мужик после паузы, во время которой хватанул полкружки. — Ты у Долгоносика спроси, у этого, значит, Михалыча, Долгоносик — это кличка такая. Здесь его все так прозывают. Он в твоём переулке, сколько себя помнит, живет.

— А он здесь? — с энтузиазмом (совсем не показным) спросил Вадим.

— А вон, — мужик махнул рукой. — Пиво наливает.

Вадим обернулся. Нос у Михалыча действительно был долгий. Красный, пористый, отвислый, безвольно к верхней, пухлой губе припадающий; в кургузом заношенном пиджачишке мужичок он был, в коротких брючках, в стоптанных сандалиях на босу ногу.

— Эй, Михалыч, — гаркнул толстошей мужик. — Поди-ка.

Михалыч глянул вяло, кивнул и, когда из кружки вспучилась пена, а потом потекла неторопливо по стенкам ее, Михалыч зашаркал в их сторону. Был он стар уже, и глаза его слезились, и от того трогательно-скорбный был у него вид.

— Чего? — стылым голосом спросил он.

— Да вот паренек знакомыми интересуется, говорит, жил здесь когда-то.

Долгоносик глянул на Вадима сначала безучастно, потом оглядел его с ног до головы, и в глазах блеснула искорка. Вадим понял, что мужик оценил его, сколько с него за хороший разговор кружечку снять можно. Он вытащил рубль, огляделся, делая вид, что ищет что-то:

— Где бы разменять, размен-то закрыт?

Один из мужиков протянул руку:

— Это мы ща мигом. Давай, если доверяешь.

И умчался за дверь.

Глаза у Долгоносика подопрели.

— Где жил-то? — прошуршал он.

— В переулке, Каменном.

— Дом?

— Шестой.

— Не помню чего-то я тебя. — И в глазах у Михалыча снова безучастность. — А фамилия?

— Квашнины мы.

— Не помню, я здесь всех знал.

Вадим чертыхнулся про себя. За один миг все рухнуть может.

— У меня отец военный был, мы здесь недолго жили. Но я все помню, каждый день.

— Отец полковник?

— Ага, полковник.

— Припоминаю, припоминаю, — он сощурился. — Машина еще у вас была.

— Да, да, да, — расплескивая по губам довольную улыбку, зачастил Вадим.

— Но не Квашнин фамилия того полковника была. — Михалыч печально уставился на дно кружки. Там оставалось еще на полглотка.

— Да Квашнин, Квашнин, — с горячностью произнес Вадим.

— Да? — скептически глянув на него снизу вверх, спросил Михалыч.

Прибежал с двадцатками Леха. Схватил кружки, пошел к автомату.

— Я вот даже Митрошку помню, — радостно сообщил Вадим.

— А кто ж ее не помнит, поганую эту старуху, все



ее помнят, змеюку подколодную, кляузницу чертову. И на вас жалобы писала, что ль?

— Было дело, — горестно покачал головой Вадим.

— Змеюка, — повторил Михалыч. — А сейчас честных людей обирает. Квартиру сдает, чуть ли и не по сотне в месяц.

— Для студентов дорого...

— Да не студентам. Тоже молодому какому-то, но не студенту. Белобрысый такой, статный.

Вадим выдохнул неслышно задержанный на секунду воздух.

— Она в четвертом доме, кажется, жила, да?

— В каком четвертом, седьмом. Аккурат и в седьмой квартире, раздери ее качель!

— Да-а, — протянул Вадим и от радости выпил целую кружку. Пошло везение, теперь только не упустить, попридержать его, хотя бы на некоторое время, хотя бы на сегодня, чтоб с Митрошкой этой не сорвалось ничего.

А потом они о пустяках болтали. Михалыч разошелся, вспоминать детство принялся, юность нелегкую, войну, заплакал, кружку выронил, разбил...

Вадим вышел только через час.

Вышел, унося помойные, душные запахи пивнушки, непременно эти спутники любителей таких вот специфических заведений. Из хорошего бара пивного хлебный аромат свежего пива с собой уносишь, дымный запах шашлыка, приятное благоухание свежесваренных креветок, а отсюда вот только въедливый дым дешевых сигарет, тошнотворно-душноватые запашки подкисшего пива и копченой рыбки с «гнильцой». И долго еще прелести эти из твоей одежды выветриться не могут, крепко к ней пристают, мертво. Но разве такая мелочь, совсем безобидная, может сбить деловое твое настроение, когда все так благополучно складывается? Нет, конечно.

И вот Вадим снова у дома, снова ныряет в арку, торопливо пересекает двор...

А как в подъезд вошел, остановился, замерла нога на полушаге — он же ведь и не подумал, что бабке говорить будет, кем представится, а наобум, наудачу лезть глупо. Студентом представиться, ищущим квартиру? Ах, у вас занято? Посоветуйте тогда, к кому обратиться здесь поблизости, уж больно мне места эти нравятся... Можно и так, можно и так. Вполне пригод-





но. А как вести себя? Скромно, застенчиво или нагло-вато, разухабисто? Нагло-вато лучше, наверное. Разухабистые, развеселые, нагло-ватые меньше подозрений вызывают. Милиционеры-то они все серьезные, вдумчивые, во всяком случае, большинство именно так их представляет. Ну что, изготовился? Вдох глубокий, шумный энергичный, выдох — и вперед...

Дверь старая, одного возраста с домом, наверное, — неопределенного цвета краска давно уже облупилась, кое-где и просто отвалилась, внизу особенно, будто кто лежал под ней долго и скребся, скребся ногтями нестриженными. Хрипловато тренькнул звонок, ответили на него мигом, гаркнули так же хрипло, только пониже тоном: «Счас!» Голос женский, бабкин, наверное. А если еще кто в квартире есть? Да ничего страшного. Ищу квартиру, и все тут.

И в мгновение ожгло Вадима страхом. А если там белобрысый или тот, в кепочке, что к Можейкиной возле дома приставал и за которым Вадим гнался? Но щелкнул замок, стала дверь приоткрываться понемногу, и отступать было уже поздно. С невероятным усилием выдавил Вадим из себя эдакую шалую, пьяноватую улыбочку, машинально ключи от дома с большим автомобильным брелком достал, стал поигрывать ими, чтобы руки успокоились, чтобы дрожь в них прошла. Блеснули в темном проеме настороженные глаза. Потом дверь открылась шире, и предстала перед Вадимом костлявая старуха лет семидесяти, а может, и восьмидесяти, а может, и девяноста, с большим, крепко поджатым ртом, с носиком коротким, остреньким, с глазами-кругляшками цепкими, споконными. Застыранное платье из сатина сидело на ее худосочных плечах неуклюже, как на вешалке.

Глянула она ему в глаза пристально, изучающе, потом с ног до головы взглядом окинула и опять в глаза уперлась. Лыдый был у нее взгляд, нехороший. Но вот глаза подобрели (с чего бы это?), усмешка в них появилась. Кивнула она на ключи, спросила надтреснутым, прокуренным — показалось даже, что дымок легкий из рта повалил — голосом:

— А че не Витька приехал?

Стоп! Его за кого-то приняли, за кого-то своего, но незнакомого. Осторожно! Соберись! Пока он старательно прикидывал, что ответить, бабка сама за него уже все решила.



— Не его смена, что ль? Сменщик ты его, что ль?

— Сменщик я его, бабуль, сменщик, — весело ответил Вадим. — Корешки мы с ним закадычные, из одной миски, бывало, хавали...

— Это где же это? — подозрительно спросила старуха.

— Есть места, бабуль, лучше не знать, — беззаботно заметил Вадим.

— Ну-ну, — прохрипела Митрошка. — Заходи, коли так. — И пошла сама в глубь квартиры, ворча на ходу.

— Эх, фраерки захарчеванные, присылают незнамо кого, молодые, НКВД на них нету...

Ну прямо как в кино — и старуха необычайно колоритная, и квартира у нее, больше на «малину» смахивающая, чем на обитель престарелого человека. Правда, на «малину» нынешнюю, не двадцатых годов, потому что обои здесь были импортные, обстановка — даже в прихожей — тоже импортная, изящная. Но что-то здесь не так было, не обжито как-то, временно, словно с минуты на минуту приедут грузчики и снесут всю мебелишку в свой большой специальный автомобиль...

— Что это ты, бабулька, там про энкэвэдэ чирикнула, не накаркай беды-то. — Вадим сам себе удивился: откуда же слова-то такие находятся, как в книжках про уголовников, смешно, право слово. Ощущение — будто все это не на самом деле происходит, а понарошку, во сне...

Митрошка остановилась на пороге кухни, обернулась медленно, задумчиво уставилась на Вадима и спросила, сузив глаза:

— А чей-то ты так быстро прискакал, ведь Леонид минут десять как звонил, а ты уже здесь? Как это я не сообразила...

«Знать бы, зачем он звонил, знать бы, зачем человека сюда послал, меня якобы...»

Вадим рассмеялся. Хороший у него смех получился, искренний, безмятежный. А потом остановил себя разом, похолодел взглядом, верхнюю губу приподнял презрительно. Чудеса! Откуда что берется?! Процедил:

— Подозрительна ты, бабка, не по делу. Значит, так надо. У нас связь постоянная.

— Ага. Ага. — Митрошка вроде успокоилась. — Ну тады ладно.

Прошаркала на кухню — там тоже гарнитур был

соответственный, югославский, не иначе. Интересно, сколько комнат в этой квартире? Потом Митрошка нагнулась к маленькой дверце под мойкой, там, где обычно помойное ведро ставят, пошуршала чем-то, наверное, мусором в ведре, и, когда с трудом распрямилась, в руках ее был сверток. Небольшой, в две ладони размером. Нехотя протянула она его Вадиму. Захрустела приятно оберточная бумага, пальцы нащупали что-то плотное, но податливое, когда посильнее нажмешь.

— Заветный сверточек, — усмешливо всхрипнула Митрошка. — Не потеряй смотри, из рук в руки передай. Скажи Леониду, что, мол, отработала свое бабка как полагается, ни словечка, ни полсловечка, а уж как хотелось, — она прищурилась озоровато, как школьница, задумавшая сбежать с уроков, — когда шастали здесь эти самые в штатском и все выспрашивали, выспрашивали, не видела чего, не слышала. Видеть-то я не видела, не было меня, а вот штучку эту нашла под софой, долгонько она там провалялась.

«Сумка, — промелькнуло у Данина. — Та самая сумка. Неужто больше двух недель она здесь провалялась?»

Дорого, видимо, сумочка неизвестному Леониду обошлась, бабулька-то эта непростая — многое перевидала и с блатными наверняка якшалась почем зря. Вспомнив про Леонида, Вадим спохватился. С минуты на минуту должен был приехать тот, кого Леонид послал, и если они встретятся...

— Ну лады, бабулька, — сказал он. — Покатил я, время — деньги.

И повернулся было, но бабка удержала его за рукав.

— Где таксу свою оставил?

— Там, — Вадим неопределенно махнул рукой.

— Там, где Витька ставил? Он сказал тебе, где ставить. Там, внизу, где будка эта самая электрическая стоит.

— Все я сделал, как надо, — самодовольно хмыкнув, сказал Вадим, — пошел я, бабуля, времени в обрез...

Но что-то он не успел сделать, что-то важное. Узнать побольше про Леонида — это ведь наверняка тот самый белобрысый. Но как, как? Что спросить? Он огляделся. Заметил по-хозяйски:

— Хорошая квартирка, жалко... Не видать теперь

ее Леониду как своих ушей, — и понимал, что рискует, но так хотелось отработать все уже до конца, чтоб не мучиться потом, вот мог, а не сделал, что струсил, мол.

— У него других квартирок хватает, не беспокойся. Ты его еще мало, видать, знаешь, дружок. Он молодой, да ранний. В мои годы такие ого-го чего творили... Ну да ладно, заболталась я с тобой, а знать тебя не знаю. Иди, дружок, иди...

Двор Вадим пересек быстро, миновал арку, вышел в переулок, огляделся. Никого. Перешел на противоположную сторону, зашел в подъезд дома № 6, в котором якобы жил когда-то, и только здесь отдышался.

Многих сил стоила ему эта дружеская беседа с Митрошкой, когда любое неосторожное слово, любой жест ей непривычный, любое движение, не свойственное именно тому типу, который он разыгрывал, могло эту старую, болтливую пройдоху на подозрение навести, заставить какие-нибудь шаги предпринять — и ведь неизвестно, какие шаги, самые непредсказуемые действия она могла совершить. К тому же где гарантия, что в комнатах никто не сидел и не слышал их. Это Данин сейчас знает, что там никого не было, а тогда... А если бы он с «курьером» от Леонида встретился? Кто знает, как могло бы дело повернуться? Но обошлось все, слава богу. Только пальцы все еще мелко подрагивали. Напряжение уже спало, дышалось легче, уверенней. Да, совсем непривычный он к этим занятиям человек, Вадим усмехнулся, дилетант. Но все равно он был доволен, что, может быть, не совсем профессионально отыграл свою роль, но, во всяком случае, неплохо. Он застегнул «молнию» куртки, сунул сверток за пазуху, чтоб рукам не мешал, для того дела, которое он задумал, руки должны свободными быть, — и через мутноватое, заляпанное грязными руками оконце в двери стал наблюдать за подходящими к седьмому дому. «Курьер» должен был прийти с минуты на минуту, и надо было его дожидаться, посмотреть, как он поведет себя после того, как от бабки узнает о его, Вадима, приходе...

Он шел снизу, от Звездного проспекта. Собственно, оттуда Вадим его и ожидал. Он поставил, наверное, машину, как и говорила Митрошка, у трансформаторной будки и теперь пешком двигался к дому. Вадим хмыкнул: «Конспираторы». То, что в арку вошел именно «курьер», Данин не сомневался — одет он был мод-



но, броско, как фарцовщик: джинсы-бананы, туфли белые, светлая куртка с погончиками, рукава закатаны до локтей; низкого роста он был, широкоплечий, рукастый, шел вразвалочку, с ленцой, лицо круглое, стертое, без выражения. Встречал Вадим таких в ресторанах, около гостиниц интуристовских, в валютных магазинах. Странно, на шофера он не похож. Хотя сейчас все смешалось, ярко выраженные профессиональные черты трудно теперь найти в человеке. Все теперь, помимо основной профессии, еще какими-нибудь делами занимаются, особенно таксисты.

А впрочем, может, это и не «курьер», а просто прохожий?

...Когда он вылетел из арки минут через пять, на лице уже появилось выражение — растерянность, страх и злорадность одновременно. Он стоял, словно изговившись к прыжку — чуть наклонившись вперед, и крутил головой то вправо, то влево, не зная, куда бежать. Все-таки «курьер» помчался было вверх по переулку и так близко от подъезда оказался, за дверями которого Вадим тайлся, что можно было открыть эти двери и коснуться плеча «курьера». Вадим непроизвольно вжался в стенку, отвел глаза, чтобы не почувствовал тот взгляда. Потом «курьер» рванул вниз по переулку, побежал пружинисто, скоро, умело, только локти чуть выше держал, чем положено. Вадим приоткрыл дверь, посмотрел вслед. Тот несясь, не оглядываясь, решил, видимо, что Вадим к Звездному проспекту пошел, там людей больше, транспорта, такси...

Все кончилось до обидного просто. Покрутился «курьер» немного возле троллейбусных и автобусных остановок на проспекте, сплюнул в сердцах и, увидев, что к тротуару притерлось такси и из него выбираются люди, стремительно влез в машину, и она стремглав сорвалась с места, чуть присев на задних рессорах. Вадим, в свою очередь, тоже выбежал на проспект, вытянул руку, стоя одной ногой на тротуаре, другой на мостовой, но бесполезно, машины, даже с зелеными огоньками, словно не замечая его, пробежали мимо...

\* \* \*

Опять он потерял душевное равновесие, опять неудобство странное, необъяснимое в нем поселилось — не неудовлетворенность, не раздражение, а именно не-

удобство, словно что-то невидимое мешало ему полноценным человеком себя ощущать, сосредоточенно и целенаправленно думать мешало, разжаться мешало и даже усмехнуться мешало, хотя бы невесело, хотя бы печально. Он пошел домой пешком, надеялся, что пока дойдет, может быть, пройдет это состояние и появятся хоть какие-то мысли, как действовать, как поступать ему дальше, что с сумкой этой злополучной делать: дома оставить, в милицию подкинуть с запиской безымянной... Так. В милицию подкинуть... Ну хорошо, как потом докажешь, что сумка эта именно там, у Митрошки, была. Спросят они ее, а она сделает удивленные, наивные глаза, покривит губкой жалостливо и зачистит, убогонькую из себя разыгрывая, мол, ничего не знаю, ничего не ведаю, ничего не слыхала, ничего не видала. Ведь так и будет, точно так. Ладно, оставим пока сумку в покое, пока суд да дело, придется все равно у себя поддерживать. А теперь думай, думай, как Леонида искать. Что мы знаем о нем? Да только как его зовут и что таксист Витя у него на подхвате, да и в лицо мы Леонида этого знаем (но Леонид ли это на самом деле?..) и дружков его некоторых, например, того, что в кепке, и «курьера», хотя, может быть, «курьер» — это и есть тот самый Витя-таксист. Но это ничего не меняет. Как их искать — Вадим не имел представления.

Он вышел на Советскую площадь, многолюдную, суетливую, шумную, окруженную общепитовскими заведениями и кафе, тут имелись и столовые и закусочные, пожалуй, нигде больше в городе такого «объедального» места не было. Но местечка свободного тут ни утром, ни днем, ни вечером, как правило, не найдешь. Удивляться нечего — из многих городков районных, деревень каждый день люди сюда прибывают на город поглядеть, архитектурой его полюбоваться, к городской культурной жизни приобщиться, по магазинам побегать, а питаться ведь им тоже надо — весь день на ногах, силы теряются. Вот и стоят очереди многолюдные в кафе, закусочные и столовые. Таксистов здесь тоже немало скапливается, и не застаиваются они. Глядишь, стоит вереница «зеленоглазых» автомобилей, а стоит отвернуться и повернуться вновь — ан нет ее уже, словно растаяла машинная цепочка. Вадим привычно вышагивал в плотном людском потоке, сноровисто вышагивал, умело — горожанин как-никак в пятом колене — в такой тесноте невероятной умудрялся даже не задеть ни-

кого ни рукой, ни плечом, уворачивался машинально от бесцеремонно расталкивающих друг друга приезжих. Увидел две машины на стоянке. Подумал, а не махнуть ли домой на автомобиле, надоело уже по городу болтаться, а до дому ему путь еще неблизкий. Подошел к стоянке, заглянул в кабину первой машины, она была пуста, огляделся, выискивая глазами водителя, через мгновение увидел его, возвращающегося с несколькими пачками папирос в руках. И тут вспомнил враз — как за «кепкой» бежал, как в переулке такси увидел, вспомнил, как «кепка» шофера окликнул и тот сорвался бегом от табачного киоска, и номер той машины вспомнил...

Так. Интересно, интересно. А не Витя ли тем водителем был. Не тот ли самый Витя, что у Леонида на подхвате? А раз так, то его по номеру автомобиля найти можно будет. А через него и на белобрысого выйти. Заулыбался Вадим идущему навстречу водителю. И глуповатая, наверное, у него улыбка была, потому что шофер воззрился на него с опаской, как на тронутого, потом сощурил глаза, узнавая, — может, из знакомых кто, — потом пожал неопределенно плечами и излишне резко рванул дверцу машины. Вадим спрятал улыбку, построжал лицом, сказал важно:

— На Ботанический переулок подвезете, товарищ? — А сам продолжал смеяться внутри — поднялось у него настроение, нашел он выход из положения. Игра продолжалась.

\* \* \*

— Здравствуй, Женечка, ненаглядный мой, палочка моя выручалочка... — Вадим валялся на тахте, заложив ногу за ногу, и одной рукой приткнул к уху телефонную трубку. Как пришел в квартиру, скинул только куртку, снял кроссовки, так и завалился на тахту, подтащив предварительно за провод телефон к себе поближе. Он курил и ерничал, услышав в трубке строгий, деловой голос друга-журналиста, заведующего отделом информации областной газеты Женьки Беженцева. — Как дела твои, милый?

— Дела у прокурора, у нас делишки, — мрачно сказал Беженцев — говорил он быстро, отрывисто, не вникая в суть сказанного: как всегда, запарка, как всегда, отдел информации затыкает слетевшую по вине какого-нибудь отдела тематическую полосу в номер. Он весь в работе, у него нет времени для болтовни. Если потре-



паться хочешь, то вечером, вечером; если по делу, давай быстрее, у меня люди...

— Хорошо, — Вадим сменил тон и говорил теперь так же, как Беженцев, серьезно и деловито: — Дело не совсем обычное. Но, уверен, поможешь. Ты все знаешь, ты всех знаешь...

— Быстрее, быстрее, милый, — подгонял его Беженцев.

— Значит, так. Неприятность у меня вышла с одним таксёром. Но шагов пока предпринимать не хочу и тебя об этом не прошу. Мне только узнать бы, в какую смену он сегодня, завтра и послезавтра работает.

— Давай номер машины, фамилию.

— Номер такой 21—14. Фамилии не знаю, знаю, как зовут. Виктор, Витя.

— Понял, сделаем. Ты дома? В течение часа позвоню.

— Женечка, ты только осторожно, зашифрованно. Ни про одну машину узнавай, а про несколько, на всякий случай.

На том конце провода усмехнулись:

— Ишь сыщик. Знаю. Тоже детективы почитываем, грамотные. Все. Жди.

Вадим притушил сигарету, закинул руки за голову. Если Вити среди водителей этого такси не окажется — плохо дело. Никаких других зацепок у него нет. Из бабки вытряхнуть сведения про Леонида? Как и на чем ее взять? Ведь за просто так она ничего не расскажет. Деньги? Как в зарубежных детективах? Это мысль. В самом крайнем случае можно попытаться, в самом крайнем. А если все-таки один из водителей такси Витя? Подсесть в машину, в якобы случайной беседе постараться выяснить кое-что, ну и в крайнем случае проследить. Но тогда машина нужна будет. Опять к Беженцеву придется обращаться. Не обеднеет, хмыкнул Вадим.

Пунктуальным был парнем Беженцев, надежным, человеком слова был. Раз обещал в течение часа вызнать все и сообщить, так и сделал. Минут через сорок после их разговора затренькал телефон, и, когда Вадим схватил трубку после первого же звонка, без лишних слов продиктовал ему Беженцев все, что Вадиму было нужно: «Раткин Виктор Владимирович, на сегодня работу уже закончил, завтра с трех дня до одиннадцати вечера его смена, послезавтра выходной, в отгуле. Машина

принадлежит девятому парку, адрес: улица Первопроходцев, дом четырнадцать. Все, милый, целую, вечером созвонимся...»

Вот так. Значит, Виктор все-таки — тот самый Виктор. Ну и расчудесно. Завтра, глядишь, и узнаем, что к чему, что за люди Леонид этот, «кепка», «курьер», Виктор. Спекулянты, фарцовщики, воры? Или просто гуляки, сынки богатых родителей, прожигатели жизни или как, как там говорилось-то раньше, «золотая молодежь»? Интересно все-таки быть сыщиком, это штука азартная, на охоту смахивающая. Как красиво звучит — одинокий охотник. Вадим засмеялся мыслям своим совсем уже не взрослым, совсем уже несвойственным здоровому двадцативосьмилетнему мужику, но не упрекнул себя в них, зачем? Они уверенности ему придают, неординарность какую-то, незаурядность свою ощутить помогают, так за что же себя упрекать? Игра.

День в разгаре. Хороший день, солнечный опять, ясный, чистый. Воздух свеж, словно не на пыли городской, не на автомобильных выхлопах, не на обожженном асфальте настоящий, а на пьянящем аромате утреннего, влажного еще леса. Странно, откуда этот воздух прибило к нам? Или все как обычно, и Данину просто кажется, что день сегодня необычный и воздух необычный. Ведь бывает такое, и нередко, многое ведь порой от настроения твоего зависит, от того, каким проснулся ты, что снилось тебе, какая первая мысль на ум пришла, когда глаза открылись... Вадим хорошо проснулся — разом, и словно и не спал, до того бодр был, и свеж, и силой заряжен...

Но вот, когда уже к таксопарку подходил, бодрость улетучилась и уверенность вместе с ней. Заволновался он что-то, не по себе стало, и пожалел уже, что пришел сюда, что вообще этим дурацким делом занялся. Поморщился — зачем действительно? Тоже мне сыщик! Сейчас бы работал себе спокойно, репортажики пописывал, попросил бы Беженцева, чтобы с дамой какой новенькой познакомил, ресторан, шампанское, холостяцкая квартира — замечательно.

Он попытался уговорить себя, что это, мол, все игра, а значит, интересно, а значит, не должно быть у него недовольства, но ничего не вышло — пропало настроение. И тут лицо у Данина вспыхнуло — он же боится, он просто боится там, в подсознании, не думая о страхе, все равно боится. Он расхохотался неестественно, натя-

путь, и прохожие повернулись к нему удивленно. Чуть все это, чуть! Ничего и никого он не боится, чего бояться-то?

Убить не убьют. А значит, и опасаться нечего. Вадим самодовольно усмехнулся, почувствовав, что уплывают, оставляют его сомнения и возвращается вновь уверенность и приходит ровное, спокойное настроение. Плотными кучками стояли притихшие, осиротевшие без водителей автомобили с зелеными глазками у ворот таксопарка. Можно было подумать, что гаражи и двор парка так забиты машинами, что тем, что за воротами, просто не повезло и не досталось им места за высоким бетонным забором. Но двор, просторный, слегка дымный, хорошо просматривался через приоткрытые ворота и был почти пуст, две-три машины белели посередине его, и все. Почему же столько скопилось автомобилей у ворот? Вадим глянул на часы — шесть минут третьего... К машинам, разумеется, он подходить не стал, остановился на противоположной стороне улицы у газетного киоска и порадовался удачному своему выбору — у киоска очередь, и, если понадобится, можно, не привлекая ничьего внимания, довольно долго наблюдать за выходящими машинами.

Он уже увидел знакомый номер и успокоился окончательно. Кабина такси пустовала. Виктор был, видимо, среди стоящих у ворот водителей, они громко говорили о чем-то, смеялись, курили. Лихие, энергичные ребята, громкие, большелицы, быстроглазые, разжатые, раскованные: с пассажирами язык общий всегда найдут, если надо будет, если захотят — вместе поболтают, вместе посмеются, вместе погрустят: профессия обязывает. Но что-то в последнее время разлаживаться стало в таксистской профессии, все больше и больше таких появляется, от которых и духом-то таксистским специфически-профессиональным не веет, «катаются» плохо, город не знают, слушают тебя равнодушно, а если уж и скажут, что так хоть стой, хоть падай, будто и в школе их не учили, и книжек они не читали, и в кино не ходили... Еще несколько лет назад почти любой таксист как монах-исповедник был: поговоришь с ним, и вроде легче на душе, чище, просветленней как-то. Сейчас таких мало. Жаль.

Только-только очередь у Вадима подошла, и он стал прикидывать, что же ему купить, как разом распалась плотная шумная группа шоферов, скорым шагом разо-



шлись они по своим автомобилям, и заурчали радостно моторы, зажили настоящей своей трудовой жизнью, и казалось, весело и довольно от этого они шумели, переговаривались друг с другом, похвалялись радостью своей. Одна за другой стали разъезжаться машины. Элегантно они отъезжали, чуть с шиком, чуть с форсом. Приятно было смотреть, как они срываются с места, выкруливают на мостовую. Вадим бросил, не глядя, монетку в тарелочку, киоскеру, обронил коротко: «Советский экран».

И увидел, как пошла машина Виктора, и забыл мгновенно и о журнале, и о деньгах, отбежал стремительно от киоска, прыгнул на мостовую, заголосовал отчаянно. Виктор его заметил и приближался теперь, замедляя ход.

Вадим открыл дверь, но садиться не спешил, знал по опыту, что сначала лучше спросить, повезут ли его туда, куда ему надо, а то ведь у таксистов другие на эти часы могли быть планы — заказы и прочее. Он заранее уже приготовился, что сказать, какое место назвать — далеко, почти за городом, чтобы подольше ехать, чтобы время было человека этого разглядеть, попробовать хотя бы чуть-чуть в сути его разобраться, угадать, как с ним себя вести надо.

— В Сосновое, — сказал Вадим, нагнувшись и заглядывая в кабину. Мятое, отечное и недовольное было лицо у Виктора. Он посмотрел на Вадима с таким видом, словно проглотил за секунду до этого что-то непонятное по вкусу — то ли горькое, то ли кислое, то ли, наоборот, сладкое, и сейчас вот прислушивался, сморщившись, к своим ощущениям.

— Можно, — ответил он, с усилием разгладив лицо. — Садись, земляк.

Сиденье зычно крякнуло под Вадимом, а потом смешно заухало и зашептало, когда он потянулся, чтобы закрыть дверь. Дверь звонко прихлопнулась, и в машине что-то задрезбезжало.

— Больно же, — мрачно сказал Виктор, хрустнув рукояткой скоростей.

— Чего? — не понял Вадим.

— Больно ей, — сказал Виктор, — когда бьешь...

— Это вы о двери? — спросил Вадим.

Таксист промолчал. А Вадим погладил стекло, потом обшивку двери, потом панель и попросил:

— Извини.

Витя покосился на него и ухмыльнулся. «Молодец», — сказал себе Данин.

Потом они еще минут десять крутились по переулкам, беспорядочным, мелким и пустынным. До Соснового было далеко, но Вадим решил, что пора начинать. Чтобы почувствовать себя свободней, он развалился на сиденье и закинул левую руку за спинку. Этого ему показалось мало, и он нацепил скептическую усмешку. Но сидеть стало неудобно, а усмешка показалась дубоватой. Он опять, скрипя, завозился на сиденье. Витя подозрительно посмотрел на него, а потом после паузы спросил:

— Закурить есть?

Вадим обрадовался, но виду не подал, неторопливо полез в карман. Витя поковырялся толстыми, волосатыми пальцами в пачке «Винстона», вытянул сигарету, спросил:

— Родные?

— Ага, — кивнул Данин. — Родные.

— Где берешь? Здесь? Привозные?

— Привозные. Подарок. Из Финляндии...

— Из Финляндии, — усмехнулся Витя и пошевелил губами, собираясь плюнуть, но не плюнул, а сказал: — Ну, ну...

— Что «ну-ну»? — беззлобно спросил Вадим. — Думаешь, вру?

— Нет. Молодость вспомнил, — ответил Витя, неотрывно глядя перед собой. (Данину показалось, что Витя смотрит не на дорогу, а на чистенький, не заляпанный еще капот. Как бы не вмазаться, подумал, и поежился.)

— Понимаешь, земляк, — опять заговорил Витя. — Я же бывал в этой самой Финляндии. Два раза. Вот как.

— По туристической?

— Не...

— В командировке?

— Ага, — гордо сказал таксист.

— Ух ты! — восхитился Вадим и подумал, как бы не перегнуть. — Это таксистов теперь в командировки за границу посылают? За опытом, что ли?

— Таксистов, — брезгливо усмехнулся Витя. — Таксистов посылают на... Кучер, он и есть кучер...

— Ну это ты чересчур, — вступился Данин за славных таксистов.

— Кучер, — упрямо повторил Витя.

— Так как же ты ездил? — Данин решил не спорить. — Другая профессия была? Что-нибудь дефицитное?

— Профессия так же, при машинках, — сказал Витя. — Но там была работа, азарт, деньги и классные бабы. Мужичья работенка была.

Вадим вдруг догадался:

— Гонщик? Раллист?

— Раллист, — сказал Витя и с достоинством посмотрел на Данина. Глаза у таксиста было мутно-розовые и почти без зрачков. «Как у борова. Пьет, верно, вглухую», — подумал Данин и отвел взгляд.

— Я вторым человеком был после директора. На автозаводе на меня молились. Я им престиж делал и знамена разные. На мне бабы гроздьями висели. Я жил, я дышал...

Витю прорвало. Он нес все подряд (бессвязно перекакивая с одного на другое): про трассы, по которым гонял, про города, где бывал, про гостиницы, где ночевал, про рестораны, в которых кутил, про тренеров, про женщин, про шмотки. Он пьянел от своего рассказа.

— А что потом? — прочувствованно спросил Вадим.

Витя отдышался и нехотя проговорил:

— Потом втюрился, как... Болел аж, аж температура была. Во как втюрился. А она... с другим. Я их застукал. Сначала жить не хотел, а потом того самого, — он щелкнул себя пальцем по горлу. — Ну и того... Коротче, кучер он и есть кучер.

Когда таксист поднял руку, Вадим заметил на ней крап. Он видел уже такой однажды.

— Да, — протянул он, — и вверх тормашками потом все у тебя пошло. Знакомо. Бывает. — И опрометчиво добавил: — А потом сел, видать, по глупости, и вообще конец. Но ты не унывай, держись.

Витя шарaxнул по тормозам, и Вадим рванулся вперед, едва успев руки выставить и упереться крепко в панель.

— Ты чего? — вытаращив глаза, рывкнул он.

Машина опять плавно поехала.

— Попридержи язычок, земляк, — с угрозой проговорил Витя. — Живешь и живи и не лезь куда не надо. Я тебе не кум, не сват, и не надо меня лечить...

— А я и не лечу, — сказал Вадим и подумал: «Ши-



зофреник». А через мгновение спохватился и миролюбиво попросил: — Ты извини. Я ж как лучше хотел, не подумал просто. Хорошо?

Витя тяжело и обиженно сопел.

— Слушай, — заговорил Данин. — Есть у меня один корешок. Упакованный от и до. Тачку не берет, потому что водить боится аж до икоты. А по городу крутится как волчок. Понимаешь? Не подсобил бы, а? Твоя смена, ты у него на приколе. Тебе план плюс сверху. А?

— Нет, — глухо ответил Раткин.

— Ты знаешь, я, по-моему, где-то тебя видел, — медленно, словно припоминая, проговорил Данин.

— А я тебя не видел, — сказал Витя.

— Так почему нет? — вернулся к своему предложению Вадим. — Ведь план плюс сверху!

— Нет, — отрезал Витя.

— Вспомнил, — сказал Вадим. — Я точно тебя видел. — Он нервничал, и лицо у него горело. — И не раз. Ты парня одного, симпатягу такого, блондина на Морском бульваре все время высаживал.

— Не на Морском, а... — машинально произнес Витя, и осекся, и вцепился яростно в руль, сощурился, потом скривился и неожиданно вывернул круто вправо, за обочину, к редкому леску, за которым серело несколько двухэтажных домов. Въехал в лесок и придавил педали.

— Ты чего? — удивился Вадим и отшатнулся. В тот же миг рука Виктора уже тянулась к его лицу, рот таксиста был перекошен, глаза заслезились, заполнились густой вязкой влагой.

Данин дернул на себя ручку, толкнул дверцу плечом и вывалился на густую упругую траву. Вскочил на ноги, отступил от машины на два шага, крикнул:

— Ты что, сдурел?

Виктор вытягивал из машины свое грузное, плотное тело с трудом, так лось выдирается из густого кустарника. И когда выкарабкался наконец, в руках у него поблескивала мотировка. Набывчившись, он обошел машину и, мягко ступая сильными, толстыми, кривоватыми ногами, пошел к Вадиму. Тот отступил еще на два шага, вытянул руку, сказал:

— Угомонись, приятель, объясни, в чем дело...

— Объясню, — выдохнул Раткин. — Объясню. Это я вспомнил, а не ты, сука, я вспомнил. Это же ты, сивка, у старухи был и сумку забрал. И в тачку ко мне

сел, чтобы вынюхивать носом своим поганым, а я-то перед тобой...

С каждым словом он наливался злостью, накачивалась в него свирепость, глаза сделались совсем багровыми, и очертания зрачков уже почти невозможно было различить.

Раткин был уже близко. Вадим слегка согнул колени, покачался пружинисто на ногах, сделал едва заметно круговые движения плечами, потом отставил локти, тоже покрутил ими, проверяя, свободно ли двигаются руки, потряс одной кистью, потом второй, сбрасывая излишнее напряжение, потом улыбнулся, нехорошо улыбнулся, недобро и поманил Раткина пальцами:

— Иди, приятель, иди. Разговаривать будем. — И сам на мгновение удивился себе, смелости своей, улыбке своей, словам даже удивился, как тогда, у Митрошки, откуда что берется?

Тот находился уже в метре от Вадима, когда сделал обманный удар левой, пустой рукой. Вадим чуть отклонился назад вправо, и кулак пролетел мимо. Можно было уже перехватить руку и дернуть Раткина на себя, но Вадим не спешил, такие стычки нужно заканчивать разом, одним-двумя ударами, это еще отец его учил, — в молодости инструктор по боевому самбо.

Раткин рыкнул с досады и сделал шаг вперед, и Вадим опять ушел влево — по наивности якобы, по незнанию. Этого-то и надо было Раткину. Он дернул правым плечом, подавая начальную силу руке; высверкнула монтировка, и в тот же миг Вадим нырнул опять влево, под руку Раткину и хлестко и коротко ударил его два раза в солнечное сплетение, а потом, не дожидаясь, пока тот согнется, еще два раза в подбородок. Все. Раткин рухнул, как спиленный дуб, постанывая и поскрипывая, медленно и весоמו. Вадим нагнулся, поднял монтировку, откинул ее к машине, присел рядом с Раткиным на траву, закурил. С минуту Раткин лежал спокойно, потом зашевелился, открыл глаза — страха в них не было, только злость:

— Сука, — сказал он, сплюнув.

— Ты тоже не лучше, — усмехнувшись, ответил Вадим и добавил: — Лежи тихо, я сейчас с тобой беседовать буду. — Он отбросил в сторону окурков. — Кто такой Леонид? Где живет? Работает? Как найти его?

Раткин провел языком по губам, пощупал подбо-

родок, потер его, поморщился от боли, опять сплюнул, не заметив, что плевок попал ему на рукав рубашки, сказал едва слышно, почти шепотом:

— Пошел ты...

Вадим засмеялся.

— Смелый ты парень, Витя. Но ненадолго. Сейчас отдохнешь немного, и я тебя в милицию отволоку. Вот там разговоришься.

Он протянул Раткину пачку сигарет:

— Кури. Небось охота.

Дернулся Раткин, помотал головой из стороны в сторону и вдруг закричал, страшно, надрывно, безнадежно. Вадим отпрянул, посмотрел на него испуганно. А Раткин набрал воздуха и заорал так, что в ушах зазвенело:

— Помогите! Помогите! Бандиты! Убивают!

— Ты что?! Ты что?! — Вадим заткнул уши руками. — Хватит, не ори!

Он поднялся, отошел в сторону, отнял руки от ушей, огляделся вокруг. И увидел, как от автобуса, что остановился на шоссе, метрах в двухстах, бегут люди, они что-то кричали, размахивая руками. Они слышали, наверное, как орал Раткин, и теперь спешили на помощь. Вадим отступил назад и чуть не упал, задев за выступавший из травы корень, потом опять отступил, повернулся и побежал в сторону от шоссе, от домов, в лес...

Первые метров пятьсот он пронесся как стайер-профессионал, потом, когда стихли крики, сбавил темп и, немного отдохнув, прибавил вновь. За несколько минут он добрался до параллельного шоссе, отыскал автобусную остановку и через час был уже дома.

\* \* \*

Спал он и не спал и, казалось, видел сон, а может, попросту бредил наяву; мысли путались, сталкивались, скручивались, рассыпались, как в детском калейдоскопе, какие-то отрывочные перед глазами картины возникали, совсем не про сегодняшний день, совсем не страшные, но странные какие-то, то звери появлялись, то люди, незнакомые исчезали, с омертвелыми, голубыми лицами; женщины вдалеке маячили, призывно махали руками и исчезали. И все картины эти словно за пеленой мелкого пыльного дождя были скрыты. Усилием воли он собрал-



ся, тряхнул головой, огляделся, комнату свою узрел, привычные вещи на своих местах увидел и окончательно вышел из зыбкого, душного полусна. Оторвал голову от подушки, провел ладонями по лицу и ощутил на пальцах влагу — оказывается, он плакал в забытьи, оказывается, он еще не научился этого делать. Резко приподнялся, сел, в голове застучало легкой болью. Обхватил виски, сжал их, повторил про себя несколько раз: «Надо собраться, надо собраться...». Да, надо собраться, несмотря на слезы, несмотря на боль в висках, несмотря на полусон дурацкий, надо собраться и все обдумать. Что же произошло? Что делать дальше? Он встал, потянулся, но не в удовольствие, а так, чтобы размяться, а то затекшими, чужими казались руки, ноги, шея. Потом снял пиджак, усмехнулся невесело, надо же, столько времени в пиджаке провалялся. А действительно, сколько времени прошло? За окном уже вечер, день ушел, но он еще напоминает о себе, похвально, что главенствует он в эту самую чудесную для него пору, летнюю, и выбеливает начинающее темнеть уже небо.

Расстегивая рубашку на ходу, он побрел в ванную, подставил лицо под тугую холодную водяную струю, энергично потер его полотенцем, прислушался к ощущениям. Ага, и на том спасибо, гул в ушах унялся, и в висках пореже стучать стало. Он поднял голову к зеркалу, опасливо взглянул на себя, поморщился, отвернулся, не понравился он себе — лицо темное, осунувшееся, глава тоскливые.

Он вышел из ванной, закурил, упал в кресло, устроился удобно.

Началось все у него отменно. Умело Митрошку отыскал, неплохо роль свою в квартире отыграл, узнал в общем-то все, что нужно было. И вот Витя. С Витей отвратительно вышло, грубо, глупо, скомканно, по-дурацки. Продумать сначала надо было разговор, а не на импровизацию надеяться, хотя бы отправные точки обозначить надо было. И вот вляпался в историю, расхлебывай теперь. А история недобрая может получиться. Его ведь и вправду в грабеже обвинить могут. Фактов против Вадима много — заявление Вити, люди, которые видели, как он убегал, — свидетели. И теперь — арест, допросы, тюрьма, и, может быть, уже знали, где он, кто он, где живет, и, может, именно в эту самую минуту останавливается желто-синяя машина у

подъезда и выходят оттуда сосредоточенные молодые люди в темных костюмах, входят в подъезд, садятся в лифт. На лестничной площадке послышался шум, голоса, кто-то приехал. Вадим закрыл глаза, ожидая звонка. Но голоса быстро пропали, и вновь стало тихо. И Вадим засмеялся — вот дурак, трусливый мнительный дурак. Да вряд ли Витя заявлять будет. Он понимает, что тогда Вадим все расскажет, может быть, доказать ничего не сумеет — ни причастность Леонида и Вити к изнасилованию, ни то, что они наверняка темными делишками занимаются, но указать на них — укажет, и ими займутся, внимание на них обратят, а у него, у Вадима, есть что рассказать. Нет, не будет он заявлять, не такой он дурак, он сначала с Леонидом посоветуется, а тому подобные контакты с органами вряд ли нужны. Ну вот и хорошо, вот и замечательно, Вадим повеселел. Так что теперь? Продолжать делом этим заниматься или бросить?

Затренькал телефон. Старенький был аппарат, уж отживающий свое, но хорохорящийся еще, негромко, но пзвякивающий.

— Да.

— Вадим Андреевич, — голос был мужской, усмешливый, низкий, незнакомый.

— Он самый.

— Вас беспокоит заместитель начальника пятого отдела милиции по уголовному розыску Уваров Олег Александрович...

Вадим закрыл глаза, ухватил трубку, но до боли прижал ее к уху, почувствовал, как вспыхнуло лицо, как ухнуло сердце мощно и как часто и тяжело забилося оно. Ну вот и все. Нашли.

— ...Вы меня слышите?

— Да... — сипло ответил он и откашлялся нарочито громко.

— Мы посылали вам повестку, но вы не пришли и не позвонили.

Вадим приложил похолодевшую руку ко лбу — значит, о Можейкиной разговор будет, а не о таксисте. Ну слава богу.

Он вздохнул осторожно, чтобы там, на том конце провода, не услышали.

— Я был в командировке, — сказал он. — В Ленинграде. Могу удостоверить...

— Ну зачем же, я верю. Вы бы зашли завтра к нам.

— Во сколько?

— Часов в восемь, в двадцать ноль-ноль, — поправился Уваров. — Сможете?

— У вас такой долгий рабочий день?

Вадим был уже спокоен.

— Служба, — бесстрастно ответил Уваров.

— Хорошо. Я буду в восемь, — и со скрытой усмешкой добавил: — В двадцать ноль-ноль.

— До встречи.

Приятный голос говорит уверенно, со столичным акцентом. Москвич? Может быть. С таким милиционером одно удовольствие пообщаться, такой должен понять тебя, хотя бы постараться понять. Во всяком случае, не будет прислушиваться только к себе. Да, симпатичный, наверное, Уваров парень, не то, что этот Петухов с хитренькими, подозрительными глазками.

А что, если... это мысли! Вправду, а что, если осторожно так намекнуть этому Уварову при встрече, что я, мол, кое-что припоминать начал. Тогда, на первом допросе, все забыл в шоке, а сейчас вот, по прошествии времени, всякие детали и подплыли в памяти. Но все, мол, пока неопределенно, надо подумать, повспоминать еще. А? Если такую удочку закинуть, посмотреть, как онотреагирует? Если скажет, конечно, с каждым бывает, мол, и это не ложные показания, просто вы человек, а человек не машина, не компьютер, все упомянуть не может... Тогда хоть одну проблему с повестки дня снимем.

Звякнул телефон. Вадим поморщился: опять болтать с кем-то, опять ложным оптимизмом себя заряжать. Но трубку все-таки взял. Благодушничать и шутить — иным его и не должны знать. Зачем? У него все хорошо. Только так.

— Данин? — спросил коротко и отрывисто мужчина.

— Данин, — подтвердил Вадим.

— Плохо твое дело, Данин, — продолжили с сухим смешком. — Ты даже сам не знаешь, как плохо. Ты теперь преступник, Данин, и осуждать тебя будут по статье сто сорок пятой Уголовного кодекса. Ты знаешь, что это такое? Нет? Грабеж. Самый обычный. Ай-яй-яй, интеллигентный человек, на таксиста с монтировкой...

Вадим съезжился в кресле, он все понял: «они». Но надо было что-то говорить, не молчать, а то «они» поймут, что он оцепенел, испугался, убедятся, в чем хотели убедиться, что слизняк он, дрянь человечешко.



Вадим выпрямился, вскинул подбородок, взбадривая себя этим привычным движением, и отрубил смачно:

— Пошел ты!

И вот теперь действительно испугался и, уняв разом дыхание, прислушался настороженно.

Но в трубке только рассмеялись.

— Не хорохорься, приятель. Обложен ты со всех сторон. Заявление таксиста имеется? Имеется. Фамилии свидетелей тоже имеются. И их много, Данин, свидетелей-то. Тебя видели, могут опознать. Плюс ко всему ты убежал, ведь убежал, правда? — На том конце провода опять засмеялись. Весельчак попался. Озорник. — Но это еще не все. В твоей квартире сумка, а сумка принадлежит сам знаешь кому, а это улика. Против тебя улика...

Грамотно говорит невидимый абонент. Это наверняка не Витя, или «курьер», или тот, в кепке, Может, сам Леонид, или доморощенный какой адвокат.

— Выбрось сумку, Данин, от греха подальше. Это и в твоих интересах, и в наших... Это первое: теперь второе. Ежели соваться не будешь, никакие заявления в милицию не поступят. Соображаешь? Ты благоразумно себя вел поначалу, а потом начал в Мегрэ играть. Зачем? Ты же не глупый малый. Не суйся, этот грабеж еще цветочки, есть и другие средства, не послушаешься, — покажу наглядно. Все!

Заныли часто и громко гудки в трубке, и когда в ухе стало покалывать от них, отвел Вадим ее от себя и опустил, не глядя, на рычажки. Жаль, что так ничего и не сумел он сказать им в ответ.

А надо было съязвить как-нибудь лихо, вернуть что-нибудь ироничное. И вдруг странным показалось Вадиму, что так спокойно и безбоязненно думает он об этом разговоре и что исчез холодок под сердцем, что стихла суетливость, лихорадочность в мыслях. Почему? — спросил он себя и ответил сразу же. Потому что решать нечего теперь. Всё решили за него. В милицию теперь он ничего не сообщит — ни приятному, судя по голосу, Уварову, ни подозрительному, судя по лицу, Петухову. Никому. Кто поверит преступнику? Грабителю беззащитных таксистов? Допросят снова Можейкину: ничего не ведаю, — скажет она, побеседуют с Митрошкой — и та, в свою очередь, глазки потупит, невинную мину соорит, ну а Витя, тот просто заголосит: «Ой,

бандиты, ой, ограбили! Ой убили!..» Все! Сидеть теперь тихо и не рыпаться, на работу ходить, книжкой заниматься. Все! Взяли в клещи. А хорошая была игра, но ты ее проиграл. Вот так.

На троллейбус Вадим не поспел. На ходу, запахивая с собачьим подвывом свои двери-гармошки, тот отходил уже от остановки, когда Данин выбрался из подземного перехода и ступил на тротуар. Несколько человек, шедших за Вадимом, побежали к троллейбусу, размахивая руками в тщетной надежде, что водитель увидит их и остановится вопреки правилам, не побоявшись вертящегося на перекрестке хмурого деловитого милиционера.

Но куда там, троллейбус только сильнее еще поднатужился, рыкнул в полный голос и помчался к перекрестку с несвойственной этой машине прытью. Растерянные стояли у остановки теперь две полненькие женщины с усталыми, сероватыми лицами и коренастый верткий мужчина. И казалось, будто только что самых близких людей они проводили, а сами неприкаянные и осиротевшие враз остались на перроне.

Вадим прошелся взад-вперед возле остановки, потом остановился, заложил руки за спину, осмотрелся и направился к газетному киоску. Тот закрывался уже. Сухая костистая дама лет пятидесяти в очках с толстой черной оправой, дергаными, нервными движениями складывала непроданные сегодняшние книги, газеты и журналы. Они то и дело выскальзывали у нее из-под рук и весело шлепались на прилавок.

Спешила, наверное, дама, дел у нее было, наверное, еще много, помимо этого опостылевшего ей до смерти киоска. Вадим глянул на часы — без десяти восемь, потом перевел глаза на надпись на стеклянном окне киоска «...с 8 до 20 часов». Пожалуй, еще можно купить вечернюю газету, улыбнулся учтиво и легонько стукнул два раза по стеклу. Дама вскинула голову, да так резко, что старательно собранная ею стопка стала мягко заваливаться на бок и через мгновение, как ни пыталась дама корявыми, неловкими движениями удержать ее, — вовсе рухнула. И даже через толстое стекло Вадим слышал, как с глухим стуком падают на пол книги и как выкрикивает дама какие-то очень нехорошие слова.

Вот она выкрикнула последний раз и подняла сморщенное лицо, вперила в Вадима ненавидящий взгляд. Наверное, уйти надо было, не отвечать на ее взгляд, а

если и ответить, то равнодушием, эдакой снисходительностью сильного к слабому.

Но зазвенела в нем сейчас струнка уже знакомая, не единожды уже звеневшая, но раньше приглушенно, тихо, не солируя. А теперь вот она главенствовала, подминала под себя все прочие. Нет, не даст он слабинку, не спасует перед этим неприязненным, брезгливым взглядом продавца, не смутится, не отступит в сторону, успокаивая себя тем, что, мол, зачем связываться, зачем нервничать, ты умнее, а значит, должен и отступить, должен разрядить ситуацию. Нет, ничего и никому он не должен. Это она вот мне должна — должна окошко открыть, рабочий день у нее еще не кончился, еще десять минут ей работать — и продать мне то, что я прошу, ведь незадолго до этого продала ведь кому-то журнал, я видел, так чем я хуже других? Ростом, может, не вышел? Или лицом? Или солидности во мне нет? Или видно по мне, что больше рубля в моем кармане и не бывало никогда?

— Откройте! — отрывисто бросил Вадим и еще раз стукнул по стеклу, но уже посильнее, поярстей.

Женщина отпрянула, словно это он по ней кулаком ударил, отмахнулась, как от мухи надоевшей, крикнула с надрывом:

— Идите, идите, все закрыто, ничего не продам! — громко, наверное, крикнула, но только стекло утишило звуки, и показалось, что спокойно это произнесла, буднично.

Вадим холодно усмехнулся, отвернул манжет куртки и постучал ногтем по часам:

— Шесть минут еще, шесть. Откройте!

— Не открою, уходи! Милицию позову!

Вадим почувствовал, что начинает мелко дрожать, и понял, что еще немного и не сдержится, размахнется и хрястнет по стеклу что есть силы.

И представилось ему уже, как разлетаются с тонким звоном в разные стороны осколки, дробно падают они наземь и уже без звона сухо бьются об асфальт и раскалываются на крохотные мутно-белые кусочки. И руку он свою увидел вытянутую, облитую густой кровью, струйками стекающую по запястью по рукавам, и ошалевшая от ужаса продавщица эту картину дополняла; закрывшись руками, она скрючилась в углу и что-то кричала, кричала...

Вадим с ожесточением провел рукой по лбу, выру-



гался вполголоса, злясь на воображение свое неумное, на несговорчивую продавщицу, на прохожих, злясь на троллейбус, который так и не пришел и который тащится еще, наверное, лениво километров за пять отсюда...

А продавщица не обращала на него уже внимания и с деланным сосредоточием вновь неуклюже укладывала товар в стопку.

— Вы нарушаете постановление горисполкома, — гневно прорывал Вадим и шлепком припечатал ладонь к стеклу. — Зовите милицию — будем разбираться!

Продавщица вздрогнула, и опять запорхали у нее из-под рук живчики журналы, замахали газеты тонкими, невесомыми крылышками. Она не смогла уже выдать из себя ни звука, просто стояла, вытянувшись, и молчала каменно, и только глаза ее разговаривали, за толстыми стеклами очков полыхал неистовый пожар, и он готов был испепелить и Вадима и все, что находилось вокруг, такой силы он был. Данин вытерпел, не отвел глаза, нельзя ему было сдаваться, хоть здесь-то он должен был выиграть. Он ощущал, что победа даже в такой, совсем немужской игре необходима ему как воздух, иначе до удушья скверно станет... Его отвлек шум подъезжающего троллейбуса. Увесистый, глубоко просевший на рессорах оттого, что забит был до отказа, подвалил он почти вплотную к остановке. И так близко подкатил, что колеса ширкнули о бордюр тротуара и встали мертво, словно приклеенные к нему. Съежились двери, раскрываясь, и посыпался оттуда народ, по двое, а то и по трое сразу выскакивали люди на асфальт, и было написано облегчение на их лицах.

Уже вышли все, кому надо, уже карабкались в машину те, кто на остановке стоял, а Вадим все еще никак не мог решить, бежать ли ему к троллейбусу и проиграть эту игру, или остаться и дубово добиваться своего. Но вот прошуршал уже что-то динамик в троллейбусе, водитель называл следующую остановку, а это означало, что еще несколько секунд — и машина тронется, и Вадим отступил на шаг, все еще пристально и недобро глядя на продавщицу, потом еще на шаг и потом, сплюнув презрительно и смачно себе под ноги, помчался к троллейбусу, успокаивая себя на ходу: если бы я не опаздывал, если бы не троллейбус... Вскочил на подножку он ловко и умело, но протиснуться в салон оказалось нелегко, ни зазора, ни трещинки не было между телами, плотно они стояли, словно слиплись друг

с другом навсегда и никакая сила уже не могла их разлепить... Саданув Вадима по спине, двери все-таки закрылись с трудом. Через остановку стало свободней, и Вадим протиснулся к заднему окну. Он оперся локтями о поручни, засмеялся вдруг негромко. Вспомнил, как добивался своей правоты у киоскерши. Придурковато, наверно, он выглядел со стороны — эдаким настырным чурбаном гляделся. Что на него нашло? Бывает, сказал он себе и подивился вдруг, потому что опять заклокотало что-то внутри, когда нарисовалось ему внезапно перед глазами искаженное злобой лицо киоскерши и подумалось на мгновение, что все-таки остаться надо было и довести все до конца, раз уж начал. А так получается, будто бежал с поля боя. «Довольно, — сказал он себе, пытаясь этим приказом подавить растущую неудовлетворенность. — Довольно! Мелочи все это. Чушь. Ерунда».

Надо подумать о чем-то другом, хотя бы о том, зачем его вызывают так поздно, о том, что предстоит ему пережить там, в отделении милиции, надо подготовиться к худшему, настроить себя, не распускаться и, что бы ни было, держаться достойно... Но не задерживались в голове мысли о предстоящем вечере, не мог он на них сосредоточиться, ловко ускользали они. И он стал вспоминать, чем занимался дома эти прошедшие сутки. Опять не смог сосредоточиться, обрывки какие-то лишь беспорядочно припоминались. Вот он лежит на диване, курит... и вот маме письмо пишет, рвет... вот бумагами, документами, справочниками обложился, репортаж хочет писать, и не идут слова в голову, и не знает он, о чем писать, и летят бумаги вместе со справочниками со стола... вот он снова на диване лежит, бездумно в телевизор уставившись... вот по квартире слоняется, разгоряченным лбом к прохладному стеклу окна прижимается... вот снова глотает он рюмку коньяку, и покойней ему становится, он улыбается даже, а потом вдруг разом всю картину с таксистом представляет, и как бьет его в живот, подбородок — верно, следы от ударов на подбородке остались — и как убегает... и бросается он в кресло, обхватив голову руками, и стонет, стонет...

Вадим крепко вцепился побелевшими пальцами в поручень. «Психопат, — обругал он себя. — Неврастеник». И затуманились воспоминания, отошли на второй план, и огляделся он по сторонам — люди в салоне, много людей. И почему-то тихо, невероятно тихо.

Не разговаривает никто, не шепчется, не смеется. Все молчат. И лица какие-то у всех неживые, унылые, сонные, словно по очень скорбным и печальным делам обладатели их направляются. И Вадим отвернулся к окну, к свету, но свет уже угасал и, притухая, краснел понемногу. И вроде бы еще отчетливо глаза различали и дома, и автомобили, и людей, но нереальными они уже казались, искусственными; очень реалистичными, но все же декорациями к какому-нибудь спектаклю на современную тему.

Утихал и гомон уличный, сумерки словно охладили людей, заставили их замедлить шаг, задуматься: «Зачем бежим? Куда бежим? Надо ли?» И люди шли теперь неспешно, успокоенно. Напряженные лица смягчились, расслабились, и все бы хорошо, но только вот улыбок не было на лицах, не находилось для них места, будто забыли люди, что же это такое — улыбка, или это только Вадиму сейчас так виделось, а на самом деле все иначе было, веселей, радужней.

На следующей остановке ему выходить. Когда проехали примерно половину пути, он учтиво осведомился у впереди стоящего, коротко стриженного мужчины: выходит ли тот? Мужчина посторонился, давая ему пройти. Потом у женщины, приятно пахнувшей французскими духами, то же самое спросил, и она, в свою очередь, сдвинулась вбок. И вот, когда троллейбус уже подъехал к остановке, оттеснил его неожиданно молодой черноволосый парень, продвинулся вперед, спустился на ступеньку и неожиданно обернулся к нему.

— Ваши билеты, граждане, — тихо произнес он, подавив ухмылку на смуглом восточном лице.

Вадим поначалу недоуменно воззрился на него, потом стал суетливо шарить по карманам, а потом вспомнил, что не взял билета, что даже не подумал о нем, не до этого было...

Неловко он себя почувствовал. Казалось, все смотрят на него, только что пальцем не показывают и не плюют в его сторону.

— Сколько с меня? — так же тихо, как и парень, спросил Вадим.

— Трояк, — весело ответил парень.

— Хорошо, — сказал Вадим. — Только на улице. Я выхожу.

Двери разбежались, и Данин вслед за парнем ступил на тротуар. За ними выпорхнули две молоденькие



девчонки и шли теперь, то и дело оглядываясь на них, и похихатывали беззастенчиво.

Вадим полез во внутренний карман куртки и неожиданно подумал, а ведь он может сейчас просто взять и уйти. Он извлек несколько мятых бумажек, отыскал три рубля, сунул парню. Тот прихватил их двумя пальцами, спрятал в кулаке, другой рукой достал квадратные, пергаментно шуршащие листочки. Но Данин уже не видел этого, он повернулся, собираясь уходить.

— Эй, гражданин, — подал голос парень.

Вадим оглянулся. Парень сдвинул мохнатые брови и настороженно глядел на него.

— Возьмите талон, — парень протянул руку с хрустящей бумажкой.

И, как со стороны, Вадим увидел себя, аккуратно берущего талон, тщательно и любовно складывающего его, всовывающего между листками записной книжки. И что-то мелочное, унижающее, гаденькое угляделось ему в этой картинке. И он, усмехнувшись, махнул рукой и не спеша повернулся, зашагал по тротуару. Парень не помчался за ним, не стал его уговаривать. Он наверняка даже обрадовался — ни за что ни про что трояк заработал. Ну да бог с ним, пусть счастлив будет...

А ведь мог бы уйти, думал Вадим, шагая, запросто мог уйти, и ничего бы с ним этот густобровый не сделал бы, свидетелей-то нет. Еще пару месяцев назад Данин наверняка бы хохотнул парню в глаза и потопал бы, пританцовывая. А сейчас вот остался и трояк даже чуть ли не добровольно отдал.

— Благодородный, — вслух едко проговорил Данин, поразмыслил с полминуты и добавил совсем уж ядовито: — Порядочный, — и, скучнея, заключил: — Мелкий праведник...

Вход в отделение выглядел скромно и даже бедновато. Пятак ступеней, истертых, искрошившихся; погнутые, давно не крашенные, а потому густо заржавленные перильца, тонкая легкая дверь — как здесь зимой? До инея, наверное, выстуживается коридор. Ан нет, за ней вторая дверь, покрепче, подбортней, так что шалишь, брат, работник милиции запросто так себя стучить не станет. Дураков мало. Коридор казался необычайно длинным, и много дверных проемов угадывалось по стенам. Вадим даже удивленно брови вскинул, а он-то всегда думал, что отделения милиции совсем кро-

шечные и смахивают на паспортный стол, где он получал и менял потом паспорт... Слева от входа, за огромной плексигласовой перегородкой (начиналась она примерно в полутора метрах от пола, как бы продолжая крепкий деревянный барьер, похожий на прилавок в магазине), он увидел какие-то пульты с мигающими лампочками, телефоны, белые, черные, красные; трех работников в форме, один возле пульта сидел, без фуражки, лысоватый, бесстрастный, с капитанскими погонами, двое других — сержанты — стояли у окна, лениво переговаривались. Капитан смотрел куда-то вверх-вперед. Вадим сделал еще шаг и увидел, что вся комната за плексигласом на две части разделена с помощью такого же прозрачного листа. И там, во второй половине, какие-то грязные, мрачные типы сидят, одни ерзают беспрестанно, другие храпят, уснув прямо тут же на скамье, и еще он понял, почему капитан голову приподнял, — он с одним из этих грязных и мрачных разговаривал. Тот опирался на деревянный барьер и в окошко норовил голову трясущуюся всунуть. А капитан морщился и беззлобно выталкивал его рукой...

Один из милиционеров заметил Вадима, наклонил голову, разглядывая, может, знакомый кто, прищурился, оттолкнулся от подоконника, подошел к перегородке; без всякого выражения на белобровом лице оглядел его, открыл дверцу, которую Вадим только сейчас и заметил, спросил буднично:

— Вам кого?

— Уварова, — ответил Вадим.

— Сейчас, — сказал милиционер, подошел к пульта и, нажав какой-то тумблер, сказал в микрофон, что рядом стоял:

— Олег Александрович, к вам пришли.

Хлопнула дверь в конце коридора. Показался мужчина — стройный, жилистый, в сером пиджаке, темных брюках. Пока тот шел, Вадим успел разглядеть лицо его, худое, открытое, улыбку доброжелательную, быструю.

Шагов за пять Уваров уже руку протянул. Сухой жесткой ладонью на долю мгновения сжал Вадиму пальцы. Убрав руку, сказал, не переставая улыбаться:

— Рад очному знакомству.

— Взаимно, — вежливо ответил Вадим.

— Таким вас и представлял.

— Каким? — спросил Вадим.

— Вот именно таким, какой вы есть, — не стал уточнять Уваров. — Только повеселей.

— А я весел, — сказал Вадим сухо. — Внутренне.

Сказал и сам подивился своей сухости, с чего это он так? Ведь понравился ему этот парень, и манерами своими, и походкой, и глазами живыми, цепкими, быстрыми, и даже прическа его понравилась: небрежная, удлиненная, так отличающаяся от стереотипа милицеских стриженных затылков. И он попытался улыбнуться так же приветливо, как и Уваров, и тут же понял по прищуренным внимательным глазам Уварова, что не получилась улыбка у него, губы только растянулись нехотя, и все.

— И верно, — сказал Уваров, сделав вид, что ничего не заметил. — Истинное, оно не напоказ, оно потаенное, но это только тогда, когда с собой ладишь. Ладите?

— Что? — тупо спросил Вадим. Глаза этого милиционера смущали его. Или это профессия его приучила так на людей смотреть, чтоб сразу осознавали они четко и явственно, что не скрыть ничего им, не утаить, что как на ладони они, обнаженные и беззащитные?

Уваров не стал повторять вопроса, а только усмехнулся едва заметно, легонько приподняв краешек губ.

«А ведь маска это, — подумал Вадим, — маска, да и только». Просто он неглупый малый, вот и придумал себе такую маску. Потому что гораздо эффективней она, чем манера его коллеги Петухова. Тот, наоборот, раздражение вызывает, отталкивает настороженностью своей и подозрительностью безосновательной. Махнув в глубину коридора, Уваров сказал:

— Пойдемте.

«Маска, маска, — повторял Вадим, шагая. — И нечего мне его смущаться, и ничегошеньки он не знает. Он точно такой же, как и я, не хуже и не лучше. Нет, даже похуже, ростом меньше, сантиметров на пять». И Вадим улыбнулся.

— Дело вот какое, — говорил Уваров. — Мы тут решили следственный эксперимент провести. Восстановить все, что происходило в тот злополучный вечер.

Они остановились перед дверью с надписью «Ленинская комната».

— ...Но я не рассчитал немного. Раньше времени вас позвал. Так что не обессудьте и не держите зла, подождите минут сорок. Хорошо?

Он говорил серьезно, а глаза все равно усмешнича-



ли, отдельной, самостоятельной жизнью жили на сухом загорелом лице. Но Вадима они больше не тревожили. Он был уверен, что разгадал их.

— Ну что вы, не извиняйтесь, конечно же, подожду, — любезно ответил он и едва сдержался, чтобы не склониться в учтивом полупоклоне. Уваров замешкался на долю секунды, что-то новое, видимо, углядев в Данине, и толкнул дверь.

— Вот здесь телевизор, какой-то фильм как раз сейчас идет. Можете курить. Я зайду.

Длинный, узкий, вытертый локтями стол, много стульев, наглядная агитация на стенах, радиоприемник, графин с водой, телевизор в дальнем углу. Здесь, наверное, проходят занятия, собрания, инструктажи.

Вадим включил телевизор, удобно устроился на стуле, закурил. Фильм шел уже давно, и поэтому не все было понятно. Но минут через пять Вадим все-таки разобрался, что к чему.

Молодой главный инженер некоего строительного треста — дерзкий и горячий малый, сразу же по приходе старался построить работу по-новому, это не совсем нравится начальнику треста, так трудиться он не привык и поэтому ставит молодому специалисту палки в колеса, затирает его перед руководством, компрометирует перед подчиненными. Но энергичный инженер не отступает и тем самым вызывает уважение коллег. Возлюбленная инженера прихотью судьбы — дочь того самого начальника треста, узнав о кознях папаши-консерватора, устраивает ему грандиозный скандал и гордо уходит из дома... А инженер тем временем упорно бьется за новые методы работы. И вот финал. Начальник прозревает, что выражается в его добром прищуре глаз, когда он смотрит вслед идущим рука об руку инженеру и своей дочери. Конец.

Все просто и доходчиво, и никаких метаний и сомнений. Жизнь, оказывается, элементарна и назойлива, стой на своем, держись своих принципов, если они верные (хотя, кто знает, какие верные из них, какие нет), и все в твоей жизни пойдет как по маслу, и в награду тебе достанется богатая невеста. Замечательное кино! Высший класс! Смотрите и учитесь. Лишь такие проблемы достойны нашего пристального внимания. Все остальное чушь и сопли. В наш стремительный, рациональный век мир перестраивают только такие твердые, ни в чем не сомневающиеся парни... А впрочем... впро-

чем, и от таких картин есть польза, и самая что ни на есть реальная и самая что ни на есть наглядная. И Вадим сам на себе ее ощутил. Приукрашенная будничность фильма, обыкновенные, ничего не значащие слова, порой примитивные до глупости ситуации, высказанные значительно и солидно, пустые фразы, и, главное, оптимистичный, безоблачный дух его подействовали на Вадима успокаивающе и умиротворяюще. И то, что тревожило его все эти дни, показалось надуманным, болезненно гипертрофированным, без явной причины заполнившим его воображение. И с легкостью какой-то он достал сигарету, и с явным удовольствием затянулся, будто после долгого-долгого перерыва впервые прикоснулся к табаку.

— Все, поехали, — на пороге стоял Уваров. Краешек губ все так же приподнят в привычной, незлобливой усмешке.

У выхода оперативник столкнулся с костлявым суетливым малым. Был тот в модной курточке, джинсах. На гладеньком лице независимость и презрение. Увидев Уварова, он неожиданно расплылся в подобострастной улыбке.

— А, Питон, — сказал Уваров. — Жду не дождусь тебя, крестничек. — Он полуобернулся к Вадиму. — Идите к машине. Я сейчас.

Неспешно открывая дверь и входя в тамбур, чтобы открыть вторую, ту, тощенькую, неказистую дверцу, Вадим услышал за спиной жесткий полусшепот Уварова:

— Еще раз увижу, узнаю, услышу... северное сияние воочию разглядишь...

И слабый, винящийся голосок малого:

— Да я не хотел, я по пьянке...

Уваров вышел минуты через две, весело ухмыляющийся.

Вадим ждал его у машины. Когда оперативник подошел и взялся уже за ручку дверцы, Вадим неожиданно спросил:

— Вам нравится ваша работа?

Уваров нажал на ручку, но дверцу так и не открыл. Подумал недолго, разглядывая внимательно ручку, будто видел ее впервые. Потом вскинул голову и коротко рассмеялся:

— С чего это вы? А впрочем... Я умею ее делать, и неплохо. И это мне нравится. Садитесь.

До Каменного переулка доехали молча. Кроме Вадима, Уварова и водителя, в машине сидели еще два милиционера в форме, сонные и сердитые. При них продолжать разговор Вадим не решился. Перед самым домом, когда уже остановились, Уваров сказал:

— Следователь прокуратуры разрешил нам провести эксперимент без него. В исключительных случаях я имею такое право. Формальности соблюдены, если что...

— Если что? — спросил Вадим.

— Если жаловаться надумаете, — как всегда, усмехнулся Уваров, — или еще чего... Мало ли...

— Вы думаете, у меня будут основания жаловаться? Уваров пожал плечами.

Их уже ждали. Трое. Они стояли в темноте, на углу того самого злосчастного дома-глыбы. Слабосильный фонарь был далековато, а тот, что вытянул свою лебединую шею возле дома, не горел вовсе, и поэтому Вадим догадался о присутствии людей только по трем крохотным сигаретным огонькам. Когда «газик» остановился, огоньки цепочкой двинулись навстречу. Уваров открыл дверцу, и тусклый свет из кабины осветил лицо подошедшего. Вадим узнал его. Петухов. И как-то сразу обмяк: уверенность, которая жила в нем до этой минуты, притухла, и ему показалось, что даже голос его, когда он начнет говорить, станет тише и выше тоном, и будет он отвечать невольно, не так, как мог бы, как должен был. «Петухов. Все от него. Страх? Нет, насколько, просто мы говорим на разных языках, — подумал Вадим, — он меня не поймет. Никогда. А я его. Плохо, что он здесь. Дурная примета».

Петухов улыбочиво кивнул вылезавшему Уварову, заглянул в кабину, многозначительно и тяжело посмотрел на Вадима и вместо приветствия проговорил с нехорошим смешком:

— Ну вот и встретились. Рано или поздно все возвращаются на место преступления...

— Сергей, — резко оборвал его Уваров, и по напряженной спине зама по розыску Вадим уловил, что тот явно недоволен.

Данин молча вылез из машины и, стараясь не смотреть на Петухова, подошел к Уварову. Оперативник, прищурившись, озибался и был похож сейчас на кинорежиссера, оценивающего натуру будущей съемочной площадки.

— Хорошо-то как, — Уваров обернулся к Вадиму. —



Тихо. Людей нет совсем. И воздух как после дождя. И ночь... И все это в центре города. Даже не верится.

Играет? Добивается расположения, чтобы вызвать на откровенность? Вот, мол, видишь, какой я, обыкновенный, такой же, как все, и даже немножко поэт... Вадим одернул себя. Чушь! Он действительно такой, хотя и в масочке иной раз. А ты становишься похожим на Петухова.

— И вправду хорошо, — подтвердил Вадим и добавил: — Тогда тоже хорошо было. Дышалось легко. Настроение невесомое было. Хотелось гулять всю ночь... — он усмехнулся. — Погулял.

Уваров только покачал головой, но ничего не ответил. Петухов стоял чуть сбоку. И вся фигура его, чуть согнутая, чуть подавшаяся вперед, и плоское лицо, напрягшееся, целеустремленное, выражали немедленную готовность к действию. Но Уваров повернулся не к нему, а к скромно стоящим в нескольких метрах двум мужчинам.

— Подойдите, пожалуйста, — позвал он.

Они были одинакового роста, пониже Уварова на полголовы, пожилые. Один покрепче, коренастый, с одутловатым круглым лицом, другой худосочный, со сведенными вперед, острыми плечиками, с яйцеобразной лысой головой. Лица у них были растерянные, держались мужчины скованно, двигались угловато. Но в глазах тощего Вадим уловил откровенное любопытство, зажегшееся и погасшее мгновенно.

— Это понятые, — пояснил Уваров Вадиму. И жестом позвал Петухова.

— Ребята на месте? — спросил он.

— Все здесь.

— Хорошо. Начинаем. — Он взял за плечи понятых и сказал: — Вы будете вон у того угла стоять, чтобы видеть и двор и улицу. И внимательно за всем наблюдать. Это только и требуется от вас.

— А от вас, Вадим Андреевич, — Уваров повернулся к Данину, — требуется нечто иное. А конкретнее — повторить все, что вы делали, как действовали в тот вечер. Вы встанете сейчас на то же самое место, с которого слышали крики, и дальше все как было. Постарайтесь поточнее соблюдать расстояния. Это очень важно. И еще. Мы специально пригласили трех молодых людей. Они будут изображать преступников. Так что не удивляйтесь, когда увидите их во дворе.

— Хорошо, — сказал Вадим.

Он огляделся. Зафиксировал примерно то место, где донеслись до него злые резкие голоса, отошел туда, встал.

— Я готов, — сообщил он.

— И еще одна просьба, — попросил Уваров, — по ходу дела комментируйте свои действия.

...Все получилось почти как тогда. Вадим помялся немного, якобы услышав крики, потом ступил осторожно в сторону, потом побежал; воскликнул: «Я из милиции», увидев трех парней, автоматически отметив про себя, что подставные «насильники» фигурами смахивают на тех, скрывшихся; затем в общих чертах повторил свой диалог с преступниками, подсказал, в какой момент самому высокому из подставных надо убегать, и в какую сторону, помчался за ним и только после этого услышал окрик Уварова:

— Стоп! Давайте еще раз.

И опять Вадим побежал, крикнул: «Я из милиции!»... И в этот момент Уваров остановил его. Вадим замер на месте, с трудом переводя дыхание. Уваров подошел к нему, за ним потянулся и Петухов. И в тот момент что-то очень не понравилось Вадиму в лице Петухова. Уж очень довольное, очень радостное оно было.

Уваров дружески взял Вадима под руку, помолчал немного, словно не решался заговорить, потом наконец сказал негромко:

— Значит, такое дело... Я не зря попросил вас повторить еще раз все сначала. Попросил для того, чтобы остановить вас именно на этом месте. Потому что... потому что мне показалось... А впрочем, вы сейчас все сами поймете, если уже не поняли, не поняли?

Вадим недоуменно покрутил головой, но внутренне уже собрался, готовый к самому худшему. Но только бы виду не показать, что он сжат до твердости, что сосредоточен предельно.

Уваров почему-то медлил, прищурившись, разглядывая Данина.

«Расслабься, расслабься, — сказал он себе. — А то, гляди, пальцы аж в кулачки собрались и побелели наверняка от натуги, хорошо что ночь».

— Посмотрите на этих троих, — наконец заговорил Уваров, махнув рукой в сторону фигур.

С самым безучастным видом Вадим чуть повернул голову. И все понял.

— Ну и что? — спросил равнодушно.

И добавил про себя: «Нет, не все кончено еще, Петухов!»

Уваров даже отступил в удивлении на шаг от Вадима.

— Вы же видите их, — осторожно произнес оперативник. — Точно так же, как и видели тех. Глаза быстро привыкают к темноте. А прошла уже почти минута. Достаточно...

Как вести себя сейчас? Оправдываться? Разыграть недоумение? Возмутиться? Да, возмутиться...

— Та-а-а-к, — со значением протянул Вадим. — Вы что же, хотите меня во лжи уличить? Хотите все это мне приписать?.. — Он повысил голос.

— Минуту. — Уваров протестующе выставил ладони. — Вы неверно поняли меня. Я надеялся, что вы вспомните их лица. Я надеялся, что воспроизведение той ситуации подтолкнет память, что сработает какой-нибудь механизм, ассоциативный или еще какой-нибудь там, и вы восстановите приметы. И вас ни в чем не подозревают...

Оперативник говорил серьезно и горячо, с возмущением даже, но глаза его при этом пытливо ощупывали каждый сантиметр лица Вадима. Неприятное это было ощущение, будто обыскивали тебя, только не одежду обшаривали, а голову в поисках мысли потаенной. Вадим не выдержал, отвел взгляд, пожал плечами, похлопал себя по карману, достал сигареты, закурил от учтиво поднесенной Уваровым зажигалки, пожал плечами, сделав вид, что успокоился. Потом окинул еще раз взглядом двор, затем, едва заметно усмехнувшись, сказал:

— Окно.

— Что окно? — не понял Уваров.

— Тогда горело только одно окно, и в том конце дома, а сейчас три. Понимаете, три окна.

— Вот как, — сказал Уваров, и в голосе его звучало разочарование. — Это меняет дело.

Краем глаза Вадим уловил, как дернулся было в сторону подъезда Петухов, через мгновение застыл в нерешительности.

— Что ты, Сергей? — спросил Уваров.



— Я сейчас попрошу, чтобы погасили окна, — глухо ответил Петухов. Он был явно расстроен.

— Не надо, — поморщился Уваров. — Все. Закончили.

Вадим повеселел. Обошлось. Недаром он чувствовал сегодня силу свою, уверенность.

— Вопрос можно? — обратился он к Уварову. — Это вы только из-за меня сей эксперимент затеяли? Чтобы уличить меня?

— Нет, — сухо вато ответил оперативник. Он, по-видимому, на какое-то время забыл о своей усмешливой маске. — Мы ни на грош не продвинулись в розыске и решили еще раз поработать с жильцами. И я хотел выяснить, слышал ли все-таки кто-то голоса. Один из милиционеров сейчас находится в подъезде у окна. Кстати, Сергей, — Уваров кивнул Петухову. — Позови Сабитова... И еще, по тому, как преступники убегали, я хотел уяснить, знают ли они эти места...

— Уяснили?

— Да. Один из них, тот, что слева, наверняка из местных. Он знал, что за забором проходной двор. Будем искать.

Устало ухнула дверь. Скорым шагом подошел один из хмурых сержантов.

— Слышно, — доложил он. — Плохо, но слышно. Особенно когда он кричал про милицию...

Все потянулись к машине. На улице было гораздо светлей. Прибавилось несколько горящих окон в домах.

Петухов устроился в машине для составления протокола. Понятые стояли рядом и с интересом заглядывали в скупо освещенную кабину.

Вадим оперся о капот, сложил руки на груди и бездумно уставился на подъезд противоположного дома, в котором скрывался, когда поджидал «курьера».

Какая-то тень показалась в конце переулка.

— Ну вот и люди наконец, — послышался голос Уварова совсем рядом. Держа руки в карманах брюк, он неспешно приблизился к Данину. — А то уж я думал: как же они в дома попадают? По воздуху, что ли?

Некоторое время они молча наблюдали за приближающимся темным силуэтом. Человек шел странновато. Подпрыгивал, покачивался, то и дело его бросало на пару шагов в сторону.

— Пьяненький, — почему-то обрадовался Уваров. — Интересно, дойдет?

— Дойдет, — сказал Вадим. — Автопилот работает.

Вот человек вынырнул из темноты, остановился, помотал головой и поковылял дальше. Что-то знакомое увидел в нем Вадим. Мелкого роста человек был, большеголовый, носатый, неряшливо одетый. Вадим прикрыл глаза, силясь вспомнить, где же он видел его.

— Эй, приятель, — позвал Уваров. — Поди-ка.

— Че? — коротышка с трудом повернул подрагивающую голову.

— Иди, иди, поговорить надо.

— Я... Я... спе... спешу, вот, — слова давались маленькому с трудом.

— Вам некуда больше спешить, — весело пропел Уваров. — Давай сюда, кому говорю.

Коротышка пригляделся, протер глаза, мазнул пустым взглядом по сине-желтой машине, по сержантам, стоящим неподалеку, протянул:

— А-а-а-а, — и, едва не рухнув после крутого виража, стал приближаться. И тут Вадим вспомнил — Долгоносик. Это Долгоносик. Тот самый, который в пивной рассказывал ему про Митрошку. Вадим чуть не выругался. Черт его дернул, алкаша, именно в этот час идти по переулку. Данин машинально поднес руку ко лбу, стараясь ладонью скрыть хотя бы пол-лица. Хотя вряд ли этот спившийся мужичонка сможет узнать его. Водка с портвейном не улучшают память.

— Кто такой? Где живешь? — спросил Уваров нарочито строго.

— Эта... здесь. — Долгоносик слабо махнул рукой в сторону дальних домов. — Васильков я... вот.

Он поднял голову и уставился на Уварова, потом медленно перевел взгляд на Вадима.

— Во, — сказал он, тыча в Данина пальцем. — Я тогда мужикам сказал, что ты мент, ха-ха, я все вижу, ха-ха, во...

— Вы знакомы? — удивился Уваров.

Вадим выдавил из себя улыбку:

— Что-то не припоминаю...

— Говорил, что жил здесь... во... а сам не жил. Я помню, я никогда не пьянею, я все помню. — Долгоносик горделиво выпрямился.

Вадим машинально пригладил волосы, сунул за сигаретами, но не нашел их, чертыхнулся, потом отыскал пачку во внутреннем кармане рубашки, чиркнул спич-

кой, закурил, не заметив поднесенной Уваровым зажигалки. Он чувствовал, что оперативник внимательно наблюдает за ним, и старался не смотреть в его сторону.

— Так вы все-таки знакомы, — утвердительно проговорил Уваров.

Вадим пожал плечами.

— Не узнаёшь? — подозрительно прищурился Долгоносик. — Кого на работу берут. Во... И про Митрошку... эта... не помнишь, во...

Данин полез за сигаретой, хотя во рту у него уже дымилась одна. Он повертел другую сигарету в пальцах и зачем-то бросил ее в сторону.

— Какой такой Митрошка, Вадим Андреевич, а? — К Уварову вернулась его прежняя усмешливость.

— Понятия не имею, — излишне поспешно ответил Вадим.

— Да во... — Долгоносик махнул рукой на дом-глыбу. — Здесь живет...

Он закачался от того, что долго глядел вверх, на высоких Уварова и Вадима, и у него, наверное, помутнело в голове, он икнул, шагнул вбок и снова чуть не упал. Подошли сержанты.

— Возьмем с собой? — спросил один из них.

Уваров пристально посмотрел на Вадима, коротко усмехнулся и сказал, не отводя от Данина глаз:

— Узнайте, где живет, а с собой не надо. Пусть дома ночует. Потом побеседуем. Перепутал он, наверное, вас с кем-то, Вадим Андреевич, да?

— Наверняка, — безмятежно ухмыльнулся Вадим. Сигарета чуть не вывалилась из его губ.

— Ну все, поехали, — скомандовал Уваров.

\* \* \*

Ночь провел скверно. Старый диван, такой привычный и уютный, всегда покладистый и послушный, не скрипящий, не охающий, совсем бесшумный, — добрый друг и советчик, обозлился вдруг, стал бормотать ни с того ни с сего что-то, потрескивать, сделался жестким и неудобным, словно одеревенел, и будто бы выгнул спину и злорадно упирался горбом своим то в поясницу, то в живот, то больно вдавливался в бока. Вадим повертелся полночи, так и не сумев заснуть, потом поднялся поспешно, потому что уж совсем немоготу было. Ступив на пол, ойкнул, сморщившись, — заломило поясницу, и тяжело запульсировало в затылке, открыл



окно, постоял, глубоко вдыхая ночной воздух, и, не думая ни о чем, потом закрыл глаза, помассировал шею и затылок. И когда чуть полегчало, завертелись в голове бессвязные картины: ухмыляющийся Уваров, полуживой Долгоносик, сощурившийся Петухов, безмолвный, мглистый переулок, таксист Витя в беззвучном оре разевающий рот, крохотная сумка Можейкиной, бабка Митрошка, почему-то сидящая в дежурной части в милиции... И Вадим сразу озяб, хотя ночь была теплой, душноватой даже и безветренной. Он обхватил себя руками и поковылял к враждебному теперь дивану, все еще видя Митрошку в дежурной части. Перекинул подушку на другую сторону, потирая поясницу, осторожно опустился на диван, закутался в одеяло и, постепенно согреваясь, стал проваливаться в зыбкое забытие.

Проснулся с головной болью, с пересохшим ртом и с отяжелевшими, неприятно давящими на глаза веками. Но боль не мешала, и налитые свинцом веки не мешали, а лишь отвлекали, а голова была чистой и ясной, думалось легко и свободно, и мысли четко выстраивались в логическую цепочку. Правда, сжавшийся внутри холодный комочек еще зудел болезненно, но он начинал теплеть и притихал понемногу. Вадим решил уже, что сегодня ему делать. Он не знал еще, правильно он поступит или нет, но главное решил, а там будь что будет.

На кухне он заварил кофе, не крепкий, только для того, чтобы вкус его почувствовать, чтобы взбодриться чуть и тикающую головную боль унять. Когда ощутил пронзительный, дразнящий запах напитка, проснулся аппетит — он совсем забыл, что надо что-то съесть. Вадим полез в холодильник, достал масла — крохотный кусочек желтел в масленке, — сыр, начинающий твердеть уже и крошиться. Все Вадим делал медленно, без обычной суеты и торопни, потому что надо было потянуть время, потому что на часах было только начало десятого, а Беженцев раньше десяти на работе, как правило, не появлялся. Кофе пил долго, смаковал, запивая обжигающими глотками сдобренный маслом, подсохший, но все еще вкусный сыр. Потом закурил, на мгновение обрадовавшись сладости первой утренней сигареты. И опять посмотрел на часы — без нескольких минут десять. Еще час. Он притушил в пепельнице сигарету, затем помыл кружку, убрал хлеб, залил водой масленку и вернулся в комнату. Тонкая, как клинок шпаги, полоска яркого света, пробивающаяся меж плот-

ных штор, словно разрезала стол напополам, и казалось даже, что стол дымится. Вадим недоуменно поднял брови, затем все понял и усмехнулся. Это высвечивались, невидимые обычно, микроскопические пылинки. «Надо бы убратся», — лениво подумал он и оглядел комнату. Ковер сдвинут, сморщен, на полу книги, журналы, газеты, исписанные листы бумаги, журналы, стол весь в пятнах, потеках, телевизор на паркете, какой-то жалкий, исцарапанный, да еще, бедняга, придавленный толстенными справочниками и томами энциклопедий, на полке книги в беспорядке, стоят накренившись, чуть не падают, а иные и попросту лежат... Но что поделаешь — один живу. Один.

А уж как легко было, когда развелся, не сразу правда, не в те минуты, когда из здания суда вышел (тогда то колотилось сердчишко бешено, и коленки мелко подрагивали, и лицо огнем полыхало), развод по суду тяжкое дело. Да не в этом суть даже, просто сразу вдруг как-то понял, что навсегда он потерял человека, с кем бок о бок пять лет прожил, от кого ребенка такого чудесного заимел. Навсегда. Возврата быть не могло, как ни крути. Неважно им жилось, лучше никак, чем так, а все равно остались ведь спайки какие-то, пять лет запросто не выкинешь. Он тогда купил себе коньяку и просидел у Беженцева в квартире весь день и весь вечер, глотая коньяк, как воду. Женька в командировке был. А утром проснулся и понял, что на душе легко, что замечательно на душе, что просто распрекрасно на душе. И целых полгода в сладостной эйфории пребывал. Работал, погуливая помаленьку, легким флиртом развлекался, победы считал и очень радовался всему этому. Дашка вот только все покоя не давала, снилась она ему чуть ли не каждую ночь, но он научился справляться с собой и отгонял днем умело от себя приближающуюся вдруг тоску по дочке, по тому, что не суждено стать ему человеком номер один в ее жизни. Спокойно и просто ему жилось эти месяцы, ни волнений, ни тревог, знай работай себе в удовольствие, занимайся любимым делом, да девчонкам несмысленным в кафе пыль в глаза пускай, и не нужно ему было никого. Одному хорошо — ни обязанностей, ни отчета. Одному и отдыхается лучше, один и сосредоточиваешься скорей, и сил растраченных набираешься интенсивней... Но теперь вот худо что-то одному, неуютно, холодно. И бог с ними, с обязанностями и отчетами, бог с ними...

«Прибратся, — подумал Вадим, — все-таки надо, сию минуту, немедленно, зачем откладывать?» Вскинулся со стула, устремленно и легко поднялся, почувствовал дело. И мышцы на руках заняли колко в предчувствии работы, и все мысли, сомнения, заботы прочь из головы вылетели, и комок у горла рассосался, и в груди разжалось что-то, дышать веселей стало. Ринулся Вадим к окну первым делом — освободить его надо, вырвать из гардинового плена. Свет в комнату! Больше света! Чтоб все углы осветлил, стены выбелил, чтоб непорядок, неразбериху, неряшливость квартирную обнажил... Взялся крепко пальцами за ткань, отбросил руки в разные стороны, и грохотнуло тут что-то над головой, заскрежетало, отскочил Вадим назад в испуге, по ходу дела больно ударившись бедром об угол стола, и, стремительно подняв глаза, увидел, как валится медленно и устрашающе карниз, таща вслед за собой округлый, огромный кусок посеревшей от времени штукатурки. И не успел он рук подставить, как ухнула тяжелая никелированная труба о подоконник, затем о стол, зазвенели встревоженно кольца на ней, сухо треснувшись о подоконник, разлетелся на мелкие меловые кусочки грузный шмат штукатурки... Вадим зло вскрикнул, рубанул воздух рукой, раз, второй, третий, с размаху завалился на диван, вмял лицо в подушки, с огромным усилием подавив вскипающие слезы...

Через час он позвонил Беженцеву. Без предисловий и объяснений, скоро и по-деловому попросил его выяснить имя и фамилию напарника Раткина и когда он заступает на ближайшую смену.

Беженцев изумился, потом спрашивать что-то стал, не очень тщательно подавляя свое любопытство, но не услышав ответов на вопросы, обиделся немного и с деловитой суховатостью сообщил, что постарается, если будет время узнать к обеду.

— Поторопись! — оборвал Данин и повесил трубку.

После чего, наверное, любопытство Беженцева разгорелось с еще большей силой.

Вадим подмел пол, аккуратно, чего совсем уж не ожидал от себя, завернул трубу в шторы, поставил до поры до времени в коридоре, покурил, выпил кофе, посмотрел телевизор. Прошел час, второй. И Вадим опять у телефона, Беженцев все выяснил. Смена у Цыбина начиналась сегодня в восемь, и работал он до четырех



утра. Времени было навалом, и следовало все обдумать. Вадим рассуждал просто. И выглядело это так.

Он сядет в машину к Цыбину и постарается поговорить с ним, но не так неосторожно и непрофессионально, как с Раткиным, а задушевней, беззаботней, веселей. Если ж Цыбин ничего не знает ни о Лео, ни еще о чем-нибудь таком интересном, внимания заслуживающем, тогда Вадим возьмет машину у того же Беженцева и поедит денек-другой за Витиной «Волгой» — авось и зацепит кого или чего.

Вадиму повезло. Цыбин оказался добродушным, простоватым, очень словоохотливым малым. Был он большелицым, большеротым, круглоглазым, выглядел моложе Раткина лет на пять, и так оно, наверное, и было. Как закурили, сразу начал рассказывать, сколько выпил вчера и почему. Оказывается, приятеля его, таксиста, судили за подделку трудовой книжки, а корысти в подделке никакой не было, только чтобы в такси устроиться. А когда Вадим спросил, неужели так расчудесно в такси, Цыбин зацокал языком и стал подсчитывать деньги, кто какие из его знакомцев получает. Тогда Вадим осторожненько намекнул, что, наверное, можно и больше. Вот он, мол, слышал, что у одного «хозяина» таксист на приколе, он полтора плана вышибает. Цыбин с живостью отозвался на эти слова. Мол, бывает и такое, но сам он не пробовал, когда предлагали, побаивался, а вдруг жулик какой этот «хозяин», ведь такие «бабки» только жулики имеют, и будет он на моей машине всякие дела темные крутить. Нет. Ну а сейчас уже давно не предлагают, меньше, видать, их стало, «хозяев». Хотя, правда, у напарника его, например Витька, имеется такой клиент. Молодой совсем, а при таких деньжищах ой-ой-ой. Когда Вадим спросил, откуда Цыбин знает, что клиент молодой, тот ответил, мол, подвозил его как-то домой, Витек просил, он заболел как раз.

— И в солидном доме живет? — спросил Данин, унимая колотящееся сердце.

— В хорошем, — ответил Цыбин, — в старом кирпичном, в Шишковском переулке, напротив «Диеты», серый дом такой массивный, там всякие «деловые люди» живут, — и Цыбин со значением покачал головой...

Шишковский переулок не чета Каменному был, по светлей, повеселей, поразудалей, хотя шириной особой не отличался.

Да и дома вроде одного возраста были, и той же архитектуры, основательной, громоздкой. Но открытыми они какими-то виделись, распахнутыми всем и каждому, добродушными и посмеивающимися. То ли солнце переулочек щедрее одаривало, то ли прохожие многочисленные живее и теплее его делали, то ли жэковские работники пожизнерадостней были — светлыми, яркими красками дома обновляли, но нельзя было без удовольствия по нему пройти, в каком бы настроении ни пребывал, какие бы заботы ни одолевали...

На сей раз Вадим по-другому себя придел, чтобы узнать было трудно, если кто из недавних знакомцев встретится — Лео, Витя или тот, в кепке из кожаного материала. «Ну прямо Шерлок Холмс какой-то», — усмехнувшись, подумал он, когда собирался. Был он в брюках вельветовых, старых, заношенных, пузырящихся на коленях; в просторной рубашке, линяло-голубоватой, с короткими рукавами, в кепочке с длинным козырьком из потертой джинсовой ткани, на глазах темные очки, «фирменные», модные. На шее висел фотоаппарат, под мышкой зажата тренога под него. Ну что ж, ни дать ни взять разухабистый, развязный «киношник» из мелких — ассистент какой-нибудь, помощник режиссера. Натуру для съемок подыскивает. Для начала он неторопливо прошелся по одной стороне, затем по другой, заинтересованно на дома глаза, то и дело экспонометр вынимая, — в роль входил. Потом в «Диету» зашел — чистенький прохладный магазинчик, вкусно пахнущий сыром и творогом; отметил, что тут имеется кафетерий и окно его прямо на ворота нужного двора выходит, — в случае чего можно воспользоваться. Выйдя из магазина, постоял, деловито озираясь, и решительно направился к этому, самому, нужному ему дому. Миновал тяжелые, чугунные, тяжеловесные, с незапамятных времен, видать, установленные ворота и очутился в уютном, тенистом, аккуратном дворике четырехэтажного старинного особняка.

Лавочек возле подъездов не было, и это Вадима огорчило. План у него был простой и единственно, как ему казалось, возможный: попытаться заинтересовать, а потом разговаривать завсегдатаев подъездных лавочек. Ему почему-то казалось, что именно в таких дворах стариков и старушек, вышедших в полдень погреться и подышать свежим воздухом, должно быть хоть пруд пруди, а здесь никого. Он поморщился недовольно, разду-

мывая, потер подбородок, повернулся влево, потом вправо и едва сдержал смешок облегчения. Нет, шалишь, брат, — все четко он рассчитал.

Кто-то да должен быть здесь. Вон за кустиками пышными, изумрудными скрытый ветвями густой липы мужчина в очках сидит. Местный? Или так, с улицы зашел, отдохнуть, жару переждать? Поближе подойти надо, рассмотреть повнимательней. Но не сразу. Вадим сначала приблизился к дому, прошел вдоль него, потом отступил на несколько шагов и так голову наклонил, и так, делая вид, что примеряется к чему-то, высчитывает, соображает. Потом бочком к кустам подошел, наткнувшись на них, чертыхнулся, обогнул их и оказался совсем неподалеку от мужчины. Улыбнулся, тронул кепку за козырек, сказал любезно:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — на мгновение скривившись от боли или напряжения, живо отозвался тот и чуть подвинулся, место подле себя высвобождая. И тут только Вадим увидел, что у мужчины нет ноги и рядом на скамейке никелированно поблескивали аккуратно сложенные металлические костыли. Инвалид. Значит, местный скорей всего. Мужчина был молод, худ, бледен, вытянутое лицо обрамляла тщательно выстриженная шкиперская бородка. Он глядел на Вадима с интересом, словно ждал от него чего-то необычного и интригующего.

— Вот натуру для съемок ищу, — как бы оправдываясь, что потревожил мужчину, сказал Вадим.

— Вы из кино? — широко улыбнувшись, спросил мужчина.

— Из кино, что на радость нам дано, — с легким самодовольством (как и полагается киношнику) подтвердил Вадим.

— Интересно там работать? — он восторженно спросил. — Вы садитесь, давайте поговорим. Интересно работать, да?

— Очень, — улыбнулся Вадим, осторожно кладя треногу и усаживаясь.

— А вы кто, режиссер? Оператор?

— Ассистент режиссера. Я еще учусь на заочном.

— Вы счастливый. Кино — это чудо. Я давно бы умер без кино. Без кино и без книг. И без мамы, — сказал мужчина.



Вадим откинулся на спинку скамьи; чтоб неожиданную растерянность скрыть, провел по лицу ладонью и полез за сигаретами, за спасительными этими палочками-выручалочками. И пока лез, тщетно слова подыскивал, чтобы разговор продолжить, на другую тему его перевести. А мужчина уже смеялся, безмятежно, по-детски:

— Забыли представиться, вот как бывает. Я — Михеев Юрий, Юра.

Вадим замешкался на мгновение:

— Седов Александр, очень приятно.

— Я все подряд смотрю. Все картины и по телевизору, и в кино. В кино мы с мамой ходим. И вы знаете, мне кажется, что я сам могу кино делать. Я его выдумываю, каждый день, и утром, и вечером, и ночью иногда, когда уснуть не могу, совсем-совсем не могу... Когда шум за стеной, когда на улице смеются...

— Вы в этом доме живете?

— Да, в этом, — кивнул Михеев. — А еще я рисую кино.

— Рисуете?

— Ну как вам объяснить. Это не мультфильм, это другое. Ну что воображаю, что фантазирую, что выдумываю, то и рисую, понимаете. Иногда фильм вмещается в один рисунок, а иногда много рисунков надо. Хотите, покажу, принесу сейчас, хотите? — Он коснулся уже костылей.

Вадим смутился, но виду не подал, прокашлял, положил Михееву руку на плечо, по-свойски, по-дружески, улыбнулся как можно мягче, сказал:

— Времени маловато, в другой раз. Я как-нибудь зайду. Хорошо?

И растаяла радость за тонкими стеклами очков, приутился блеск, обмякло лицо, и шея заморщинилась вмиг, и, подрагивая, сдвинулись плечи вперед:

— Не надо, — глухо сказал Михеев. — Вы, наверное, думаете: ах, еще один в кино хочет, авось повезет. Нет, не так все. Не в этом дело. Это трудно понять, для этого нужно быть, — он посмотрел на костыли и заппнулся. — И рисую я плохо, ужасающе плохо. Я сам знаю об этом, и мама знает, только скрывает. Но я-то знаю. А что я еще могу? Что у меня еще есть? Кино, книги, мама...

— Не так уж мало, — глядя перед собой, сказал Вадим.

— А жизнь? — усмехнулся Михеев.

Вадим не ответил, не очень удачно сделав вид, что не расслышал последние слова. Помолчал, потом отбросил сигарету в сторону, сощурился, будто припоминая что-то, проговорил:

— Знакомый дом, чем больше смотрю, тем больше узнаю. Кто-то из знакомых в нем жил, а кто — не помню. Давно обитаете здесь?

— Нет, четыре месяца. Нас после капремонта второй половины дома заселили.

— Значит, ни с кем не знакомы?

— Ни с кем.

— Вспомнил. Одноклассник мой здесь жил, высокий белобрысый такой, симпатичный...

— Знаю. Он во втором подъезде живет.

— Ха-ха, видите, какая память. А в какой квартире?

— Не знаю. Просто видел его несколько раз. В подъезд заходил, такой модный, надменный...

— Модный, надменный, — повторил Вадим. — Он всегда таким был. Во всяком случае, казался таким. Но тот ли? — засомневался он вдруг. — Имя не знаете его, не слышали?

— Не слышал ни разу. Хотя разов этих было два, три...

— Ну хорошо, пошел я. Не приглянулся мне этот дом. Франтоват, выхолощен. Нам бы попроще чего, подревней, чтоб пригнутым, согбенным был, но еще гордым, не сдающим. Знаете, старики такие бывают? Да... Ежели одноклассника моего увидите, — как бы между прочим заметил Вадим, — не говорите, что со мной знакомы. Я его сам найду. Сюрприз преподнесу, дружили как-никак. Хорошо?

— Конечно. Я его вообще не знаю. И еще неизвестно, тут ли именно он живет. Да и вас-то толком тоже не знаю. Так что не беспокойтесь.

— И чудесно, — сказал Вадим. — А я зайду. Будет время, забегу, — рисунки поглядеть.

— Не надо. Ни к чему. Пообещаете, а я ждать буду, надеяться, а вы не придете, закрутитесь, забудете. Да и кто я вам и зачем нужен? Такие, как я, нужны только мамам, да и то... Идите. Прощайте.

— Ну это вы хватили. — Вадим постарался, чтобы возмущение его выглядело искренним. Даже руками резко взмахнул для правдоподобия. — Сильнее надо

быть, Юра, поджать себя надо и научиться побеждать уныние, безысходность, страхи...

И осекся, оборвал себя на полуфразе, потому что понял, что не он должен это говорить, кто-нибудь другой, но только не он. Ненавидел всегда тех, кто поучает, правильные слова говорит, а для самих слова эти звук пустой, ни к чему не обязывающий, к самому себе не применимый никоим образом. И вот теперь уподобился им. Скверно.

Он поднялся, подхватил треногу, протянул руку Михееву, пожал ее крепко и пошел к воротам напрямик через кусты, упругие, жесткие, как проволока. Они сердито цеплялись за штанины, пока он продирался, кололись, опутывали ноги, словно не желали пускать. Когда выбрался на асфальт, услышал за спиной голос:

— Я научусь, я буду сильнее, вот увидите...

Что теперь? Ну узнал, что бывает он здесь, а живет ли? Как выяснить? Не идти же в ЖЭК домовые книги просматривать, не дадут, не позволят. Значит, одно остается — наблюдать. Как долго? День, два, неделю, а может, он и месяц не появится. Но все равно попытаться надо, а вдруг, а вдруг...

Магазин вновь встретил прохладой и сырным ароматом, а когда Данин вошел в кафетерий, сказочная кофейная горечь в нос ударила. И тотчас пришел голод, явственно ощутилась пустота в желудке. Вадим встал в очередь. Пока неспешно двигался к прилавку, то и дело поглядывал в окно. Дом будто вымер — никто не выходил со двора, никто не входил... Данин ухватил поудобней треногу, и в ту же секунду кто-то слабо ойкнул сзади. Вадим обернулся, но тренога зацепилась за что-то, выскользнула и рухнула с грохотом. Пожилая худенькая женщина, стоящая за спиной, испуганно завыжала:

— Ой, нога, нога!

— Простите бога ради, — сказал Вадим, поспешно наклоняясь за треногой. Какая-то старушка, кругленькая, чистенькая, стоящая еще дальше, укоризненно проговорила:

— Чего это вы, мужчина, людей своим зонтом тычете?

— Это не зонтик, — запальчиво выкрикнул белобрысый мальчишка лет пяти, сидевший со строгой мамой совсем рядом за столиком. — Это гарпун на кашалотов. Видите, заостренные концы.



— Совсем очумели, — румяная, щекастая продавщица всплеснула руками. — С гарпунами в магазин наладились. У нас нет рыбного отдела, товарищ!

— Хулиган! — пьяно ощерился из дальнего угла зальчика грязно одетый мужчина с жеваным, посиневшим лицом. Возле ножки его стола мутно зеленела на треть заполненная бутылка «Розового крепкого». — В тюрьму его надо.

— Это не зонтик и не гарпун, — сказал Вадим, обращаясь к нему. — Это отбойный молоток. Отбивает желание распивать спиртные напитки в общественных местах.

И Вадим сделал шаг в его сторону. Мужик вскочил из-за стола, насупился, набылчился, сжал деревянно сухие, надтреснутые губы, злобненько сверкнул мутными, бесцветными глазками, шевельнул ногой, мятой обтрепанной штаниной укрывая бутылку. И прикосновение к равнодушному стеклу словно сил ему придало, он подобрался весь, уже зная, что ему делать, уже изготавливаясь к защите самого дорогого на свете, без чего и жизнь не жизнь, а так, чертовщина какая-то. И осмелел, ощерился, прошипел с ненавистью:

— Распустились, молокососы, сопляки, закона на вас нету!

Вот это уж совсем не понравилось Вадиму. Побледнел он и, сдерживая мгновенную ярость, развалисто, чтобы все видели, что он спокоен, двинулся к мужику, на ходу недобро процедил:

— Сейчас я разберусь с тобой, юрист!

У того мелькнул испуг в глазах, но исчез быстро, будто чуял он, что без поддержки не останется, что все, кто присутствует здесь, на его стороне. И вправду, не успел Данин дойти до него, как услышал за спиной раздраженный, визгливый голос продавщицы:

— Не троньте его, гражданин, не хулиганьте, он больной...

И через мгновение, обращаясь к алкашу:

— А ты лучше уходи, Ленька, от греха подальше, оштрафуют, а то гляди и в каталажку увезут.

Видно было, что отступать Леньке совсем не хочется, что он бы сейчас еще поговорил, высказал бы неприимимое отношение к новому поколению, тем более что при всех этот шкет в кепке не посмел бы его тронуть. Но, наверное, пользовалась авторитетом у местной братии щекастая продавщица, и поэтому, неприязненно

кривясь и опираясь руками о стол, поднялся Ленька, посмотрел под ноги и, качнувшись, потянулся к бутылке. И в это мгновение Вадим, который был уже совсем близко, коротким и точным движением ноги сбил бутылку. Покатилась она, глухо позвякивая по кафельному полу, нехотя посочилась из горлышка красная маслянистая жидкость. За спиной охнули все разом, будто выдохнули, а Ленька и попросту завыл, как подраненный пес, жалобно и свирепо в то же время.

Вадим замер, оторопев на секунду. Что стонет этот поистертый, поизмятый мужичишка, что убивается, или припадок у него, язва, сердце схватило? Неужто из-за бутылки так горестно ему стало? Надо же, гляди, как скрутило, прямо перекорежило всего от широких косолапых ступней до лысеющей макушки. Ненормальный, или последний из алкогольных могикан?

— Я же говорила тебе, черт лохматый, что он больной! — с негодованием выкрикнула продавщица. — Припадочный он!

«Зачем? — вяло подумал Вадим. — Зачем мне это надо? Ведь не хотел скандалить. Пугнуть хотел, и все. И для чего бутылку сбил?»

И вдруг разом успокоился Ленька, поутих, пообмяк, устало по глазам провел и, пошатываясь, как слепой, побрел к выходу.

«Зачем?» — опять подумал Данин.

У дверей Ленька приостановился, обернулся, вытянул корявый палец в сторону Вадима, проговорил злобно, с придыханием:

— Еще встретимся, посчитаюсь я с тобой, пададь!

Вадим ухватил треногу правой рукой, потянул из-под мышки и качнулся к Леньке, но тот уже проворно скрылся в дверях.

Очередь презрительно сверлила Вадима взглядами, когда подходил он к прилавку, и явственно читалось в глазах: справился здоровый балбес с убогоньким, пожилым и больным, нашел перед кем ухарство свое показывать. И кто воспитывает таких? Пить преступно — это верно, а может, он помрет без этого. Но все молчали, и щекастая продавщица молчала, и когда кофе ему наливала и сосиски в тарелку клала, но вот только в самый последний момент не сдержалась, бумажную упаковку с сахаром швырнула так, что она слетела с прилавка и шмякнулась об пол у ног Вадима.

Данин поднимать сахар не стал, усмехнулся только

и пошел к столику. Кто-то сказал ему в спину: «Нахал».

Только устроился за столиком у окна и едва успел треногу и фотоаппарат на стуле аккуратно уложить и мельком на улицу взглянуть на дом — там все так же пустынно было, — как тронул его кто-то за руку, неведомо и осторожно, словно прохладный ветерок разгоряченной кожи коснулся. Уже готовый к новому отпору, Вадим неспешно повернул голову и выдохнул свободно, и улыбнулся. Мальчишка рядом стоял, белобрысый, глазастый, легонький, тот самый, что треногу за гарпун принял. Высокомерная длиннолицая мама крикнула ему, вскипая:

— Митя, иди сюда, иди к маме, я тебе говорю!

Но сама не встала, не подошла, не взяла мальчишку за руку, осталась сидеть, натянутая, прямая, недовольно буравя мальчишку и Вадима, ожидая от сына исполнения приказа.

— Сейчас, мама, — вежливо ответил мальчишка, не оборачиваясь, и смело посмотрел Данину в лицо. — А это правда гарпун на кашалотов?

— Что гарпун — правда, — сказал Вадим серьезно. — Но только не на кашалотов, а на акул. Сразу трех акул можно им загарпунить...

— Что вы ребенку голову морочите? — опять подавала голос мама.

— А вы ловили акул? — спросил мальчишка, вытягиваясь весь и завороченно глядя на Данина.

— Ловил.

— А они страшные?

— Не все. Я знал одну очень добрую акулу. Однажды мы охотились на них в Карибском море, это такое море между Северной и Южной Америкой. В давние времена оно кишело пиратами, как теперь акулами. Так вот во время охоты я поймал вот этим гарпуном маленького акулёнка. Он был такой беспомощный, такой жалкий, что мы решили его не убивать, хотя из него могла вырасти очень злая и жестокая акула. Но все равно никто не решился его убить. Мы сделали для него бассейн на корабле, подлечили его, и когда он совсем стал здоровым, выпустили в море. Очень долго он плыл за кораблем, прощался с нами, а потом отстал. Рыбаки нам рассказывали потом, что у побережья появилась удивительная акула, она спасает тонущих, отгоняет от одиноких лодок стаи своих сородичей, показывает дорогу заблудившимся кораблям. Понимаешь, эта акула



ответила добром на добро. А ты можешь представить себе, как ей было страшно идти против своей кровожадной стаи? Другие акулы ведь могли съесть ее, но она не испугалась, потому что ею руководила благодарность, ею руководила совесть...

— Ну это вы загнули, гражданин, — надменно усмехнувшись, заметила мама. — Какая у акулы совесть?

«И верно, загнул, — улыбнувшись про себя, подумал Вадим, — про совесть акулью точно загнул».

— Все, хватит, Митя. — Женщина не выдержала, встала, потянула за собой сумки. — Довольно слушать всякую белиберду. Пошли.

— А она еще живет? — едва слышно спросил мальчишка и сжался в ожидании ответа.

— Не знаю, — сказал Вадим.

— А может, ее убили?

— Может быть.

Лицо у мальчика съежилось, глаза повлажнели, заблестев.

— Никогда не буду охотиться на акул, — прошептал он.

Женщина, негодуя, схватила мальчика за руку, дернула на себя, процедила, недобро глядя на Вадима:

— Довели ребенка до слез, как вам не стыдно!

Вадим улынулся, подмигнул мальчику и принялся за остывший кофе. Митя нехотя побрел за мамой к выходу, у дверей он обернулся и помахал рукой. Вадим допил безвкусный напиток, посмотрел в окно, затем оглядел зальчик. Все теперь взирали на него с сочувствием, его простили и даже больше того — пожалели. Неужели для того, чтобы снискать людское сочувствие, надо оказаться слабым и побежденным — неважно, какой ты на самом деле, хороший или дрянной, главное — слабым и беззащитным? Он скоро собрался и, не глядя ни на кого, вышел из магазина.

Часа полтора он еще просидел на лавочке в крохотном тенистом скверике чуть наискосок от предполагаемого дома Лео, пристально наблюдая за воротами. Но тщетно, знакомых лиц он так и не углядел. Потом вдруг стало прохладно, и он решил оставить свой пост до завтра.

А вечером был разговор с женой, бывшей женой. Такой же разговор, как и прежние, за этот неполный год со дня их развода, вяловатый, бесстрастный, ни о чем,

обыкновенная телефонная беседа хорошо знакомых, но не близких людей. Позвонила она. Впрочем, как правило, она всегда звонила сама. Он набирал ее номер редко, только для того, чтобы узнать, как дочь и когда можно Дашку увидеть. Зачем она звонила? Раньше якобы всегда по делу, умело отыскивая различные поводы и причины, а в последнее время просто так: «Ну как дела?» И уже не стеснялась, как раньше, что звонит просто так, без дела. Говорила всегда то равнодушным, то излишне веселым тоном, иной раз как бы между прочим, как бы в шутку интересовалась, не завел ли кого он себе, не влюбился бы и, когда он, усмехаясь, неопределенно отвечал что-то, сама же себе и отвечала: «А собственно, кто еще тебя такого с твоим скверным характером полюбит!» Так, поразвлекаются, парень ты, мол, интересный, неглупый, и все. Мол, только я тебя и могла терпеть. Поразительная самоуверенность. Хотя и говорилось все это в шутливой манере, он знал, что она искренне убеждена в этом. Смешно. О своей личной жизни сообщала только намеками, мол, кто-то там есть и этих «кого-то» много — сразу и не выберешь. Присочиняла, наверное, а может, и нет, — женщина-то она красивая. А впрочем, ему было все равно, ну совершенно все равно. Он даже сам удивился, как ему все равно и как скоро он это почувствовал. В конце разговора сообщила, что послезавтра уходит в отпуск и неделю будет в городе, и если у него будет время, он может сколько угодно гулять с Дашкой — послезавтра в сад она уже не пойдет.

Положив трубку, Вадим вдруг почувствовал острую жалость к себе. И не только разговор этот поводом послужил, нет. Вся жизнь показалась ему какой-то темной, унылой, пугающей и в общем-то никчемной. Но совсем немного времени прошло, и сумел-таки он притушить и тоску безотчетную, и жалость эту дурацкую. Поужинал, принял душ и завалился спать.

Весь день проторчал в городской библиотеке. Для того чтобы писать о Румянцеве, нужно было почувствовать аромат того времени, вникнуть в его атмосферу, уловить температуру отношений между людьми той эпохи. И еще нужны были детали, как одевались, что ели, на чем ездили, сколько платили, как квартиры обставляли и т. д. и т. п. Много надо было знать, и он узнавал. Читал, практически только читал, лишь изредка

делал заметки для памяти. Читал все подряд: книги, журналы, воспоминания современников.

Одуревший и туго соображающий, к семи часам выбрался наконец на улицу и спохватился тут же: ведь сегодня он хотел понаблюдать за тем домом, где бывал Лео. Побежал на автобус, но ни в первый, ни во второй не влез — плотными, без единого просвета и трещинки толпами втискивались уставшие люди в кренившиеся к тротуарам автобусы. Конец рабочего дня. Час пик. Отчаявшись, Вадим взял такси, и то с трудом — охотников было предостаточно. Откинувшись на расхлябанную, непрочно зафиксированную спинку сиденья, сказал шоферу: «Быстрее. Спешу!» А когда замелькали стремительно справа и слева люди, дома, машины, лениво подумал вдруг: «Куда спешу? Почему быстрее?..»

Вышел из машины в начале переуллка, не доезжая до нужного дома примерно квартал. Уже шагая по тротуару, посмеялся невесело над собой — не отдавая отчета, машинально поступил, как герои милицейских книг: покинул «оперативный» автомобиль за квартал до «объекта». Надо было бы еще пару-тройку такси сменить, каждый раз называя другие адреса, прежде чем сюда добраться, совсем было бы весело. Конспиратор.

Без маскировки сегодня был, без кепки длинной, без очков, без треноги. Вспомнив вчерашние свои переодевания, опять посмеялся, таким нелепым и наивным показался ему вчерашний маскарад. И впрямь Шерлок Холмс доморощенный. Проходя мимо остывающих от дневного солнца витрин магазина, отвернулся автоматически, чтобы не узнала его вчерашняя продавщица, углядев знакомое лицо через стекла, хотя, наверное, наплевать ей на него, и забыла она уже о вчерашнем происшествии, но все равно не хотелось Вадиму привлекать ее внимание. Жаль, конечно, хорошее место для наблюдения было, а впрочем, долго там не просидишь — это же не ресторан или кафе, так, экспресс-закусочная. Так что на лавочке в крохотном зеленом сквере удобней.

Аккуратненький, неприметный, тесно вжатый меж крепких приземистых трехэтажных купеческих домов, скверик был пуст, тих и прохладен. Ну просто самое что ни на есть подходящее место для неспешных раздумий и размышлений, для принятия основательных решений, для благостного и умиротворенного уединения. А вот думать как раз и не думалось, никак. Ни с сигаретой, ни без сигареты; и как ни садись — так или эдак, ногу



на ногу положив или откинувшись на сухо поскрипывающую спинку. Ну думалось, и все тут. Ни единой не было мысли, и ухватиться не за что было. Пусто. Непривычно пусто. Пугающе пусто. Устал. Или нет, скорее для другого дела уже изготовился, подобрался в ожидании. Потому что понял вдруг в какой-то неуловимый миг, что произойдет сегодня что-то, хорошее или плохое — неведомо, но произойдет.

Через час напряжение спало, и действительно пришла усталость. От курения першило в горле и горчил язык. Потом северный ветер принес прохладу, в одночасье выстудил пальцы, будто вовсе и не лето, а поздняя осень, а потом захотелось есть, и настроение испортилось вконец... А потом он увидел Можейкину, понурую, вялую, посеревшую, уныло, как старушка, одетую, поддерживаемую под руку мужем-доцентом Борисом Александровичем, теперь уже не вкрадчивым, не опасливым, не угодливо сутуловатым, а крепким, уверенным, надменно-брезгливо на жену глядящим. Казалось, жестко прихватив женщину за локоть, он волочил чуть не падающую женщину за собой. После девяти переулков обезлюдел, и некому было обратить на них внимание, кроме самого Вадима. И только сейчас он сообразил, что вышли они именно с того самого двора. У кого же они там были? Неужто у Лео? У знакомых его? Или просто случай, совпадение — обычное дело, повеселились немного в гостях и пошли домой? Интересный домик, занятный домик. Вадим приподнялся было, но остановился тут же. Сперва обдумать надо, как быть, — слишком уж неожиданно все. Подойти к ним, спросить, где они были? Глупо. Посмеются и пошлют его куда подальше. Идти за ними. Да он и так знает, где они живут.

Но вот подошли они к машине, к синим новеньким сверкающим «Жигулям», что в нескольких десятках метров от дома к бордюру тротуара притерлась, уселись в него — Можейкин поспешно, чуточку суетясь, Можейкина, казалось, нехотя и недоуменно, упираясь даже, как капризничающий ребенок, — и решила для Вадима задача его нелегкая, как быть, — рокотнула машина, как зверь голодный, рванулась лихо и помчалась по мостовой, нарушая неподвижность и тишину переулка. Так у кого же они были все же? У Лео? Или в гостях у посторонних совсем людей? И что это даст в конце концов, если он узнает, к кому они приходили? А даст

то, что станет ясно, что муж — доцент Борис Александрович в курсе дела. Значит, договорились, полюбовно все решили. И из-за чего же тогда весь сыр-бор он, Вадим, затевает? Не из-за чего. Теперь просто дознать-ся надо, у кого Можейкин здесь был. И вообще разобраться во всем, а то совсем запутался. Понять, каждому фактику свое место найти, иначе скверно будет, неспокойно, муторно, давить что-то непонятное будет, изводить, мучить. Он себя знает, не первый год к себе приглядывается. «Как чудно сказал, к себе приглядывается», — машинально отметил Вадим. А для этого крепко подумать надо, очень крепко. Вот сиди сейчас и думай, пока в состоянии таком возбужденном пребываешь, пока остро и ясно так все ощущается. Он поежил-ся, совсем зябко стало, и курточка не спасала, хотя раньше и в осеннюю непогодицу никогда он не мерз в ней, а сейчас вот... А может, плюнуть на все и махнуть домой? Он-то здесь при чем, ему-то что надо? Живи спокойно, приятель, работай в удовольствие, развлекайся, люби, радуйся. Жизнь-то, она одна и такая короткая. «Вот покурю сейчас и пойду, — подумал, — успокоюсь и пойду». Вынул сигареты покрасневшими пальцами, с трудом закурил на ветру. Чертов климат, днем, как в Сахаре, к ночи по-северному выстуживается все. С рождения живет здесь, а привыкнуть не может.

А вот это уже совсем интересно! По другой стороне улицы, по тротуару, бодро и весело вышагивали двое. Вадим узнал их сразу, как только показались они из-за угла. Долговязый в кепке из кожезаменителя, чуть склонившись вбок, что-то рассказывал второму, черненькому, модненькому, в яркой курточке, белых кроссовках — «курьеру». Куда они шли, Вадим уже знал наверняка. Уж слишком все закономерно для случайного совпадения. Раз и эти персонажи на сцене появились, то направлялись они непременно в этот самый занятный дом. Теперь только не упустить их, успеть посмотреть, в какой подъезд они войдут, в какую квартиру. Сложно это будет, но надо, очень надо. Знобкая дрожь внутри, появившаяся после того, как Данин увидел их, унялась. Страх не было и вовсе, он не успел родиться, времени не было, или просто его перекрыли непонятно откуда взявшаяся злость и легкое возбуждение человека, долго настраивавшегося и уже изготавившегося к действию. Вадим был спокоен, собран, решителен. Парочка свернула во двор. Вадим, пригнувшись, чтобы ветви не били

по лицу, бесшумно выскользнул из скверика, пересек мостовую, мягко и скоро ступая, дошел до ворот, огляделся по сторонам, — поблизости никого, только далеко, в начале переулка, маячил женский силуэт — и, осторожно высунувшись из-за кирпичной тумбы, осмотрел двор. «Кепка» и «курьер» уже входили в подъезд. Дверь пискнула и закрылась. Вадим стремительно пронесся до подъезда, остановился, прислушиваясь, чертыхнулся, добротню раньше подъезды мастерили, тамбур метра три, двери в три пальца толщиной, плотно, без щелочки к косякам пригнанные, — ничегошеньки не слышно. Значит, внутрь войти надо, посмотреть, в какую квартиру они постучатся, или по слуху хотя бы определить, на каком этаже они, с какой стороны лестничной площадки — слева, справа.

Первым делом тихонько и медленно приоткрыть, чтоб не визгнула, не скрипнула, не дай бог, теперь вторую, эта попроще, полегче, из новеньких. Вадим замер, повел головой. Донесся звук шаркающих, неспешных шагов. Так, еще поднимаются, значит, на третий, последний этаж идут. А квартира? Какая квартира?! Покошачьи невесомо, на цыпочках преодолел он один пролет, второй, третий, опять застыл, притаив дыхание. Шаги наверху оборвались. Стало тихо до звона в ушах, только едва различимо где-то мурлыкала музыка и мягко бились мухи об оконное стекло на площадке. Или это ему казалось? Почему эти двое не звонят в дверь? Чего ждут? Хоть подали бы голос. Вадим оттолкнулся от стены, сделал шаг к перилам, вытянул шею, взглянул наверх в лестничный пролет и увидел сощуренные глазки «кепки». Тот смотрел на него сверху, и можно было дотянуться рукой до него.

— Это он, сука! — приглушенно процедил «кепка». — Я же говорил, кто-то топает за нами. Давай вниз!

Голова исчезла, и дробно застучали две пары каблучков по ступеням. Вадим стремглав скатился с лестницы, неестественно высоко подпрыгивая, промчался еще по трем пролетам, не удержавшись, по инерции врезался с грохотом в подъездную дверь, настежь распахнув ее. Снабженная крепкой пружиной, она с силой потянулась назад и с размаху больно ударила Вадима по щиколотке. Снова дверь, и он на улице. Двор остался позади, теперь направо по переулку, к центру, к людям. Вадим коротко оглянулся. Парни, набычившись, неслись метрах в тридцати.



Держатся неплохо, часто им, видать, бегать-то приходилось, догонять, вот как сейчас, или убегать? Убегать, конечно, чаще, и во сне, и мысленно, и наяву, такие, как они, всегда от кого-то убегают, всегда в постоянной готовности бежать. Ну и черт с ними, тренированными, их ненадолго хватит вот в таком темпе держаться, наверняка подорвано у них сердчишко-то водкой и куревом. Так, переулочек кончается, теперь, чтобы путь к многолюдным улицам сократить, через пустырь надо, направо. Ширкнули кусты, цепляясь за брюки, бумажно прошелестела листва на обвислых тяжелых осиновых ветвях — и вот он, пустырь. Не совсем пустырь, правда, посреди почти до основания разрушенный дом стоит, чуть поодаль деревянные сараи, уже покосившиеся, а вокруг, в радиусе метров сто, совсем пусто. Дома в отдалении, огоньки, темные очертания деревьев и кустарника. Вадим прибавил ходу, опять обернулся. Ты смотри, не отстают «бегуны», держатся! Ну-ка, еще подбавим, недолго осталось, скоро шумные центральные улицы, а там милиция... Поравнявшись с сараями, Вадим снова глянул через плечо. Ну вот и хорошо, отстают мальчишки, кончился запал. Краем глаза Вадим уловил движение возле сарая. Кто здесь может быть? По нужде кто завернул или просто свежим воздухом перед сном дышать вышел? Длинная тень отделилась от одного из сараев, метнулась навстречу Вадиму. В полутьме угасающего дня различил он знакомое лицо, но не успел вспомнить, кто это, — до высверка в глазах что-то больно ударило его по ногам, и он упал, но поднялся мгновенно. Ноги саднило, в рот забился песок. Он сплюнул, быстро взглянул на неожиданного противника и вот теперь узнал его. Ленька. Тот самый больной из кафетерия. Он стоял, чуть согнувшись, широко расставив ноги, а в руках его белела узкая доска метра два длиной.

Ей-то он и двинул Вадима по ногам. Подонок. И откуда он здесь взялся?

— Встретились все же, — нетвердо, со всхрипом проговорил Ленька, шмыгнул носом и добавил, глупо хихикнув: — Ща тебе разделаю, падлу! — Его повело в сторону вместе с доской, но он удержался. — Будто кто-то потянул меня сюда... Есть бог!

Ладно, с тобой мы потом разберемся, а теперь бегать, мордовороты эти совсем близко. Два десятка метров до них, кряхтят, трубно, прерывисто дышат, будто у самого уха уже; грузно по-слоновьи вбивают ноги в

песок. Вадим повернулся сноровисто, сделал несколько стремительных пружинистых шагов и застыл, будто в стену уперся, внезапно вдруг подумав: а почему он, собственно, убегает? Струсил? Испугался двух не особо крепких мерзавцев? Почему он бежит, поджавши хвост как заяц? Не оценил ситуацию, не разобрался, что к чему, а кинулся сломя голову прочь. Трус, конечно же, трус. Вадим круто развернулся, встал в привычную стойку и встретил «курьера» хлестким ударом ноги в голову. К великому Вадимову удивлению, тот ловко и умело увернулся, и ступня Вадима просвистела мимо его уха, в свою очередь, «курьер» отработанно выкинул правую ногу вперед, и Вадим согнулся от боли в паху. Профессионал. Справа почти в метре заметил «кепку» и тут же с силой отбросил от себя правую руку и костяшками кисти угодил «кепке» в нос. Тот завыл истошно и присел на корточки. «Курьер» выругался, встряхнул руками, сбрасывая напряжение, и медленно стал приближаться. По мере того как приближался, принимал фронтальную стойку.

Вадим ждал, напружинившись, собравшись, зорко наблюдая за каждым движением «курьера». Почти невидимо взметнулась нога. Вадим отбил, с трудом отбил, почувствовав острую, сильную боль в локте. Еще удар, он нырнул вбок и, в свою очередь, попытался дотянуться кулаком до «курьера». Удалось, но не сильно. «Курьер» отскочил. Крепкий, обученный малый! «Не справлюсь ведь, — подумал Вадим и спохватился. — Вот считай, уже и проиграл, раз так подумал, ч-черт!» Удар по затылку был точный и аккуратный, падая, Вадим невольно полуобернулся и мельком увидел окровавленное, но ухмыляющееся лицо «кепки». Кто-то вскрикнул придушенно: «Ой, убивают, господи!», это Ленька, наверное. А потом Вадим стал проваливаться в пустоту.

Очнулся быстро через две-три секунды.

— Оклемался, — сказал кто-то. Голос был приятный, чуть надтреснутый. — А если бы убил, балбес? Камень не кулак.

— Так ему и надо, — отозвались обиженно. — Весь нос расхреначил.

— Это не работа, дурак.

— А если бы он тебя?

— На-ка выкуси, за себя беспокойся. Ладно, сколько ты этому алкашу дал?

— Четвертной.

— Смотри, если он вякнет где что...

Вадим напрягся, оттолкнулся локтями, встал на четвереньки, поднялся, но не так спешно, как хотелось бы, голова раскалывалась, перед глазамиплыли цветные пятна. Его снова сбили с ног и молча, посапывая, принялись дубасить ногами. Сначала было больно, потом стало горячо, во всем теле, в голове, и над глазами что-то начало лопаться. Словно сквозь вату услышал:

— Брось ерундой заниматься, сямка, брось в сыщиков-разбойников играть. По-доброму тебя просили. Брось. Забудь обо всем. На перо нарвешься, не рад будешь... Пошли, камнеметатель.

— А можь того... бабки у него в карманах?

— Пошли, сказал...

Глуховато и отрывисто скрипнул песок под ногами, и растаяли скорые шаги, и стало тихо. А он лежал, не шевелясь, и даже не подумал, что надо подняться, что надо встать и идти, даже глаз не открыл. И совсем не боль мешала ему, хотя все тело была сплошная боль; и не обида, что так по-дурацки, так нелепо все вышло, что по-школярски наивно он действовал, что практически без схватки проиграл этот бой, не драку, а именно бой от начала до конца. Усталость ему мешала, самая обыкновенная усталость. Отползти бы сейчас куда-нибудь в уютное теплое местечко, в мягкую душистую траву и лежать без движений сутки, двое, трое, и чтоб не искал его никто, а если бы и искали, то не нашли, и чтобы не видеть никого и ничего, только звезды, только солнце, только небо черное, или голубое, или облаками увешанное. И замечательно, если б не думалось, чтоб голова была легкая и свободная, а если бы и приходили мысли — то простенькие, безмятежные, розовенькие, как в детстве...

Закряхтели, заныли подгнившие стены сараев, жестяно грохотнула разболтавшаяся крыша на доме, громким шепотом заговорили деревья вдалеке. Ветер. Упругий студеный поток воздуха обжег руки, лицо. Разгоряченное тело выхолодилось враз, и Вадим почувствовал, что дрожит. Дрожали и руки и ноги, дрожало внутри, дрожали голова и шея, и пересохло во рту, даже пропал тошнотворный привкус крови, и занемели губы... Надо идти. Надо пересилить себя, встать и идти. Ломано, словно по частям, он поднялся, постоял с закрытыми глазами, массируя осторожно затылок, и пошел, неуклюже ступая негнушимися пудовыми ногами. Через сотню



метров стало легче, затылок перестал пульсировать, пришла тупая, но терпимая боль, и шаги сделались тверже, уверенней. Огни широкой улицы ослепили. Как в тумане, вышел он на край тротуара и вытянул руку.

А в институте все как и прежде, никаких изменений, важных, решающих, никаких случаев непредвиденных, непредусмотренных, незапланированных, никаких катаклизмов. Те же дела, те же заботы, те же разговоры, те же споры, те же ссоры, симпатии и антипатии. И ведь знаешь всегда, когда уезжаешь в отпуск или командировку, что вернешься и все будет точно так же, как и было, умом понимаешь, а вот все равно чего-то ждешь, нового, неожиданного, значительного — вдруг по-другому к твоему приезду все повернулось, вдруг глаза у людей огнем зажглись, и перестали они с мелкими, незначительными заботами своими носиться. Взрыва ждешь, всплеска решительного, поступков. И хоть все прекрасно понимаешь, все-таки чуточку разочаровываешься, что ничего, что бы из тисков обыденности вырвалось, не произошло, тем более, когда у тебя самого... А может, и хорошо это. Войдешь в привычный знакомый ритм, навалится на тебя повседневная гонка, и забудешься, и отвлечешься, а когда вдруг остановишься, заглянешь в себя — и не таким уж серьезным и пугающим все покажется, и быстрее решение найдешь.

Пока шел по широкому светлomu вестибюлю, пока в лифте поднимался, пока по коридору вышагивал, кто-то улыбнулся ему открыто, искренне, с доброй иронией о синяках осведомился, крепко руку пожал, полуобнял, сострив удачно или неудачно, — таких меньше; а кто-то кивнул сдержанно, кто и не заметил вовсе — таких больше, как и положено. Обычное дело. Коллектив. Перед дверью в свою комнату с запоздалым сожалением подумал, что всем: и тем, кого меньше, и тем, кого больше, отвечал он как-то по обязанности, что ли, скованно, нехотя, да и толком-то не различил, с кем здоровался.

А впрочем, неважно. Наплевать ему на них на всех. Кто они ему? Толпа!

Высветилось на миг лицо у Марины, когда она увидела его, и притухло тут же, будто усилием невероятным уняла она радость, только щеки продолжали гореть. Она улыбнулась болезненно, кивнула радушно,

удивленно приподняла брови на миг, разглядев повнимательней его лицо, но не спросила ничего, оставив расспросы на потом или вообще решив ничего не выяснять. Зато Левкин захохотал без стеснения: да что такое? Да что с тобой? Хулиганы? Бандиты? Или с поезда упал? Или от чужой жены в окно сиганул? Аль за честь дамы вступился? Рыцарь ты наш.

Посыпались звонки, частые заходы ухмыляющихся коллег, уже наслышанных о его помятой и побитой физиономии, — это же так интересно, хоть что-то случилось, есть повод для разговоров и предположений. Потом перед самым уходом на обед его вызвал Сорокин. Чистенький, выглаженный, он пристально взглянул на Вадима, произвольно дернув верхней губой, сухо и коротко поговорил с ним о совсем незначительных делах и отпустил. Выйдя из кабинета, Вадим только пожал плечами: зачем вызывал, разве что только для того, чтобы полицезреть его затушеванный синяк и вспухшую губу? В столовой он встретил предместкома Рогова. Всегда радушный и так искренне расположенный к Вадиму Рогов на сей раз мгновенно отвел взгляд и ограничился едва заметным кивком. Непонятно. А к концу рабочего дня и безразличие, и подавленность, и унылость понемногу исчезли. Мир окружающий краски обретать стал, Вадим похохотал даже, когда Левкин анекдот ему какой-то глупый рассказал. И вчерашний день в памяти как-то скомкался, уменьшился, спрессовался и не таким уж мерзким теперь казался — что ж, всякое бывает в жизни, что убиваться-то. Бессмысленно. Нецелесообразно. Решить он ничего не решил, да, собственно, и не хотел решать, и думать даже ни о чем не хотел. И он наваливался на эти мысли, уминал, с силой отталкивал тяжелый их груз подальше, подальше...

Поднимаясь неторопливо из канцелярии к себе на этаж, на площадке пролетом выше услышал голоса, женский и мужской. Женский — резкий, злой, мужской — тихий, оправдывающийся. Марина и Рогов. Вадим остановился прислушиваясь: понял, речь идет о нем. Марина говорила, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Говорила про Сорокина, мол, как он смеет, кто он такой — и не ученый и не руководитель, так, мыльный пузырь, как он смеет клеветать на самого способного и умного во всем этом здании человека, Данина? Так мы каждого очернить можем. Надо же, придум-

мали. Данин — пьяница, аморальный человек, буйн, и к таким надо самые строгие меры принимать. Это еще доказать надо, что Данин выпивает, и откуда это, собственно говоря, взяли? Потому что синяк у него? Да бог мой, упал, расшибся, с кем не бывает. Робко подавал голос Рогов, мол, я все понимаю, Мариночка, мне не надо ничего объяснять, но такой у нас начальник, ему и доказательства не нужны, вобьет себе в голову что-то и свято верит в это. Мы-то, конечно, защищать Данина будем, на то и профсоюз...

Вадим нарочито громко застучал каблуками по ступенькам, голоса стихли, и, когда он добрался до площадки, Марина и Рогов мирно курили, поглядывая в открытое окно. Рогов опять, как и в столовой, отвел взгляд, но, коротко посмотрев на Марину, спохватился, повернулся к Данину, улыбнулся вымученно. Женщина затаилась очередной раз, поперхнулась — курила она редко, — закашлялась, смущенно постучала себя по груди, бросила, ни к кому не обращаясь: «Пора собираться» — и шагнула к лестнице. Вадим молча смотрел ей вслед. Красивая она все-таки и идет красиво, теплее на душе, когда смотришь на таких жепщин. Почему раньше не замечал красоту ее? Раньше и вообще многого не замечал. Раньше. А когда это раньше-то было? Три недели назад? Месяц?

— Здесь такая вышла, значит, история, Вадим, — подбирая слова, осторожно заговорил Рогов. — Мне попало за вас. Но вы не подумайте ничего такого, я не за себя волнуюсь, всякое, знаете ли, переживали. Все это не так страшно. А попало вот за что. Во-первых, за то, что решили как бы на тормозах все спустить и не разбирать вас на профкоме по поводу истории с Кремлем. Сорокин настаивает на суровом наказании. Не за был. Во-вторых, за то, что я отпустил вас в отпуск. Ну мои проблемы мелочи, разберемся. С вами посложней. Он, знаете ли, вам аморальное поведение в быту приписывает.

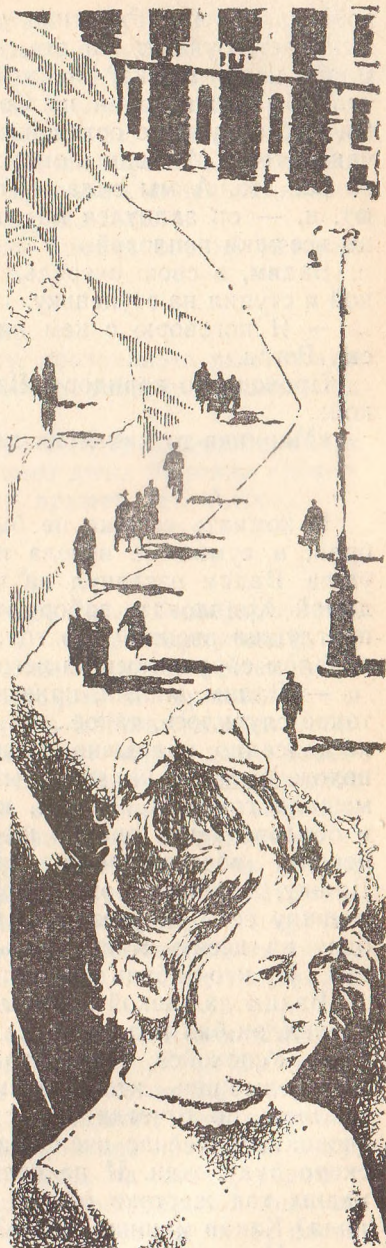
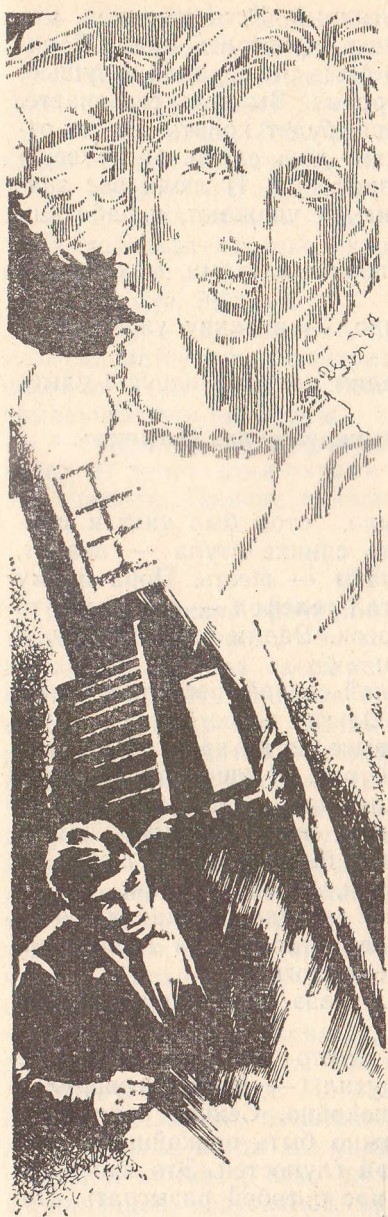
Вадим усмехнулся. Все одно к одному. Цепочка. Друг за дружку дела да случаи цепляются. И сейчас он даже не расстроился, и сам себе удивился, что никаких эмоций не испытал.

— Основания? — спросил он.

Рогов скривил губы и пожал плечами:

— Он просто мне сегодня сказал: приглядитесь, мол, к Данину, неправильный он человек. С женой не живет,





ребенка бросил. Работник ленивый. Есть сведения, что выпивает, буйнит. Но это, мол, проверить надо. Понимаете, какая штука? Все это было бы ерундой и чушью, если бы это говорил не Сорокин. Вы ведь его знаете. Он на полпути не остановится, будет копать. Но не отчаивайтесь. Мы вам поможем, даю слово. Я не верю во все это. А мы сила — профсоюз. И люди вас знают, и, — он запнулся на миг, — уважают, и работник все-таки неплохой.

Вадим, в свою очередь, пожал плечами, махнул рукой и ступил на ступеньку.

— Я поговорю с кем надо, — в спину уже сказал ему Рогов.

Проходя по коридору, Вадим подумал вдруг с улыбкой:

«Маринка-то как меня защищала, как тигрица».

В комнате ее уже не было, стол был чист и прибран, и сумка не висела на спинке стула — значит, ушла. Вадим взглянул на часы — шесть. Пора и ему домой. Хрипловато забормотал телефон — опять кто-то приглушил звонкий его голосок. Вадим снял трубку, и обвалом обрушилось на него:

— Вадим, милый, приезжай скорей, несчастье у нас, такое случилось, такое... — Ольгин голос бился в трубке надсадно, надрывно, то срывался на крик, то на стон похож был, то на звериный рев. И еще слезы, слезы мешали говорить. Вадим, казалось, видел, как крупно и обильно текут они по щекам, видел влажное, потемневшее, обострившееся лицо бывшей своей жены. — Дашку, доченьку мою, забрали, Дашку украли... Они в машину ее — и увезли... мне девочки рассказали, я ее одну на десять минут только оставила, на десять минут... Ну кто-нибудь помогите, помогите...

Вадим ладошкой прикрыл глаза. Свет мешал ему, он слепил, он бил под веки.

— Успокойся, Оля. Это кто-то пошутил, из знакомых, слышишь, кто-то пошутил. — Вадим говорил с усилием, но отчетливо и спокойно. Сейчас надо быть спокойным, сейчас очень важно быть спокойным. — Я скоро буду, жди. И не делай глупостей. Это кто-то из наших так жестоко решил нас с тобой разыграть. Поняла? Какая машина? Цвет?

— Не... знаю... девочки не запомнили... светлая.



— Марка? Ну быстро, быстро!

— Ну не знаю, Вадик, не знаю, откуда...

— А девочки, что девочки говорили, неужто не заметили, какая машина? Где они? Ушли? С тобой?

— Одна здесь, Леночка здесь... Ах, господи, Вадик, какое это имеет значение, марка не марка... Дашенька...

— Имеет, Оля, имеет, — терпеливо, донельзя, до боли внутренней сжимая себя, говорил Данин.

И услышал вдалеке сквозь помехи тонкий детский вскрик:

— Зигули, Зигули...

— Все, — сказал он. — Еду.

Рука метнулась к аппарату, притопились рычажки, и вслед за этим резко и недовольно завертелся диск под срывающимися пальцами.

— Милиция? Моя фамилия Данин, двадцать минут назад из двора дома украли мою дочь. Машина «Жигули» светлая. Больше никаких примет нет. Адрес...

\* \* \*

После бешеной уличной гонки, после бестолковой автобусной толкотни, после того, как разгоряченный, задыхающийся, едва сдерживающий дрожь, влетел он в подъезд, встретивший его сумраком и прохладой, и стремглав по крутым лестничным маршам одолел четыре этажа. У квартирной двери вдруг замер, дыша тяжело и порывисто. Передохнуть надо было секунду, в себя прийти, уверенный, спокойный вид принять. И надо было уже позвонить, но рука не захотела подниматься — хоть лбом в звонок тыкайся, благо вот он на уровне глаз прямо. Грузными, негнушимися руки стали. И охватил на мгновение страх: «А вдруг отнялись!» И тут же чертыхнулся, злясь на себя, на мнительность свою; нервно головой дернул, потянулся к звонку, надавил с силой на кнопку...

Некрасивым, съезженным, старым увиделось Ольгино лицо. Слез в глазах не было, и щеки сухими были, даже горячими на вид. Но все равно казалось, что она плачет, беззвучно, бесслезно, но плачет. Она выдохнула со стоном, когда его увидела, взяла крепко за руку, повела в комнату, тихо опустилась на диван, рядом с длиннوليцей, испуганной, прозрачно-худенькой девчушкой лет шести и сжалась, вобрав голову и сведя плечи вперед.



— Это Леночка, — почти весело сказала она, улыбнулась болезненно и вмиг захлебнулась будто, и смялось ее лицо, собралось морщинками, и она заплакала, всхлипывая и подрагивая головой. И совсем ни к месту он вспомнил вдруг, как вот точно так же, привычно и совсем не жалко, плакала она, когда по телефону ее родители сообщили, что пропала их собака, убежала куда-то утром, а к вечеру так и не вернулась. Она металась тогда по квартире, неестественно скривив рот, обливаясь слезным потоком, и подвывала тонко: «Альмочка моя, Альмочка любимая, бедненькая, где же ты...» А потом оделась стремительно и, ни слова не сказав ему, удивленному неожиданной такой реакцией на пропажу собачонки, выбежала из дома искать Альму, забыв даже захлопнуть дверь. Собака потом нашлась, сама прибежала под утро, к великой радости ее хозяев, все обошлось. И вот сейчас так похоже... Вадим поморщился, сказал с нажимом, не глядя на женщину:

— Прекрати, Ольга, я позвонил в милицию, все будет в порядке...

— Милицию? Зачем милицию? — Женщина вскинула мокрое, покрасневшее лицо. — Значит, ты думаешь, что ее и вправду?..

И теперь зарыдала по-настоящему, вскрикивая и раскачиваясь из стороны в сторону.

Вадим опустился перед женщиной на колени, погладил ее по голове, поцеловал волосы, висок, прижался к пальцам ее похолодевшим:

— Хватит, моя милая, хватит, слезами делу не поможешь, — приговаривал он.

Когда несли сюда, Вадим смутно догадывался, в чем дело, и теперь осознал это четко. Это они. Это еще одна угроза. А раз они, то с девочкой ничего не сделают, будут ставить условия. И он примет их все. Все до единого. Черт с ними со всеми, Можейкиными, Лео, «кепками», «курьерами» и остальными, лишь бы с девочкой ничего не случилось. Но неужели так круто они взялись за него из-за этого изнасилования или там что-то посерьезней?

Звонок в дверь заставил его вздрогнуть, но он не поднялся, не пошел в прихожую, потому что не сразу дошло, что это к ним в квартиру звонят. Когда требовательно зазвонили во второй раз, он отстранил Ольгу и встал.

На пороге стояла полная молодая женщина с одут-

ловатым, невыразительным лицом, в тесном, не по размеру джинсовом платье. Она решительно переступила порог и, не обращая внимания на Вадима, заметалась глазами по квартире. Увидела через дверной проем девочку, бросилась в комнату, облегченно приговаривая на ходу:

— Деточка моя, Ленусик, с тобой все в порядке? Да? Все в порядке? Почему ты не пошла домой, почему здесь сидишь?

Девочка вскочила с дивана, сморщила худенькое личико, будто собиралась заплакать, но не заплакала, а только шмыгнула носом, подбежала к матери, уткнулась в нее, обхватив тоненькими ручками-прутиками массивные мамины бедра.

— Ну и слава богу, ну и слава богу, — приговаривала женщина и крепко прижала дочь к себе широкими короткопалыми ладонями, словно огромная птица укрывала крыльями своего птенца от всех жизненных напастей сразу.

— Ведь это ж надо же! — повернулась она к Ольге. — Какие гады! Какие сволочи! Вот так живешь, живешь... И куда милиция смотрит? Неизвестно, чем занимаются, а здесь детей под носом крадут... Я слышала, это не первый случай, ты знаешь, и в Стремновском районе то же самое было, так и не нашли. Ты представляешь! Хоть на улицу детишек не выпускай.

Ольга опять спрятала лицо в ладонях и мелко затряслась. Женщина отступила на шаг и потянула дочку за собой:

— Пойдем, доченька, пойдем с мамой, — она, не отрываясь, глядела на Ольгу, только вместо жалости и сочувствия на лице ее были неприязнь, брезгливость, испуг. Так на заразных больных смотрят, на чумных, приговоренных. Надо было оборвать ее еще раньше, Вадим прищурился зло, когда она об ужасах тут же, на ходу придуманных, рассказывать начала — для того, чтобы, может быть, и неосознанно, но из-за какого-то неудержимого внутреннего стремления сделать ближнему больно, раздражить его, насытиться его страхом. А уж теперь, когда взгляд он этот уловил и, когда все угадал в нем, тут уж сдерживаться больше сил не было. Он поджал уже губы, напрягся, шагнул в ее сторону. Но его на мгновение опередила девчушка Леночка. Она оттринулась от мамы, вскинула на нее удивленное глазастое личико и произнесла тихо и твердо:

— Я не пойду, мамочка, Дашеньку надо искать. Мы подружки...

Так серьезно, так по-взрослому даже для матери она сказала это, что та даже опешила, недоуменно на Ольгу посмотрела, на Вадима, как бы ответа у них выпрашивая, как же это так, неужто это дочь моя плоть от плоти так говорит. И побледнела вмиг, и заостенела лицом. А потом выдохнула тяжело, чуть дернув щекой, внимательно оглядела дочь и выговорила неуверенно, словно за какую-то последнюю свою надежду цепляясь:

— А может быть, пойдем? А то мы мешаем тут. Да ты и не кушала.

Девочка упрямо помотала головой.

— Ну хорошо, — женщина нервно пожала плечами. — Оставайся. — Она повернулась к Вадиму. — Ничего, если она побудет здесь?

Он кивнул.

— Я скоро зайду.

И она пошла к двери, так и не взглянув больше на дочь, и только у самого уже порога остановилась, покачала головой и взялась за ручку. И в этот миг опять затрещивал звонок и опять заставил Вадима вздрогнуть.

В дверном проеме он разглядел двоих. Один был в милицмейской форме, высокий, сутуловатый, большерукий. Второй в хорошо сидящем синем костюме, с галстуком.

Он мимоходом поздоровался с Леночкиной мамой, сразу угадав, что это не хозяйка, что не с ней ему беседовать придется, спешно прошел в комнату, окинул ее быстрыми, чуть раскосыми глазами, изобразил печальную улыбку на смуглом скуластом лице, шагнул к Вадиму, пожал ему руку:

— Старший оперуполномоченный шестого отделения милиции Марушев.

Вадим тоже представился. Подошел и тот, что в форме, он по сторонам не глядел, словно стеснялся, что не так поймут. Сдержанно поклонился Вадиму, назвал себя:

— Участковый инспектор Спирин.

А Марушев уже к Ольге на диван подсел, уже о чем-то с ней мягко и улыбочиво беседовал. Он сразу понравился Вадиму, не то что Петухов. Марушев попросил извинения у Ольги, подозвал девочку, выразил удовольствие, что она здесь с мамой, подозвал и ее и добро и очень умело начал расспрашивать Лену. Что-то записал, погладил девочку по голове, повернулся к Спири-



ну, приказал тому найти — Леночкина мама квартиры подскажет — Дашиных подруг и расспросить их подробно и все записать и опять повернулся к Лене. Все быстро он проделывал, четко, легко, будто такие случаи для него дело плевое и он раскалывает эти загадки, как орехи.

Вадим с удовлетворением заметил, что и Ольга успокоилась. Лицо ожило, в глазах надежда появилась и вера, что помогут, не бросят, не оставят в беде, сделают все, что положено, и отыщут дочку. Не могут не отыскать. Милиция-то у нас ого-го какая! И зажег ее такой верой этот скуластый симпатичный парень, и это тоже немаловажной частью его профессии было — способность видом своим, словами расположить человека, убедить, что на таких бравых ребят можно во всем положиться. Ольга вновь ощутила себя привлекательной женщиной, и изредка изящным движением поправляла волосы, успокоенно и доверительно склонялась к Марушеву, когда отвечала.

— А вы что думаете? — неожиданно обратился Марушев к Вадиму.

Вадим ответил не сразу. Хотя был готов к этому вопросу. Сначала отошел от окна, возле которого стоял, чтобы не бил свет в глаза и не высвечивалось так ярко его лицо. Очутившись в прохладной глубине комнаты, сказал:

— Я не думаю, что это так серьезно, думаю, что пошутил кто-то.

— И можете назвать кого-нибудь, кто способен так шутить?

— С ходу — нет.

— Откуда же уверенность, что забавы ради?..

— Не уверенность, предположение.

— Допустим, но предположение тоже на чем-то основывается?

Вадим пожал плечами:

— Не Чикаго же у нас в конце концов.

— Жиденькое основание. Ну хорошо. — Марушев поднялся. — Пойдем, Леночка, покажешь, откуда машина подъехала, где ты стояла в это время, пойдем.

— Кстати, — обернулся он уже у двери. — Всемстам ГАИ дано было указание по возможности проверять светлые «Жигули», если в них сидят дети. Но, сами понимаете, это чрезвычайно сложно. Пока никаких результатов.

И стоило только выйти Марушеву, как посерело

у Ольги лицо, и пообвисли плечи, и сгорбилась она, как после многочасовой трудоемкой работы. Будто силы все свои потратила на то, чтобы так непринужденно и обязательно держаться перед чужими людьми.

Ольга сдавила виски, зажмурилась, покрутила головой, потом резко отбросила руки, опершись на подлокотник, встала неловко, оправила привычно платье и, шаркая тапочками, побрела на кухню:

— Иди, чаю хоть попьем, — донеслось оттуда.

Данин устроился за столом, придвинул к себе чашку, потянулся за вареньем. Когда перекладывал его из банки в блюдце, задел ложкой о край банки, и две крупные ягодины мягко шлепнулись на пол.

— Ты что, слепой! — вскинулась Ольга. — Уже совсем ни черта не видишь! Ты, что ли, здесь убираешь, вылизываешь все? Как придешь, так только бы нагадить. Руки-крюки. Ну что уселся? Иди за тряпкой. О, господи!

Вадим оторопело смотрел на Ольгу и никак не мог сообразить, кому она это говорит. Уже стерлись из памяти скандалы, взаимные унижения, начинавшиеся всегда именно с такого вот пустяка, забыл уже, как больно и беспощадно били слова о его беспомощности, не приспособленности, о никчемности, забыл, как огрызался неумело, как плакать хотелось нестерпимо, как убежать из дома хотелось. И вот теперь вспомнил все сразу...

Он вдруг ощутил, что его трясут за плечо, с силой, с остервенением. Так, что даже зубы у него клацали. Он инстинктивно отстранился, дернул плечом, а когда вскинул глаза, Ольгино лицо увидел, перекошенное, чужое.

— Ты что, оглох? — выкрикнула она и затихла враз, что-то такое, видимо, прочтя в его взгляде, что заставило ее осечься, оборвать себя.

Заголосил звонок, на сей раз не пугающе, на удивление мягко и призывно. Он ожидал был, этот звонок, и Вадим за секунду до него будто почувствовал смутно что-то хорошее и изготовился уже из-за стола встать, подойти к двери, к тишине коридорной прислушаться, не идет ли Марушев или Спирин. Он с легкостью подбежал к двери, щелкнул замками, распахнул ее, и возглас радости сорвался с его губ. Он нагнулся стремительно, подхватил поникшую, поблекшую, усталую, но все же улыбающуюся Дашку, прижал теплое ее тельце к себе, ткнулся носом в шею, застыл так на мгновение. А дочку уже рвала из рук Ольга, вскрикивая что-то и смеясь

счастливого. Вадим осторожно передал Ольге девочку, обернулся к Марушеву, Спирина, Леночкиной маме, самой Леночке. Они стояли неподвижно возле двери и только улыбались удовлетворенно и облегченно. Стояли, чуть ли не прижавшись друг к другу плечами, как близкие люди, вместе сделавшие доброе дело.

— Как? Откуда? — только и спросил Вадим.

Оказывается, как объяснил Марушев, они увидели Дашку в тот момент, когда вышли с Леночкой из переулка, где стояла машина, на улицу. Даша, растерянная, заплаканная, стояла на перекрестке у светофора метрах в трехстах от них. Первой ее заметила Лена (как только она могла углядеть ее в такой толпе?) и закричала: «Дашенька! Дашенька!» — и побежала к ней со всех ног.

Короче говоря, два часа назад к Даше подошел «хороший дядя», сказал, что он друг папы и они сейчас поедут к нему, а маме позвонят. Когда подошли к машине, Даша все-таки испугалась, но было поздно, ее силой втащили в машину, потом пересадили в другую, покатали и отпустили на том самом перекрестке, указав при этом, в какую сторону ей идти, чтобы дом свой отыскать. А она забыла, растерялась, крутилась на одном месте волчком и испугалась потом, и заплакала. Из комнаты доносилось счастливое щебетанье Ольги, и Леночка уже была там, обхаживала Дашку, строго поучала ее чему-то, и Леночкина мама уже там была, все охала, все возмущалась «шутниками». Одним словом, все обошлось, самое время радостную легкость ощутить, вдохнуть свободно, распрямиться, улыбнуться. А Вадим вот посерьезнел наоборот, тревожно стало. Выходит, что условия они потом ставить будут, позже, может, уже сегодня или завтра утром, а это они силу свою просто показали, мол, видишь, как все легко нам удается, не подчинишься, гляди, брат. Вадим посмотрел на Марушева. У того тоже радости особой на лице не было, видно, что-то ему по-прежнему не нравится в этой истории.

— Странно, — произнес он, сунув руки в карманы брюк. — Зачем? — Он посмотрел на еще больше ссутулившегося Спирина, потом на Данина. — А? Зачем? Я, признаюсь, в растерянности. Может, и вправду знакомые ваши? Если так, хотел бы я на них посмотреть... Или все же преступники? И чем-то Даша им не угодила, не по вкусу пришлась, не теми данными располагала или перепутали с кем-нибудь? Непонятно. Ладно, подумаем. Будьте здоровы. Пошли, Спирин!



Сотворив довольную улыбку, Вадим разглядывал, как кормит Ольга дочь, что-то пришепывая, посмеиваясь, оглаживая девочку по головке, плечикам, будто из далекого далека та возвратилась и сто лет там провела, а то и поболее. И снова звонок, в который раз уже. И на сей раз вздрогнули все, как по команде, так внезапно и нежеланен он был. Вадим поднял глаза к стенам часам — без двадцати десять. Он распахнул дверь и подобрался вмиг. С усталой улыбкой на него глядел Уваров. Совсем не к месту он, совсем не ко времени, он просто не нужен здесь сегодня. Но что делать, пришел человек, хоть и не друг, но знакомый, так что приглашай, зови его в дом, не выказывая своего недовольства, улыбнуться попробуй. Вадим жестом указал в глубь квартиры. Уваров поблагодарил вежливым кивком, вошел. Машинально Данин отметил, что очень похожи они с Марушевым, оба ладные, легкие в движениях, скуластые, симпатичные. Уваров сел на стул, огляделся, словно принаравливаясь к обстановке, чуть виновато улыбнулся Данину, заговорил:

— Незванным гостем я. Понимаю, что не ко времени. Вы уж простите. Но когда услышал сообщение дежурного по городу о похищении девочки, как-то не по себе стало, беспокойно. Решил, что обязательно заеду, помогу, чем могу. Но вот только сейчас вырвался. Я сегодня дежурный по отделению. Так что скоро назад. Машина внизу на парах. Но, к счастью, вижу, все в порядке. Девочка дома, заблудилась, видать, да?

— Вадим, кто там? — донеслось из кухни встревоженно.

— Это ко мне, — Вадим выглянул в дверь и закрыл ее за собой. Подошел к столу, но садиться не хотелось, лучше было бы стоять или ходить по комнате, но он все-таки сел, чтобы не подумал Уваров, что он волнуется. Устроился поудобнее и так, чтобы свет на него не падал. И только тогда рассказал все, как было, с самого начала.

— Занятно, — заметил Уваров. Облокотился на стол, раздумчиво посмотрел на Данина. — Что же за напасти вас такие преследуют? И все после этого злосчастного случая с Можейкиной. То поволтузили вас где-то лихо. Вон синячина какой и губа треснула. От кулака ведь, сознайтесь? И сегодня с дочкой, гляди, какая неприятность. А до этого небось еще что-то было. Ведь было, верно?

— Что было? О чем вы? Не понимаю, — как можно спокойней ответил Вадим и хотел было полезть за сигаретами, чтоб руки чем-то занять, но раздумал — под контролем себя держал.

— Мало ли, — сказал Уваров. — А впрочем, это я так, к слову.

— Не знаю, не знаю, — Данин попробовал усмехнуться. — Фантазируете все. Воображение у вас богатое. Для литератора это хорошо, но для сыщика... А синяк-то и губа от кулака. Верно. Здесь вы спец. Так то шальная компания. Шел вечером, попросили закурить. То да се. И началось. Едва удрал, а то бы, глядишь, и ребра поломали. Обычное дело.

— Ну да, конечно, это дело случая. — В глазах Уварова Данин разглядел смешливые огоньки, и это озлило его, и он импульсивно сжал кулаки под столом, а Уваров продолжал тем временем: — И девочку ради забавы в машине покатали. Добрые попались такие дяди. Или кто из приятелей пошутил? Да так оно и было, наверное. И к Митрошке вы тоже случайно забрели, шли вот так просто по улице и забрели...

Опалило жаром щеки, и под сердце будто током ударило, и глаза, показалось, сейчас заслезятся. Но долю секунды это было, переборол себя Вадим, невероятным усилием ослабил толчок страха и не отвел глаза от в упор глядящего на него Уварова. И несколько секунд так смотрели они друг на друга. Один расслабленно, даже весело, только чуть сузив глаза, другой — тяжело, хмуро, с трудом подавляя напряженность.

— К какой такой Митрошке? — наконец выцедил Данин, старательно делая вид, что закипает. — Что вы мне здесь опять фарс устраиваете?!

Уваров разочарованно покачал головой, еще раз окинул взглядом комнату, словно на сей раз уже запоминая, где что стоит, хлопнул себя по коленям, поднялся, сказал, поправляя пиджак:

— Как бы этот фарс драмой не обернулся, Вадим Андреевич. Мы ведь того мужичишку опросили, он и рассказал, что вы бабу Митрошку искали. Мы и Митрошку опросили...

Вадим невольно подался назад.

— И что?! — вырвалось у него. И тут же отругал себя, чертыхнулся беззвучно.

— Ну вот видите, — Уваров усмехнулся уже откровенно и развел руками.

— Что «видите»? — Вадим резко поднялся. — Что «видите»?

— Сами вы все прекрасно понимаете. Только я вот вас не понимаю. — Уваров неторопливо направился к дверям. — Ну да бог вам судья. Если что, телефон мой знаете.

«Ну ничего, — думал Вадим, идя вслед за Уваровым, — ничего. Найду Лео и вот тогда все расскажу, только анонимно».

Уже у открытой двери, пожимая Данину руку, Уваров сказал вскользь:

— Все же подумайте. — И вышел поспешно.

Вадим захлопнул за ним дверь. Но в ту же секунду ему нестерпимо захотелось ее открыть. Открыть и броситься за Уваровым, остановить его, выпросить без всяких там предлогов о Митрошке, о том, что она поведать ему могла, рассказали про него, про Данина? Уже к собачке замка рукой потянулся, уже за холодный металл массивной старинной ручки взялся (на какой свалке, интересно, Ольга ее откопала), но не открыл, так и остался стоять, с протянутыми к двери руками, будто кто-то приказал ему «замри», как в детской игре, и он замер. А когда услышал шум разъезжающихся дверей лифта и потом ровное его гудение, будто очнулся. Ну что там Митрошка могла о нем сказать? Да и почему именно о нем, она о высоком парне могла каком-то сообщить, в куртке, в джинсах. А сейчас все в куртках, в джинсах и высокие. Если вообще она что-либо говорила. Эти бабки — народец закаленный и не таких сыскарей выдвали. Пока ее не прижмешь крепко, она будет молчать, как камень. Так что поводов особых для волнений пока нет. А Уваров его просто, как говорится, «на пушку» решил взять. Если б хоть малейшая у него зацепка была, он бы так с ним разговаривать не стал. Другой бы был разговор, прямой и конкретный, и без усмешечек всяких, намеков и полутонов.

Высветилась красновато прихожая. Это приоткрылась дверь с кухни. Лена и ее мама уже собирались. Лена обняла Дашку, поцеловала в лобик. Мама, в свою очередь, с Ольгой прощалась, как с лучшей и самой близкой своей подругой. Когда и за ними захлопнулась дверь, Вадим решил, что ему тоже пора. Одному надо остаться, поговорить с собой, посмотреть на себя...

— Пойду я, — сказал он, кивнув Ольге и подмигнув Дашке.



— Подожди, — тихо сказала Ольга, прижимая к себе дочкину головку. — Если не ждет кто, останься, пожалуйста. Мне страшно и холодно... — И она вправду поежилась.

Какие-то давно забытые нотки он уловил в ее голосе — мягкие, нежные, любящие. А потом вдруг и увиделась она ему прежней, уже почти забытой, легкой, воздушной, открыто и искренне тянущейся к нему... И лицо необычайно красивым показалось, несмотря на круги под глазами, на болезненную бледность, на взгляд потухший. И он кивнул согласно и с появившимся внезапно волнением, уже наперед зная, что будет, и заранее радуясь этому, вошел в комнату.

Проснулся с рассветом и поначалу не понял, где он. Огляделся, увидел рядом с собой едва прикрытое легким одеялом гибкое, четко очерченное в рассветной полумгле Ольгино тело и сразу все вспомнил разом. Как изящная, душистая, соблазнительная вышла она из ванной, и как горечь он во рту ощутил, и как натянулся тетивой в ожидании, и как встала она перед ним на колени, как целовать принялась его руки, шею, губы, глаза, и как впал он в невесомое забытие, и как обдало его жаром с ног до головы, потом исчезло все, померкло вокруг, затуманилось. Вспомнил и не поверил, что с ним все это было. Он поморщился, с силой потерял затылком о подушку, потом, стараясь не шуметь, приподнялся, присел на кровати. «Бог мой, зачем?!» — подумал мельком, посидел с полминуты, тихо поднялся, беззвучно оделся, зашел в смежную комнатку на Дашку взглянуть, осторожно прошествовал в прихожую, мягко открыл дверь и вышел.

Настойчивый, крикливый трезвон словно застыл в ушах, острыми студенными иглами бил он по перепонкам, с болью в мозг проникал, переполнял голову тонким, дребезжащим, назойливым своим голоском. А тот все выпевал и выпевал упрямо свои рулады. Вадим разъяренно вскочил с дивана, огляделся, узрев телефон, удивленно дернул подбородком, снял трубку:

— Как самочувствие, приятель? — Вадим выдохнул разом и непроизвольно плюхнулся на диван. Все верно он рассчитал. Дождался-таки. Это они. Все тот же

вкрадчивый, усмешливый баритон и словечки все те же: «Приятель». — Что молчишь? Это я. Узнаешь? Ну молчи, молчи, это хорошо, что молчишь, значит, страх есть. Правильно! Хотя чуточку, но есть. А где страх, там понимание. В первый раз ты от растерянности молчал, а сейчас от осознания, так сказать. Хвалю, хвалю. Как Дашенька? Все в порядке? Хорошая, красивая дочь у тебя растет, береги ее. Дети — это счастье, это продолжение жизни нашей. Вот так. Соображаешь? Вчера она просто так, прогулялась с нами, воздухом подышала, а ежели чего... Ну что, будем в мире жить? Теперь хоть не молчи, а то вон как зубки-то сжал, судорогой, что ль, от ужаса свело? Ну что, будем?

— Я подумаю, — процедил Вадим.

— Недолго только, — голос вмиг стал жестким, отчужденным.

И когда запели пунктирно гудки, Вадим опустил трубку на рычажки. Растерянность после первого звонка была. Это верно. Но вот страха после нынешнего он не испытал. Он прислушался к себе придиричиво. Может быть, ошибся, просто притаился страх где-то и не желает выдать себя до поры до времени, до того момента, когда он больше всего ударить может? Видимо, так. Ну хорошо, потом разберемся, потом. И вдруг подумал: «А почему они мне только угрожают, а не пытаются купить. Так проще, так в детективах пишут. Или врут в детективах?! Ну хорошо, потом разберемся, потом. Ну ладно, после, на досуге». Так, сейчас половина восьмого. Значит, толком он сегодня и не спал, но ничего, зарядка и душ придадут сил, средство верное и испытанное. Из ванны вышел уже собранный, готовый к действию. Закурил, присел на ковер возле телефона, снял трубку:

— Прости, Оля, что так рано. Как откуда? От себя. А-а-а. Да надо было, дела. С утра сегодня много дел. А тебя будить не хотелось. А доехал на такси. Они между прочим круглосуточно работают... Ты послушай меня внимательно. И постарайся понять. Когда вы с Дашкой собираетесь к сестре, к Нине?.. Так, это, значит, через три дня. Ты вот что, уезжай сегодня. Билеты я возьму. Да, сегодня. Именно сегодня. Никаких дел и встреч, Оля! Я умоляю тебя. Я на коленях тебя прошу, я сейчас на коленях стою. Нет, нет, ничего серьезного. Но надо, понимаешь, надо. Ради Дашки. Да, вот так, совершенно верно, связано со вчерашним. Не волнуйся, это

временно. Да, да, шутки, только злые очень шутки. Я разберусь. Все. Днем завезу билеты.

Тяжело. Он ведь не объяснил ей ничего, а только напугал. Можно понять ее состояние. Но так будет лучше. Вернее, даже не лучше — это единственный выход, пока все утрясется. Сестра ее живет достаточно далеко, в маленьком, уютном тихом городке, в трехстах километрах отсюда. Пока кто вызнает, где они, если это, вообще, кому-либо еще понадобится, пройдет время, так необходимое сейчас.

День в институте прошел на редкость быстро и неустойчиво, и не смотрел Вадим на часы каждые полчаса, как обычно, и не ловил себя на унынии и на сожалении усмешливом, что так тянутся часы и минуты. И с билетами для Ольги быстренько умудрился управиться, и успел их отвезти, опять ей толком ничего не объяснив, — да и что мог он объяснить? — а только умоляюще руки к груди прикладывая. Это хоть и озлило ее, но сумела она сдержаться и согласилась все же уехать, внутренним материнским чутьем чуя, что дочери ее что-то угрожает...

Рогов, каждый раз проходя мимо Вадима, кивал ему ободряюще, мол, не беспокойтесь, все будет как надо, а в конце дня остановил его даже в коридоре, сказал полупрошептом: «Сорокин о нашем деле пока не говорит, а мы и не напоминаем, так что... А если спросит, я скажу, мол, проверили, хороший человек, выдержанный, достойный». Вадим едва не скривился в ответ, видя явную глупость ситуации — занятым людям придется доказывать, что он, Данин, не делал того, чего не делал никогда. Бред. Но вовремя спохватился и вместо гримасы пренебрежения изобразил благодарную улыбку — как-никак добра ему Рогов желает.

Марина, казалось, весь день ему что-то сказать хотела, но никак не решалась, а он ей особого повода-то и не давал для длинного разговора, так все междометиями, хмыканьями отделывался, делая вид, что очень занят.

Около шести он уехал в управление культуры, завизировать письмо, а когда вышел оттуда, сообразил, что недалеко от Шишковского переулка обретается. Постоял недолго, раздумывая, а потом взял да и направился в его сторону пешочком, прогуливаясь и отдыхая. И вот удивительно, несмотря на то, что немало непри-



ятных мгновений он пережил в этом переулке, никаких недобрых эмоций вид его не вызвал, не испортил ровного настроения и даже не изменил. Хороший признак? Добрая примета?

Тротуары были немногочисленны, и всего лишь две машины проурчали по мостовой, пока он шел, а двор за чугунными воротами и вовсе выглядел пустынным и сонным. Колебался перед калиткой Вадим недолго, неспешно огляделся лишь по сторонам и шагнул во двор. Первым делом посмотрел направо, там, где скамейка должна стоять, почти совсем скрытая от глаз тяжелыми, провисшими липовыми ветвями, и заулыбался, различив там знакомую фигурку и металлический блеск костыля на скамейке. И его тоже заметили и радостным восклицанием дали понять, что узнали.

— А я о вас вспоминал. И очень жалел, что не увижусь, наверное, никогда больше. — Михеев так и светился весь от удовольствия. И глаза его за тонкими стеклами излучали столько доброго тепла, что Вадим смутился даже, давненько уже никто не встречал его с таким радушием. Михеев оглядел его внимательно с ног до головы и добавил с легким удивлением: — А вы сегодня совсем не такой какой-то. Ну не такой, как тогда. Поскромней, что ли, построжее...

— Углядели тогда нарочитость-то? — спросил Вадим, усаживаясь рядом.

— Ага. Что-то несвойственное вам, вашим глазам в вас было. Облик один, а глаза другие. Не вязалось как-то.

— Первым делом глаза изучаете?

— А как же? Они показатель всего. Что ты? Кто ты? Умен ли? Добр ли? Понятлив? Одержим ли? Имеешь ли страсть? Или же так, мотыльком летаешь? Всё они, глаза, рассказывают. Или я не прав?

— Правы, очень даже правы. К сожалению, далеко не все друг к другу так приглядываться умеют, и различать, и чувствовать.

— О, если бы умели или хотя бы захотели бы уметь, мы в одночасье лишились бы ну, по крайней мере, половины негодяев, властолюбцев, честолюбцев, завистников, самонадеянных тупиц...

— И куда бы они делись? — засмеялся Вадим.

— Они были бы просто-напросто отторгнуты обществом, — серьезно сказал Михеев. — Стали бы изгоями, никто бы с ними не общался, не принимал в расчет.

— Э-э-э, дорогой мой Юрий, — Вадим закурил, затянулся с удовольствием. — Здесь что-то не так. Они же ведь тоже люди, о двух руках, о двух ногах, плохие ли, хорошие, но люди. И, наверное, жестоко и безнравственно вот так избавляться от них. Это означало бы, что и те, кто изгоняет их, уже и сами не чисты, не чело-веколюбивы, не сострадательны.

— Да нет, как раз наоборот, это была бы гуманная мера, — изгнать, для того, чтобы поняли они, разобрались в себе, исправились.

— А если не поймут? А если не исправятся? А только сделают вид и будут внедряться и будут уже сознательно вредить. Утопия.

— Да вот и я к такому же выводу все время прихожу, — сразу согласился Михеев. Он вздохнул. — А что же делать?

Вадим опять рассмеялся, но не обидно, а мягко, по-дружески:

— Жить. И думать. Много думать и о многом. Со-знавать скоротечность жизни...

— И сидеть сложа руки.

— Что? — не понял Вадим.

— Я говорю, значит, просто думать, и все, и ничего не делать, сидеть, значит, сложа руки.

— Нет, Юра, — хотел было Вадим хмыкнуть, но сдержал смехок, ни с того ни с сего интересный разговор получился, интересный и нужный, наверное, этому так ничего еще толком и не увидевшему в жизни парню с костылем. — Нет, Юра. Вот тут я совсем не согласен с вами. Тот, кто много думает, по-настоящему думает — мыслит, сидеть сложа руки не может, не умеет. Мысли его сами по себе к действию его призывают, и тогда он начинает работать много и одержимо. Ведь вы же рисуете, верно? Сначала для себя, а теперь хочется, чтобы люди увидели, так? И не тщеславия ради, а чтобы поняли: смотрите, я думаю, и это так прекрасно, попробуйте и вы, постарайтесь, научитесь... Ведь так?

— Так, — тихо сказал Михеев и, чуть прищури-вшись, внимательно посмотрел на Данина, а потом как-то сразу засмутился и отвел глаза.

— Так. Конечно, так.

Вадим хотел было уже попросить Михеева, чтобы тот сходил за рисунками и показал бы их, и подумали бы они вместе, как с ними быть, кому показать можно, но увидел тут сквозь подрагивающую, обеспокоенную

теплым ветерком листву бесшумно въезжающий во двор автомобиль. Чистенькая, поблескивающая холеными боками черная «Волга» по-хозяйски солидно и значительно подъехала к подъезду и замерла возле него, чуть качнувшись на упругих рессорах. Сначала вышел водитель — приземистый, крутоплечий, в широкой, пообмятой на спине рубаше, затем с заднего сиденья — пассажир. Высокий пассажир был, ладный, немолодой уже, наверно, судя по морщинкам на шее, — лица Вадим не увидел, — тот все спиной к нему оказывался — в сером костюме. Пассажир повел худыми плечами, словно разминаясь, и зашагал к подъезду, предварительно что-то проговорив через плечо водителю.

— Знаете, кто это? — весело спросил Михеев.

— Нет, — насторожился Вадим.

— Это отец вашего школьного товарища. Ну про того, которого вы спрашивали, Леонида, кажется. Что-то, кстати, давно его не видно, Леонида. Мне мама про отца его рассказала, он какой-то начальник в городском строительстве. Симпатичный такой дядька, улыбчивый. Знаете, он как деловой американец, которых в кино показывают, уверенный, лощеный, с резиновой улыбкой.

— Как? — Вадим повернулся к Михееву.

— Ну резиновой. — И Михеев, не меняя серьезного выражения лица, растянул губы.

— А-а, — протянул Данин и опять перевел взгляд на машину. Шофер стоял, небрежно облокотившись на крышу автомобиля, и блаженно курил. Рубашку он так и не оправил.

— Вы с ним не знакомы? — опять заговорил Михеев.

— С кем? — не сразу спросил Данин.

— Да что с вами? — удивился Михеев. — Будто воздух из вас выпустили. Я спрашиваю, с отцом не знакомы?

— А-а, да нет, не пришлось как-то. Вы знаете, Юра, — Вадим с усилием подобрался и даже улыбку сумел изобразить беспечную. — Я сейчас оставлю вас, наверно. Устал чудовищно, весь день на ногах, туда-сюда, не присел ни разу... Но обязательно, просто непременно забегу на днях. Надо наконец рисунки ваши поглядеть, кому-нибудь из художников наших, студийных, показать. Согласны?

— Конечно. — Михеев изучающее смотрел на него. — Так вы все-таки в кино работаете?



— Да. — Вадим откашлялся. — А что?

— Да нет, так просто... А заходили, чтобы дом еще раз посмотреть?

— В общем-то... и да и нет. Одним словом, мимо шел, рядом был по делам, ну и забрел. До свидания, Юра.

И снова, как в прошлый раз, вцепились в брючины жесткие и упрямые, как стальная проволока, прутья кустов. Вадим и на сей раз не стал их обходить, а двинул напрямик, чтобы выйти поскорее со двора, скрыться за кирпичным забором, раствориться, исчезнуть в переулке, будто кто его гнал, будто подталкивал в спину... И одна только мысль вертелась в голове. Не встретит ли его, не наткнется... А почему, Вадим и сам понять не мог. Отец-то здесь при чем? Какое он-то отношение к преступлению сына имеет? Хороший, наверное, человек, работающий, знающий, уважаемый. Только сын вот подкачал. Ухнула, содрогнувшись, подъездная дверь. Вадим невольно оглянулся. Отец Лео, остановившись между машиной и подъездом, поднял руку, подзывая шофера, и, видимо, что-то хотел сказать ему, но в это мгновение взгляд его уперся в Вадима. Гладкое белое лицо его стало неподвижным, мертвым, тонкие губы деревянно сжались. И никаких тебе резиновых улыбочек. И намека нет. И только со взглядом, устремленным из глубоких глазниц, он не справился. В одночасье промелькнули в нем и удивление, и вопрос, и ненависть, и жалость. У Вадима перехватило дыхание и на миг холодом ожгло пальцы на руках, и он произвольно сжал их в кулаки, согревая. И еще отчетливо он услышал слова, будто не сам себя он спрашивал, а кто-то другой, стоявший рядом, ему говорил: «Почему он так смотрит на тебя? Почему?»

Вадим на долю секунды прикрыл глаза, потом тихо выдохнул набранный воздух, не спеша с достоинством развернулся и медленно, очень медленно пошел к воротам.

Уже в конце переулочка решил, что взгляд этот ему привиделся и что он прочел в нем совсем не то, что он выражал. А все потому, что устал, потому что черт его знает какой день уже в напряжении пребывает, вот и кажется всякая ерунда.

В киоске недалеко от дома купил газеты, целый ворох. Не раздеваясь, уселся на диване, настрогал буковок из заголовков и долго наклеивал их на лист бума-

ги. Получилось вот что: «К изнасилованию Можейкиной прямое отношение имеет один парень. Звать Лео. Живет в Шишковском переулке, дом... квартира...». Прочитал и порадовался, вряд ли кто из милицейских специалистов догадается, что писал анонимку грамотный человек, стиль не тот. Впервые за несколько недель Вадим почувствовал себя легко. Он встал, потянулся, скинул куртку и, дурашливо пританцовывая, пошел в ванную.

\* \* \*

По утрам Вадим теперь просыпался с улыбкой, уже, казалось, во сне начинал улыбаться, вскакивал мигом, не нежась, не разлеживаясь; жмурясь от удовольствия, прикивал лицом к льющемуся из открытого окна воздуху. И, к удивлению своему, столько оттенков аромата стал в утренних ветерках различать, даже считать их можно было и даже обозначать — пряный, обыкновенный, розовый, нежный... Так что же, значит, чтобы так остро испытывать радость, надо было столько пережить? И иначе, наверное, нельзя? А впрочем, и хорошо, что нельзя. И даже звонок Уварова его не смутил, не испортил легкого веселого настроения. Он поухмылялся даже, представив, как Уваров «колет» его на анонимку и как у него ничего не получается, и как он злится, и как уколоть, поддеть все Вадима хочет, и как с бесильной, язвительной усмешечкой отпускает его, делая вид, что все он про тебя знает: «Подумайте, подумайте...»

Уваров просил прийти сегодня в конце дня, «если можете, конечно, если вас не затруднит». Да нет, не затруднит, отчего же, раз надо, какие могут быть разговоры. Ах, какой вежливый, какой учтивый, верно, бомбу готовит, верно, думает; ну сейчас я ему покажу, как работать надо, мигом из тебя все выпотрошу. А не тут-то было, ухмылялся Вадим, пока добирался до отделения, никак ко мне не подкопаешься, и не на чем тебе меня взять. А когда к отделению уже совсем приблизился, когда бело-голубой щиток над дверью разглядел, потускнел вдруг, помрачнел — только сейчас о Митрошке вспомнил. Одна-единственная она повредить ему может. И если все она о нем выложила, то поедет он на годы долгие за псевдонападение на Витю-таксиста. А впрочем, он же ведь думал уже об этом и ничего ужасного

в этой ситуации с Митрошкой не обнаружил. Митрошка же не знает, что он — это он, и опознать его вряд ли сможет, старенькая она, подслеповатая, хитренькая, да еще уверена, что он не из компании Лео и, может, наоборот, подсадной какой, или как они там называют. Так что чушь и ерунда. И опять повеселел, расправил плечи, порог перешагнул, приветливо кивнул дежурному, небрежно спросил, как пройти к Уварову.

Уваров встретил его приветливо, как старого доброго друга; натягивая на ходу пиджак и поправляя сбившийся галстук, зашел из-за стола, со словами: «Хорошо, что зашли, не пренебрегли приглашением» — крепко пожал руку, пригласил садиться, сигарет предложил, боржомом, запотевшая бутылка которого — видно, только из холодильника — на столе зеленела.

Искренен он был или играл, трудновато было сначала уловить, но одно Вадим чувствовал четко (на первых порах смутно это ощущалось, а сейчас почему-то уверился): расположен к нему был Уваров, приятен ему был Вадим, что-то близкое, что-то родственное, словами не объяснимое он, казалось, в нем нащупал.

— Устал, — признался он, размягченно привалившись к спинке стула. — Нормальные люди отдыхают уже, газеты листают, кино смотрят, или что они еще там могут делать, а нам вот самая работа. Если в десять-одиннадцать уйду сегодня, за счастье почту.

— Жалуетесь? — спросил Вадим, вертя в руках взятую со стола тяжелую замысловатую зажигалку.

— Брюзжу, — засмеялся Уваров. — И ворчу. Гони меня сейчас отсюда, все равно не уйду. Тяжко, муторно, противно, а ничем другим все равно заниматься не могу. Парадокс, но факт.

— И верно, — Вадим прикурил. — Противно и муторно. Но сладостно, видимо, в то же время, когда после мук, неудач, победишь все-таки, сильнее окажешься, умнее, загонишь противника в угол. Уважать себя начинаешь, ощущение незаурядности появляется. Вот это и приносит удовлетворение. Так?

— Ну, в общих чертах, пожалуй, правильно. Но не совсем. Разоблаченное и наказанное зло приносит удовлетворение — это точно. Для этого и хитришь, и обставляешь...

— А если зло только подозревается, да и то смутно, безосновательно, на уровне «а вдруг»? А для этого «а вдруг» все равно тревожишь человека, дергаешь, от



дел отрываешь, настроение портишь, ловушки дурацкие расставляешь...

Уваров опять рассмеялся, весело, по-свойски:

— Себя, что ли, имеете в виду?

— Да нет. — Вадим пожал плечами. — Любопытствую просто.

— Ах, ну если просто... Что касается предполагаемого преступника, основания, они, знаете ли, всегда есть. Всегда имеется масса малюсеньких, крохотных деталек, что прямо или косвенно указывают на его причастность. А вот со свидетелем сложнее. Как иной раз бывает. Чувствуешь, что человек недоговаривает, ты и так его, и эдак, и с одной стороны и с другой. И все в стенку упираешься. Ну, значит, думаешь, подвело тебя чутье, ошибся, переоценил себя, что ж, и такое случается, ничего страшного. А потом вдруг по ходу дела один аспект появляется, совсем, казалось бы, незначительный, другой, и, глядишь, уже картина, правда расплывчатая еще, без явных штрихов даже, а потом вдруг со свидетелем этим самым какие-то странные вещи твориться начинают, то его там видели, то тут, то синяк поставили, извините, — Уваров вежливо поклонился в сторону Вадима, — то еще чего. Я не слишком туманно объясняю?

Вадим молчал, безо всякого выражения глядя на Уварова.

— Еще вопросы? — Уваров улыбнулся одними глазами. — Больше нет. Ну и замечательно. Значит, зачем я вас позвал. Тут к нам анонимка пришла. И, как голову ни ломали, никак не можем установить предполагаемого автора, — он тщательно скрывал иронию в голосе, но Вадим все равно уловил ее, и на мгновение почувствовал себя беспомощным и беззащитным. Уваров тем временем продолжал: — Но не в этом дело. Она пришла вовремя и подтвердила наши подозрения. Работу мои ребята провели колоссальную и в общем-то уже вышли на предполагаемого преступника, одного из них вернее. Хотите узнать как?

Данин пожал плечами, опять показывая свое полное безразличие.

— Митрошка поведала...

Вадим нагнулся помассировать якобы затекшую ногу. Растирая мышцу, заставил себя собраться. Ну молодцы, раскрутили все-таки бабку.

— Какая Митрошка? — недоуменно спросил он и

через мгновение сделал вид, что вспомнил. — А, ту, что вы мне приписываете, мол, заходил, беседовал?

— Ага, — подтвердил Уваров. — Та самая. Несговорчивая старушка, скажу я вам. Все отнекивалась, гримасы удивленные корчила, убогонькую, юродивую из себя строила, головкой даже мелко трясла. — Уваров показал, как она трясла головкой, — чтоб пожалели мы ее, оставили в покое. Но, видно, сказался опыт многолетний, не впервой ей «малины» содержать, и уловила, поняла, что не в бирюльки мы с ней играть пришли. Ну и подсказала кое-что. Приметы тех, кто квартиру у нее снимал, особо хорошо основного описала, кто с ней дела вел. — Уваров в упор посмотрел на Вадима.

— И этим основным оказался я, — чтобы скрыть неожиданную растерянность, излишне громко захохотал Вадим.

Уваров усмехнулся, сделал большой глоток из стакана с боржомом.

— Вовсе и не вы, — сказал он, аккуратно вытерев губы. — Вы-то их и знать не знаете, вы человек случайный... Попейте водички, холодная, что надо... Ну как хотите... Тот-то по виду вроде и похож на вас, тоже высокий, стройный, симпатичный, только волосы у него светлые, и зовут иначе, Лео. Леонидом значит, и фамилия другая — Спорыхин.

— Ну, слава богу, — с деланным облегчением произнес Вадим. — Это действительно не я, а то уже думаю, что это вы так со мной себя странно ведете, все что-то спрашиваете, все намекаете, усмехаетесь загадочно...

— Издеваетесь? — с улыбочкой осведомился Уваров.

— Как можно? — сказал Данин добродушно.

— Ну хорошо. Теперь основное, зачем все-таки я вас позвал. Вы до сих пор точно уверены, что не помните никого из тех троих?

— Точно?

— А может, взглянете все же на фотоснимки. Чем черт не шутит, вдруг узнаете?

— Раз положено, давайте, — без всякого энтузиазма согласился Вадим и вмиг напрягся, подготавливаясь, чтобы не выдать себя ничем во время этой процедуры. Незаметно вздохнул глубоко, постарался расслабиться, сонный вид себе придать. И, неожиданно глядя, как

Уваров достает фотографии из сейфа, почувствовал омерзение к себе за то, что изготавливается так тщательно, чтобы правду скрыть, что лжет так спокойно и безболезненно. Что все время лжет и сегодня, и вчера, и позавчера, и неделю назад.

И нестерпимо захотелось, не говоря ни слова, встать и выйти из этого кабинета, и идти куда попало, бежать куда попало, куда глаза глядят, только подальше от Уварова, от Лео, от Можейкиной, от города подальше, от всех, от всего...

— Ну вот смотрите. — Уваров уже разложил снимки на столе. — Внимательно смотрите, не торопитесь.

Данин провел потными ладошками по коленям и медленно склонился над фотографиями. Лео он увидел сразу. Лицо его выгодно отличалось от тех полудебильных, что были на других снимках. Тонкое, интеллигентное, запоминающееся, чуть надменное, чуть брезгливое, с тяжелым взглядом широко расставленных, немного прищуренных глаз. Выражение его словно говорило тому, кто снимал его: «Ну давай, работяга, скорей делай свое дело, я спешу, у меня работа поважнее». Вадим спохватился, что слишком долго рассматривает Лео, и перевел взгляд на другую фотографию и так же долго и внимательно стал разглядывать и ее, потом пододвинул к себе еще один снимок.

В дверь робко стукнули два раза.

— Да, — недовольно отозвался Уваров, не отрывая взгляда от Вадима. И видя, что никто не входит, крикнул громче: — Да войдите же.

Дверь приоткрылась бесшумно. Вадим не спеша поднял голову и наткнулся на благообразное личико Можейкина. Он, как и тогда, в больнице, показывался из-за двери по частям, сначала голова, потом нога, потом рука, а потом и весь он появился в кабинете. Все так же спинка у него выгибалась в полупоклоне, и так же голову он прямо держал, верно, прикидывая, как всегда, выпрямиться или еще ниже поникнуть. Сейчас, видимо, решил, что надо поникнуть.

— Простите, что помешал, — он приложил руки к груди и беззащитно, чуть растерянно улыбнулся.

— Ну что ж делать? — вздохнул Уваров.

— Здравствуйте, — Можейкин с протянутой рукой сделал шаг к столу.

— Здравствуйте, спаситель. — Он с почтением коснулся ладони Данина. Здраваясь, покосился на стол, и



Вадим с удивлением заметил, как он впился глазами в снимки.

— Нашли преступника? — обратился он к Уварову.

— Ищем, — ответил тот, небрежно прикрыв фотографии сложенной вдвое газетой. — Ищем. Вы простите, мы сейчас закончим, а потом займемся с вами. Хорошо?

— Конечно, конечно, конечно, — зачастил Можейкин и, изобразив всем телом покорность, поспешно вышел из кабинета.

— Я его тоже вызвал, — пояснил Уваров. — Надо поговорить.

Вадим кивнул и вернулся к фотографиям. Вертя последний снимок, понял, что успокоился, что исчезло уже желание бежать отсюда без оглядки, и глаза теперь не выдадут его, и что можно уже поднять голову и, пожав плечами, сказать: «Нет, никого не знаю».

Он так и сделал. И глаза не выдали его. Во всяком случае, Уваров смотрел на него с плохо скрытым разочарованием.

— Жаль, — подтвердил он свой взгляд словами. — Жаль. Я, признаться, надеялся. Вы единственный, кто мог бы уличить подозреваемого. Единственный! — Лицо его неожиданно сделалось жестким и злым. — И почему-то не понимаете этого. А следовало бы. Пора. — Он мотнул головой. — Трудно с вами, скользкий вы и... — Он в сердцах махнул рукой.

— Не знаю, чего вы добиваетесь от меня, — устало сказал Вадим. — Я же сразу сообщил вам, что не помню никого из них, не разглядел, темно было.

— А почему тогда?.. — Уваров чуть замешкался и опять потянулся к стакану.

— Где ваша дочь? — спросил он, сделав глоток.

— С женой, — недоуменно ответил Вадим. — У сестры, за городом, вернее — в другом городе.

— Спрятали, значит, — усмехнулся Уваров.

— Почему спрятал? От кого! — хотел было возмутиться Даниил.

Но Уваров жестом остановил его:

— Перестаньте.

— Опять намеки, опять ловушки, — с вызовом произнес Вадим.

— Бросьте, какие намеки. — Уваров с силой потер виски. — Просто пытаюсь выяснить истину с вашей помощью. И все как об стену. — Он протянул руку и взял

фотографию Лео, повертел ее пальцами: — Спорыхин исчез. Уехал. Взял отпуск и уехал. Куда — неизвестно. С Можейкиной тоже как-то странно получается. Никого она не помнит, говорит, что встретили ее на улице, а по всему выходит, что у Митрошки она в квартире тоже бывала, видели ее несколько раз в том дворе. Хотел, чтобы она посмотрела снимки, а муж, — он махнул в сторону двери, — говорит, что она больна, не двигается, с трудом узнает близких, какие уж тут опознания...

Уваров бросил снимок обратно на стол.

— ...Если бы ему сумку найти...

— Какую сумку? — Данин натянулся как струна.

— Митрошка сумку обнаружила в квартире, когда пришла на следующий день. Но кто-то ее забрал. Она сама не знает кто, она разглядела плохо, очки, дуреха, не успела надеть. И не из компании Спорыхина был человек. Кто такой — неизвестно. — Уваров без усмешки, серьезно и изучающе смотрел на Данина. — Обманом кто-то вынудил ее отдать сумку. Короче — пока мрак.

Данин стойко выдержал взгляд. Не отвернулся. И Уварову самому пришлось отвести глаза. «Я становлюсь завзятым лицедеем», — с тоской подумал Вадим, а вслух сказал:

— Да, тяжело.

— Ну что ж, — Уваров встал, — я вас больше не задерживаю.

Вадим тоже поднялся. Увидев протянутую руку, с трудом решился подать свою. Крепкое, искреннее рукопожатие вогнало его в еще большую тоску. Он подошел уже к двери и все медлил выйти, все никак не мог собраться с силами и дернуть за ручку. На какое-то мгновение ему показалось, что мастерски обитая коричневым дерматином дверь закачалась, завертелась перед глазами, он прикрыл веки и схватился одной рукой за лоб.

— Вам плохо? — услышал за спиной встревоженный голос.

— Нет, нет, — и Вадим рванул дверь на себя.

Можейкин вскочил, завидев его.

— Ну что там? Никаких перспектив? — спросил он. — Вы-то должны быть в курсе.

— Перспективы есть всегда, — с расстановкой, не глядя на Можейкина, сказал Вадим.

— Вот это хорошо, вот это хорошо, — Можейкин

вплотную приблизился к Вадиму. — А что за снимочки там? Узнали кого, а?

Данин взглянул на него внимательно и тут вспомнил, как выходил Можейкин из дома, где живет Лео, как заталкивал жену в машину, словно мешок картошки, и смутная догадка мелькнула в мозгу и мгновенно испарилась, он попытался погнаться за ней, ухватить ее, ускользающую, но безуспешно.

— Не узнал, — тихо сказал Вадим. — Но, если надо, узнаю.

Повернулся и устало зашагал к выходу.

Пальцами до пола спереди, пальцами до пяток сзади. Вниз... вверх... назад... вверх, вниз... назад, с силой, с ожесточением, с беспощадностью, без компромиссов. Зарядка — благое дело. И чтоб до пота, чтоб до боли, до усталости, до изнурения; чтоб не думалось, чтоб не мыслилось, чтоб пусто в голове было, до звона пусто. И не останавливаться, не поддаваться, не малодушничать, как привык за последние деньки. Хоть здесь-то себя уважать. Изнемог, истерзался.. Так и что? Давай продолжай, ведь есть еще сила, не может не быть. Бум, бум, глухо бьются кулаки в измученную, помятую грушу. И вот она уже в испуге, уклоняется то влево, то вправо, убегает назад, просит пощады, но некуда ей бежать, на крепком ремне она, сколько влезет охаживай ее, и никуда она не денется, крепко подвязана к потолку. Вот так и я. Мордуй меня, дубась, рви в клочья, а прочно подвязан я на ремешке... Опять?! Снова всякая дрянь лезет в голову. Прочь, вон, выкорчевать, выдавить, выцедить с потом... Бум, бум... теперь ногами ее, левой, правой, чтоб знала, чтоб все знали...

Тонкие жаркие струи остервенело впились в его кожу, будто только и ждали этого мгновения, чтоб вырваться из металлического плена и вцепиться в него, истомленного и одуревшего. А теперь рывками, рывками кран выкручивать, чтоб леденели плечи и согревались вмиг...

Из ванной Вадим вышел словно опьяневший, с шальными, невидящими глазами, едва переступая размякшими ногами, проковылял в комнату, остановился посреди нее, огляделся, будто впервые сюда попал, поморгал сонно, с усилием донес себя до кресла, плюхнулся, едва не завалившись вместе с ним на спину, глупо хи-



хикнул, затем длинно вздохнув, вытянул ноги и затих.

Он не спал, и не дремал, и глаз даже не прикрыл, хотя устал и истома его одолела, и в самый раз было бы сейчас забыться на какое-то время, восстановить силы. Но глаза не закрывались, им было интереснее разглядывать свет, чем тьму. А потом истома прошла. Он взбодрился, стал яснее чувствовать, видеть. И тогда он прислушался к себе. И ничего не уловил из того, что мучило его вчера, сегодня и ночью, и утром. И обрадовался, и встал удивленный; сбросив на пол халат, насторожился и вновь ничего не ощутил. Вот и распрекрасно, хоть день отдыха. Он знал, что именно день, а может, и того меньше, завтра все снова навалится, и опять начнется беспощадная борьба с самим собой... Он знает, он уже изучил себя, он за эти недели жизнь прожил. А сегодня вот отдых, так вот вышло, и надо ловить эти мгновения, хоть мало их, но они есть, они существуют, они дадут ему возможность отвлечься, хоть как-то привести мысли в порядок. Итак, сегодня дома. Целый день, до ночи. Книги, телевизор, музыка...

Около пяти заливисто просигналил телефон. Без всяких недобрых предчувствий Вадим оторвался от книги, кряхтя, потянулся к аппарату, стоящему на полу, взял трубку и тут же пожалел, что взял, до слез пожалел. Надо было отключить его. Почему он забыл? Это была Можейкина. Она не поздоровалась и не спросила даже, он ли это, или кто другой, начала скорей тараторить слова, как показалось Вадиму, выученные заранее, или методично и упорно кем-то вдолбленные. И пока она говорила, опять проскочила и исчезла в мозгу расплывчатая, зыбкая догадка. О чем же он подумал? А говорила Можейкина вот что:

— Не забыли меня? Помните. Это я. Люда Можейкина. Вот. Чувствую я себя хорошо, все уже в порядке. А вы не забыли, о чем я вас просила? Пожалуйста, молчите. А то меня убьют. Видите, я же молчу. И вы тоже, ради меня.

— Кто убьет? — перебил ее Вадим.

— Вы их не знаете, и я не знаю, но они не остановятся. Они меня постоянно в поле зрения держат... Хм... Хм.. — Она, видимо, забыла, что говорить, в трубке щелкнуло, а потом пропали шорохи и посторонние шумы, будто трубку прикрыли ладонью, а потом опять заговорила Можейкина: — Меня допрашивать нельзя, я больная, и вы единственный, кто их, ну тех, видел. Умо-

ляю вас. Ну что для вас сделать? Может, встретимся? — сказала она, жеманясь, как девочка, потом вскрикнула, и завывали нудные гудки.

«Сумасшедшая», — с невольным страхом подумал Вадим. И вновь все разладилось. Разом. В один миг. И Вадим понял, что отдыха сегодня не будет.

Вадим рывком подтянул к себе телефон за провод, снял трубку, и пальцы сами, на доли секунды опередив его мысли, стали набирать номер. Беженцев был на месте, и это была удача. Только бы он не спешил никуда, как всегда...

— Вадька, корешок разлюбезный! — Беженцев был возбужден и весел. Он был в порядке. У него все стояло на своих местах. — Вечер свободен? Вот и распрекрасно, вот и расчудесно. Значит, так, сегодня гуляем, отдыхаем, веселимся, и все такое прочее. — «Хоть здесь-то повезло», — вяло подумал Вадим. — ...На Радищева, ежели ты в курсе, молодежный центр открыли. У меня дружок там директором. Понял? Там сегодня вечерок замечательный имеет место быть. И у меня для тебя дама припасена. Хо-рошая! — Беженцев причмокнул. — А я со своей Наткой буду. А... да ты ее не знаешь, ну познакомишься, она с областного радио. Короче, — в семь, Радищева, двенадцать. Все.

Вадим любил эту улицу, хаживал по ней часто, и когда по делам спешил и нередко просто так, прогуливаясь, если выпадала вдруг возможность рядом с ней оказаться. Теплой и нежной она ему виделась, обаятельной и доброй. И люди, заполняющие тротуары, казались ему добрее и улыбчивее на фоне задумчивых, ох, как много повидавших двух-трехэтажных старинных особняков.

К одному из таких неброских, не особо приметных, но явственно осознающих свой возраст и свою мудрость, а значит и значительность, Данин сейчас и приближался. В четырех окнах первого этажа он еще издали заметил пестрые витражи, окна второго были глухо зашторены. Здание выглядело веселым и в то же время таинственным. А потом он увидел и Беженцева, и двух девушек, стоящих рядом. Одна стройненькая, длинноногая, в чем-то белом и легком, прижималась к Женьке, — он держал ее за плечи, полуобнимая. Туалет второй издали походил на витраж нижнего этажа. Вадим

хмыкнул — та, вторая, видимо, для него. Вадим еще шел в метрах двадцати, а лохматый, растрепанный (будто он причесывался всегда только пятерней) Женька уже приветствовал его радостными возгласами типа «ха-ха», «эгей», девушку в белом и легком — это оказалось перетянутое узким пояском тонкое платьице — он действительно держал одной рукой за плечи. Девушка внимательно и изучающе оглядела его из-под модной челки и только после этого вежливо улыбнулась. Вадиму на секунду показалось, что он где-то видел ее — на улице, в компании или во сне? Он даже чуть замедлил шаг, разглядывая ее, затем спохватился и озарился лучезарной улыбкой — трудновато далась она ему. Женька освободил девушку от своей опеки, шагнул навстречу Вадиму, обнял его, поцеловал. Он всегда так встречался с друзьями, даже если видел кого-нибудь из них только вчера. Он, видимо, считал, что так принято у творческих людей.

— Вечность мы не виделись, вечность, — истово размахивая руками, сообщил он девушкам. Вторая — та, что «а-ля витраж», смотрела на Данина без особого интереса и только учтиво приподняла краешек губ в полуулыбке. Ее огромным серо-голубым глазам, наверное, всегда было скучно и противно. Они словно говорили: «Неужто мне, такой красивой, томной, в цветастой просторной безрукавке, с такими ультрасовременными, до плеч почти, сережками, в таких замечательных супермодных штанах, еще кто-то нужен?»

— Знакомьтесь, — Женька, как ему казалось, незаметно подмигнул ей, — Вадим, это Ира, а вот это, — он по-хозяйски притянул к себе ту, которую Данин где-то видел (все-таки во сне, усмехнувшись, решил он), — вот это Наташа.

Все трое почти хором сказали «очень приятно», и Женька захохотал довольный. Пока он смеялся, Наташа опять пристально посмотрела на Вадима и нахмурилась.

— Все, — заключил Беженцев. — Пора. Ирка, цепляйся к Вадиму, и пошли.

Вход в центр был со двора. Они прошли крошечным проулком и очутились возле открытой деревянной двери, по бокам ее, как атланты, застыли серьезные ребята с красными повязками на рукавах. Один из них, крепкий, короткошей, преградил путь и строго спросил:

— Вы куда, молодые люди?



Будто сам был уже далеко немолодым.

Беженцев небрежно отстранил его, давая возможность пройти остальным, и через плечо бросил:

— К Корниенко.

Тесный вестибюль встретил полутьмой, духотой и ароматом импортных духов. Впереди совсем близко, сквозь строй декоративных канатов, свисающих с косяка дверного проема и заменяющих, по всей вероятности, дверь — дизайн! — они различили столики, много людей, слышали возбужденные, веселые голоса. Женька шел уверенно — видимо, не первый раз уже бывал здесь. Не доходя канатной двери, свернул направо, там оказалась неширокая и недлинная — ступенек семь-восемь — лестница, а дальше на площадке зеркало во всю стену, а над ним змеей распласталась трубка дневного освещения, неяркая, приглушенно-розоватая, как молоко с клубникой. И в этом зеркале Вадим увидел всех сразу — и себя, и своих спутников. И заметил, как деловито, будто к работе готовясь, оглядела себя Ира, как мазнула лишь взглядом по своему отражению Наташа, как Женька показал себе язык, и себя увидел, мрачноватого, с тяжелым взглядом, с плотно сжатыми губами. Вот почему, наверное, Ира отнеслась к нему без особого любопытства. Такие ей небось не по душе, ей разудалые нужны, беззаботные, смешливые, говорливые, а он вот и слова не вымолвил, пока шли...

А на втором этаже оказался уютный, со вкусом, разноцветно подсвеченный зальчик с крохотной сценкой и тоже с зеркалами и даже с пультом для диск-жокея. И здесь тоже, как и на первом этаже, было много людей — молодых ребят и девушек. Музыка не звучала, не настало, видимо, для нее еще время, а им и без музыки было радостно, они в приподнятом настроении пребывали, они отдыхать сюда пришли, а потому и говорили без умолку, знакомились тут же, без церемоний, хохотали взрывно.

Ира подобралась, расправила плечики, потянула носом, как охотничья собачка, дичь выискивая, заскользила взглядом по пестрой толпе. А нетерпеливый Женька тянул их уже за собой, в маленькую дверцу сбоку.

И там, в директорском кабинете, тоже люди были, много, на креслах сидели, на столе даже, стояли, привалившись к стенке. Здесь построже ребята были, посерьезней, в модных костюмах, в галстуках, аккуратно

стриженные. «Секретари комсомольских организаций», — шепнул Женька.

За столом, выпрямившись как на собрании, сидел молодой мужчина с озабоченным лицом. Невыразительным оно Данину показалось, гладким и сытым, будто нет у этого человека никаких стремлений особых, и сомнений никаких нет, в себе во всяком случае, и все у него хорошо, и всем он доволен, и спится ему по ночам замечательно, и работается в охотку. «А на этом месте одержимый должен быть, истовый, — подумал Вадим и перебил тут же себя, пристыдил: — Нельзя по первому впечатлению вот так огульно, ничего не зная о человеке, судить. Может, все и не так у него замечательно и хорошо».

А тут и впрямь собрание проходило, только не подготовленное заранее, импровизированное. Спорили о молодежных театральных студиях, стихийно произрастающих в городе и, как правило, выпадающих из-под контроля комсомольских организаций. Корниенко слушал ребят с непроницаемым лицом и чуть наклонив голову. А когда поднял ее и увидел Беженцева, властным взмахом руки установил тишину, указал на Женьку и сказал, обращаясь ко всем:

— Вот пресса пришла. С ней мы сейчас и посоветуемся. Ей-то и предложим нам помочь... Маловато пишут о нас, дорогой товарищ Беженцев, и не знает городская молодежь о нашем центре, вот и группируются самостийно, вокруг всяких подозрительных личностей. Сделал бы статейку, громадненькую, на полполосы. Таковую, чтоб с проблемкой, с размышлениями, с высказываниями и театральных работников, и комсомольцев, и самостийных, чтоб мнения столкнуть...

— Сделаем, сделаем, Жора, все сделаем, — радостно отозвался Женька и стал протискиваться к начальственному столу. — Весной ведь дали уже заметочку...

— Вот именно заметочку, — перебил его Корниенко, — а нам статейку надо, а то все «сделаем», «сделаем», уже пять месяцев, а все «сделаем», «сделаем», — передразнил он Беженцева. — В горьком партии, что ли, обращаться, я там могу кое с кем перемолвиться, — сказал и незаметно окинул присутствующих, наблюдая, какой эффект его слова произвели. Потом добавил: — Ну все, на этом закончим, остановимся пока на печати. И радио подключим. Идите, отдыхайте, расслабляйтесь,

развлекайтесь. Сегодня замечательная программа, и у меня для вас сюрприз.

Когда все вышли и они остались впятером, Беженцев представил своих спутников. Корниенко, как истинный джентльмен, встал из-за стола, застегнул пиджак и только тогда воспитанно поклонился. На Ирину он посмотрел с нескрываемым восхищением, поцеловал ей руку и даже, как показалось Вадиму, пожал многозначительно кончики пальцев. Когда он наклонился, Ирина хмыкнула и передернула плечиками. «И этот ей не понравился», — позабавился Вадим. На Наташе взгляд его задержался дольше, и смотрел Корниенко на нее как-то странно, будто и не человек она вовсе, а зверь диковинный, будто и не видел он ничего подобного никогда. Женька недовольно свел даже брови, приметив этот взгляд. «А вот Наташка ему больше по душе пришлась, чем «а-ля витраж», — с легким удивлением продолжал наблюдать Вадим. Ему самому Корниенко подал руку с бесстрастным и безразличным видом. Так пожимают руки вахтерам.

— Какой такой сюрприз ты обещал? — спросил Беженцев, вольготно развалившись в мягком кресле.

— О-о-о, — Корниенко со значением поднял палец. — Ладно, вам так и быть скажу, как друзьям. Через... — он взглянул на часы, — минут пять-десять придет Ракитский...

— Ой, — воскликнула Ира, недоверчиво распахнув свои густо накрашенные глазищи. — Сам Ракитский! Бог мой! Вот мужчина! Я так мечтала познакомиться...

Корниенко как-то весь ужаслся на мгновение после этих слов. Но только на мгновение, и никто этого не заметил, кроме Вадима, и через секунду он уже самодовольно улыбался:

— Да-да, сам Володя Ракитский.

Вадим что-то слышал об этом актере. Поэт, музыкант и исполнитель своих песен, бард — одним словом. Схож, как говорили, с Высоцким, и голосом, и манерой. Слышал, что популярен Ракитский, что смел и независим, а на концертах бывать не приходилось, не случилось, а сам и не рвался никогда, все недосуг было. Ну что ж, посмотрим, что же это за такой любимец публики. Таков ли он, как о нем говорят?

Ира теребила сидящую рядом Наташу:

— Что ты, дурочка, сидишь, ведь Ракитский же?!



— Ну так что ж? — та усмехнулась. — Плясать, что ли?

Корниенко, перекладывая бумаги на столе, искоса взглянул на Вадима, как, мол, не задевает его Ирина болтовней. Ведь вроде с ней он пришел. Но ничего, видимо, не прочел на равнодушном лице Данина и расстроенно оттого, что ничего не углядел, поджал губы.

За дверью оживленно зашумели, Корниенко излишне торопливо выбрался из-за стола и ринулся к двери. Но она уже отворилась, и в проеме показался невысокий ладный парень лет тридцати, с длинным жестким лицом, крупным носом, тяжелым подбородком и тяжелым взглядом. Был он в темном свитере, в вельветовых черных джинсах, в белых туфлях, в руке держал футляр с гитарой. «А ведь и внешне похож», — удивился Вадим.

— Здравствуй, Володя, — расплываясь в самой благодушной улыбке, протянул к нему руки Корниенко, — ты вежлив, как король.

Ракитский устало кивнул ему и потянул за собой дверь. Но она не поддавалась, за его спиной в полумраке светлело множество любопытствующих лиц. Корниенко замахал на них руками:

— Товарищи, товарищи, посторонитесь. Так же нельзя.

И опять наступила пора пожимания рук. Ракитский женщинам пальцев не целовал, пожимал только поспешно их ладошки и кивал учтиво. Ирина вся затрепетала, когда он улыбнулся ей, хотела что-то сказать, уже приоткрыла яркий полный рот, но решила, видимо, что еще не время, именно решила, а не замешкалась, не смутилась — и не сказала поэтому ничего, а только обольстительно улыбнулась в ответ. Данину показалось, что он услышал легкий запах спиртного перегара. Это от Ракитского, верно. Для храбрости выпил, для куражу?

— Мог бы опоздать, — низко, с хрипотцой проговорил Ракитский, раскрывая футляр и извлекая гитару. — На Октябрьской затор, по осевой не пускают, пришлось выйти, сказать кой-чего гаишнику, — он небрежно пробежал по струнам. — Пустил, куда денешься...

Наташа повернулась к Вадиму, и они встретились взглядами, и, кажется, все угадали друг про друга, и обрадовались оба этому.

— Сколько мне петь? — спросил Ракитский.

— Сколько сможешь, — Корниенко не переставал улыбаться и преданно глядеть на гостя.

— Много не смогу, — сказал Ракитский, перехватывая гитару за гриф правой рукой и опуская ее к ноге. — Полчаса.

— А может, побольше, Володя. — Корниенко умоляюще прижал руки к груди. — А то столько ждали. Ракитский лениво помассировал шею:

— Час.

Корниенко и Вадим выходили из кабинета последними. Данин в дверях попридержал директора за локоть и полюбопытствовал:

— Если не секрет, сколько вы заплатите ему за выступление?

Тот остановился, развернулся всем телом, презрительно приподнял кончики губ, проговорил профессорским тоном:

— Не все меряется на деньги, молодой человек. Здесь Ракитский выступает бесплатно. Он будет петь для друзей, для своих сверстников, для своих младших товарищей.

— А-а-а, — протянул Вадим, — ну если для друзей, тогда понятно.

Места для них не хватило, на стульях, собранных со всего дома, сидели по двое, много ребят примостились на полу перед крохотной сценкой. Женька попытался было вытащить кресло из директорского предбанника, но оно никак не пропихивалось в дверной проем и в конце концов выскользнуло из его рук и рухнуло ему на ногу. В зале загоготали, а уже взошедший на сценку Ракитский недовольно посмотрел в Женькину сторону и раздраженно дернул подбородком. Наташа кинулась помогать Женьке, что-то тихо и ласково выговаривая ему, а Данин тем временем поставил кресло на место. Так что пришлось им жаться возле самой сцены, в окружении таких же несчастных, как и они. Корниенко же по праву хозяина с важным видом присел на краешек сценки, в самом дальнем затемненном углу.

Два направленных со стен софита выбелили лицо Ракитского, и в контрасте с темным свитером оно виделось недвижной восковой маской. Актер утомленно прикрыл глаза, и лицо приняло совсем уж трагичный вид. В зальчике воцарилась тишина. «Зачем так ярко? — подумал Вадим. — Ведь можно поставить фильтры». Но когда Ракитский начал наигрывать груст-

ную мелодию, понял, что все рассчитано, что так и было договорено, что отлажено все и отрепетировано заранее, и этот свет, и полужакрытые глаза, и замедленные движения. Ловок, бард!

Запел он тихо и низко, умело запел; во всяком случае, со слухом у него все было в порядке. Потом голос его окреп, стал громче, и только сейчас Вадим начал разбирать слова. Он внимательно и жадно вслушивался в них, боясь хоть чего-то упустить... А когда кончилась песня и грохнул зальчик аплодисментами, посмотрел по сторонам недоуменно: чему хлопают? Ведь песня ни о чем, и ритма в стихах нету, и духа авторского, и явно в подражание они написаны, в плохом, неумелом подражании. Так, набор штампов. Данин помотал головой, может, ему почудилось, может, он ошибся, может, он не понимает ничего, а это новое, значительное, не всеми — такими же, например, как и он, нечувственными, — принятое. Скорее всего, успокоил себя Данин, это не совсем удачная песня, ведь и у гениев бывают чудовищные провалы. Надо слушать дальше и постараться проникнуться, попробовать слиться с автором, как сливается с ним восторженный зал. Но и вторая песня оставила ощущение пустой болтовни. И третья. А потом Ракитский запел о войне. Много было в стихах красивых и правильных слов, и вроде по правилам они рифмовались, и что-то он там об истомленных матерях пел, об убивающихся женах, о рвущихся на фронт детях... И все, казалось бы, хорошо, если б только в строчках этих что-то свое, истинно свое, не подражательное было, чтобы откровение в них было, не для зала, для себя, чтобы сердце было, беспокойное, настоящее. А может, слишком высокие требования он к Ракитскому предъявляет? Может, для нашего города и такой хорош? Какой-никакой, а свой, и, несмотря ни на что, будем его восхвалять, возносить, восхищаться, будем убеждать себя вопреки всему, что вот это «высоко», как говорит «а-ля витраж». А потом он пел что-то беспомощное о театре: о дураке администраторе и хитреце актере, потом что-то про своих соседей... Между песнями лениво ронял слова, рассказывая последние сплетни о своих друзьях-коллегах, небрежно сообщил, что ему предложили главную роль на Свердловской киностудии, пытался острить, спрашивал, как зовут какую-то вмиг зардевшуюся девушку из первого ряда. Вадиму стало скучно. Он посмотрел на стоящую впереди Наташу, по-





морщился, увидев на ее плечах неизменную Женькину руку, полюбовался изящным изгибом ее шеи, стройной гибкой спиной, тонкими длинными ногами, потом попытался взглянуть на нее сбоку, и словно почувствовала она, что ее рассматривают, напряглась сначала, потом провела по волосам, изгибаясь словно, и повернулась, и встретила с Вадимовым взглядом, и нахмурилась вновь, а потом улыбнулась, кивнула легонько в сторону сцены и едва заметно обозначила пожатие плеч. И снова поняли они друг друга без слов. Вадим потоптался на месте, повертел головой по сторонам, уловил движение впереди себя, опять повернулся к Наташе. Это Ира наклонилась к уху подруги и громко зашептала, стараясь перекрыть звон гитары:

— Вот это парень, именно за такими хоть куда. Сильный, уверенный, не то, что сопляки наши, — она красноречиво посмотрела на Женьку, но так, чтобы Наташа не заметила. — И талантливый. Он кого хочешь за собой уведет, и никто не посмеет отказать.

— А ты? — тихо спросила Наташа, не поворачивая головы.

— Что я?

— Ты тоже не посмеешь?

— Может, и не посмею, — неопределенно ответила Ира, уловив насмешку.

Вадим прикусил губу, сдерживая ухмылку, шагнул ближе к девушкам, приблизил лицо к Ирине, спросил невинно:

— Ирочка, не хотите кофе? Из бара так вкусно пахнет, а здесь так скучно...

О, каким взглядом она его одарила, два огнемётных ствола уперлись в его лицо. Будь ее воля, он валялся бы уже весь обугленный посреди зала. Она неприязненно приподняла верхнюю губу, обнажив длинные, влажные зубы, процедила:

— Да ты что... — и, не договорив, отвернулась.

— Ну вот и славно, — сказал Вадим, — значит, мы уже на «ты». Ну как хочешь, дорогая, а я пойду.

Посмеиваясь, он повернулся и резко сбежал по ступенькам. Бар был пуст и тих, самое основное действо сегодняшнего вечера развертывалось там, наверху, для кофе и мороженого не настал еще час. Проходя к стойке, он несколько раз отразился в стенных зеркалах и подумал весело: «А ведь я посимпатичней».

Черноволосая, под мальчишку стриженная девушка



с отсутствующим лицом подала ему кофе на стойку и небрежно сгребла мелочь. Наверху снова загремели аплодисменты, и Вадим отпил глоток. Кофе был безвкусный.

Он вынул сигареты. Интересно, можно здесь курить? Но спрашивать было не у кого, девушка с флегматичным лицом исчезла, и он закурил. Может, уйти отсюда? Не радуется ему этот дом. А свой дом порадуется? И вообще, что его сейчас радуется?

— Там и вправду скучно, — сказал кто-то совсем рядом. Вадиму даже не надо было поворачиваться, чтобы увидеть, кто это. Он почему-то был уверен, что именно так и произойдет. Может, еще и оттого захотелось ему уйти?

— Я вот тоже... — Наташа натянуто улыбнулась и закусилась вдруг губу, мигом стерев улыбку. — Сядем... Что стоять?

— Сядем, — согласился Вадим. — Кофе?

— Нет, не хочу.

Они сели за ближайший столик, друг против друга. Помолчали. Наташа вздохнула, поудобнее устроилась на стуле, сказала с излишней серьезностью:

— Женя пошел звонить, а это надолго, а я вот не выдержала.

— Не понравился? — спросил Вадим.

— А такое может нравиться? Суррогат.

— Однако все в восторге.

— Ничего, скоро прозреют. Это внушение. Массовый психоз. Это проходит. Он очень цепкий и хваткий парень.

— Я заметил. Вы с ним знакомы?

— Нет. Слышала. Рассказывали коллеги. Он хотел записываться у нас на радио. Его слушали, но не отобрали. Там грамотные люди. Понимают, что к чему.

Он почувствовал себя свободней, контакт налачился. До этого лишь глаза говорили, а теперь надо было произносить слова. А это сложнее, хотя на первый взгляд кажется наоборот.

— Ваша подруга тоже от него без ума.

— Это не моя подруга. Хотя мы знакомы давно. Это Женина коллега. Секретарь редактора. Женя привел ее для вас. А она на вас обиделась, да?

— Обиделась, — усмехнулся Данин, вспомнив гневное Ирино лицо. — А я всего лишь пригласил ее попить кофе.



— О-о, это оскорбление, — с веселой улыбкой сказала Наташа. — Сей замечательный бард — теперь кумир, и кто не проникся — первейший враг на веки вечные.

— Значит, все? Значит, враги? — Данин отринулся в шутливом испуге к спинке стула. — Значит, плакали мои надежды и не будет прощального поцелуя у подъезда?

— Значит, не будет, — рассмеялась девушка. — А какие планы! Сначала прощальный поцелуй, потом невинная просьба что-нибудь попить, мол, в горле пересохло. Затем интересный, умный разговор, может быть, даже горячий спор, чтоб время оттянуть. Потом якобы случайный взгляд на часы, всплеск руками, ох, как поздно, автобус не ходит, такси не достать, придется вам приютить меня. Так?

— Простите, — серьезно сказал Вадим. — Я не все запомнил. Позвольте, запишу. Представится случай, буду действовать по вашей разработке. Грамотно.

Наташа засмеялась, сведя плечики и прикрыв поллица ладошками, хотя ничего особо смешного, как ему показалось, он не сказал, так, сострил не совсем удачно. А она смеялась. И не его словам все-таки, наверное, смеялась. Просто ей было хорошо и весело...

— Ты давно так не заливалась, котенок, — нечесаная Женькина голова зависла над столиком. Беженцев старался всем видом показать, что у него прекрасное, беспечное настроение. — Это Данин так тебя развеселил? Мастер. Ты его бойся, Наташка. — Он раздвинул губы в самой беззаботной улыбке. — Опасный человек. Не успеешь глазом моргнуть...

Он подвинул стул ближе к Наташе, сел, тесно прижавшись к девушке, убрал у нее челку со лба, поцеловал в щеку. Наташа опустила голову, уперлась взглядом в кофейную чашку.

— Уже все кончилось? — Вадим вытащил еще одну сигарету, предложил Беженцеву.

— Здесь вообще-то не курят, — сказал тот и оглянулся. — Нет, не кончилось. Просто я потерял вас и решил поискать. А вы вот здесь веселитесь в уединении. Что убежали-то? На такой концерт не часто попадешь.

— Душно, — сказал Вадим. — Вентиляция плохая.

— И стоять я устала, — мельком глянув на Данина, объяснила Наташа.

— Да, и с вентиляцией, и с местами сидячими здесь

не продумано, — озабоченно подтвердил Беженцев. — Надо будет помочь Жорке. А ушли вы зря. Гигант парень, верно?

— Нормально, — сказал Вадим. — Неплохо поет.

Наташа кротко посмотрела на него, и в этом взгляде он уловил благодарность. «Хорошая девочка, — с грустью подумал Вадим, — не хочет обижать своего... Как его назвать-то?»

— Неплохо... — слегка обиделся Женька. — Великолепно! А песни какие! — Он опять оглянулся и полупшепотом попросил Данина: — Дай затянуться.

...И будто хлынула напористым потоком шумливая вода по лестнице. Это плотной толпой, выкрикивая что-то громкое и веселое, спускались удовлетворенные, возбужденные слушатели. Скоро озеркаленный зальчик многоголосо гудел. Все столики были заняты, а у стойки выстроилась длинная, бурливая очередь.

Ракитский, Корниенко и Ирина спустились вместе, когда, по-видимому, никого уже не осталось наверху. Глаза у них загадочно поблескивали и вид был заговорщицкий, будто объединяла их какая-то тайна. Ракитского все стали приглашать к своим столикам, но он только устало крутил головой и расслабленно следовал за Корниенко, небрежно, как на светском приеме, придерживая за локоток Ирину. Та счастливо сияла и сплохо скрытой жадностью ловила обращенные на нее взгляды. Корниенко остановился за Женькиной спиной, указал своим спутникам на столик, сказал: «Сейчас!» — и торопливо прошагав к стойке, скрылся за ней.

Через мгновение появился, нагруженный тремя стульями. И хоть тяжеловато ему было и неудобно, но вида не показывал, привычно-барственное достоинство сохранял. Шел, выпрямившись, не торопясь, со снисходительной полуулыбкой, словно не стулья тащил, а играючи нес вазочки с крем-брюле; только побелевшие пальцы и вздрагивающие локти выдавали усилие. Ракитский даже не шелохнулся, чтобы помочь; как должное заботу о себе воспринимал. Мастером, видать, себя ощущал, маэстро! Вадим дернул непроизвольно верхней губой, простучал пальцами дробь по столу, взглянул на Наташу, но она не перехватила его взгляда, она сейчас другим занята была — старательно крошку какую-то стряхивала с Женькиной губы. Данин сомкнул глаза на секунду, коротко помассировал лоб пальцами, — и вправду, уйти, что ли? Корниенко расставил стулья, по-

теснив Наташу и Женьку; жестом пригласил Ракитского и Ирину и, не садясь пока сам, властно крикнул, обращаясь к барменше:

— Нина, шесть двойных!

— И выпить бы что-нибудь, — томно подсказала ему Ирина, подвигаясь почти вплотную к Ракитскому.

— У нас не пьют, — с притворной строгостью заметил Корниенко. — Сухой закон.

— Ох, какие страсти, — Ирина поджала губы. — А как же наверху...

— Ты разве не поняла меня, девочка? — нехорошо улыбнулся Корниенко.

Ирина скорчила капризную гримаску и потерлась плечом о Ракитского. Тот слегка отстранился, но не нарочито, а так, будто ему не совсем удобно было сидеть. Он медленно обвел всех взглядом и остановился на Наташе. Приподнял краешек губ и спросил негромко, зная наверняка, что его услышат:

— А почему вы ушли? Вы так помогали мне работать. Ваши глаза помогали. Вам не по душе мои песни? Или я не по душе?

— А мои помогали? — с пьяноватой требовательностью спросила Ирина.

«Она-то когда выпить успела?» — изумился Вадим.

— Что твои? — не понял Ракитский.

— Мои глаза помогали?

— А-а, — протянул Ракитский и опять повернулся к Наташе, — помогали, помогали...

Ира хихикнула и приняла скромный вид.

— Так как? — переспросил Наташу Ракитский.

Бесшумно подошла барменша и аккуратно расставила чашечки. Ракитский даже не взглянул на нее.

— У вас хороший голос, — наконец сказала Наташа. Глаза ее уперлись куда-то в подбородок Ракитскому. — Вы профессионально держитесь.

— И все? — прищурился Ракитский.

— Вы ей страшно понравились, Володя, — подал голос сияющий Женька. — Это она смущается просто. — Он, как ребенка, погладил девушку по голове. Наташа мягко отстранила его руку. — Она не может все сразу вот так сказать.

— Слов нет? — ухмыльнулся Корниенко.

— Вот, вот, — закивал Женька, — именно нет. А какие могут быть слова, одни эмоции. Я как струна был натянут, ни разу не расслабился. Слова, как шипы, в



мозг вонзались, как гвозди, вколачивались. Очень сильно, Володя, очень емко, очень страстно. И вроде обычно на первый взгляд, как у всех, а приглядишься, нет, иначе все, по-другому, как-то особенно, специфично, что ли. — Он говорил громко и быстро, стараясь не останавливаться, не делать пауз, потому что видел, как недоуменно-осуждающе смотрит на него Наташа и все хочет сказать что-то, но не решается прервать его. — И зал можете держать в напряжении, а это искусство — покорять. Запросто можете с залом, а это тоже архи-сложно... И еще, — он запнулся вдруг, — и еще...

— Товарищи! — загремел, перебивая его, Корниенко. Он поднялся и, недобро глядя в глубь зала, застыл в гнев, как статуя командора. — Сколько раз говорить, здесь не курят! Вот вы, в синей курточке, выбросьте сигарету или покиньте зал!

Гомон в зале стих, все вдруг заговорили шепотом.

— Наглецы! — тихо процедил Корниенко, усаживаясь. — Дай им волю...

Женька сдвинул брови, силясь вспомнить, что же он еще хотел сказать, ища поддержки, посмотрел на Вадима, но, наткнувшись на его отсутствующий взгляд, повернулся к Наташе. Та мелкими глотками пила остывший кофе и смотрела куда-то между Ирой и Корниенко. Женька сморщился и в досаде щелкнул пальцами. Но Ракитский даже не смотрел на него, тонко ухмыляясь, он в упор разглядывал Наташу. Потом вытянул палец в ее сторону и разомкнул губы, желая что-то сказать. Ему помешали. Двое ребят, парень лет восемнадцати, худой, большелобый, восторженный и хорошенькая крохотная девчушка, в модном коротком платьице, остановились возле него.

— Простите, — осевшим от волнения голосом произнес парень.

— Что еще? — недовольно повернулся Ракитский.

— Мы хотели спросить...

— Наверху надо было спрашивать, — встrepенулась поникшая была Ирина. — Сейчас мы отдыхаем.

— Простите... — растерянно повторил парень.

— Это вы магнитофоном щелкали? — поворачиваясь к ним и тяжело глядя снизу вверх, спросил Ракитский. — Вы знаете, что очень сложно работать, когда все время щелкают. Это отвлекает и рассредоточивает. Думаете, это запросто, вышел, спел? — Он повысил голос. —

А я три килограмма за выступление теряю. Вам понятно это?

И через мгновение вспышка угасла. Ракитский расправил напрягшееся лицо и вяло поинтересовался:

— Что вы хотели?

Парень был явно задет, восторженность исчезла из глаз. Он хотел было уйти, но девчушка удержала его.

— Вы сочиняете песни о войне. И, разумеется, сами не воевали. И родители ваши не воевали, как вы говорите. Значит, генетической памяти нет...

В зале все умолкли, даже шелоток торопливый стих, только звякнул кто-то кофейной чашечкой, кто-то стулом скрипнул...

— Но есть память сердца, — опустил веки, хрипло и ожесточенно как-то начал Ракитский. — Память людских глаз, память людских слез. Есть память ожогов и ран, память смерти на вздохе. Эта память живет в моем народе, и мой народ питает меня этой памятью...

— Именно ваш народ? — вдруг громко спросил парень, сделав ударение на слове «ваш». Обида скривила его губы и выстудила глаза.

Ракитский горестно усмехнулся, но ничего не ответил парню, продолжал:

— ...Питает меня этой памятью. Не каждому дано так чувствовать свой народ. Мне повезло, я чувствую, я слышу дыхание его, слышу плач или смех, я улавливаю те, сорокалетней давности сигналы, не всегда, но улавливаю, и тогда отбрасываю все и пишу, пишу... И сам обливаюсь потом, и ощущаю, как душит меня страх, страх смерти, ощущаю, как льет из меня кровь, слышу стоны, и стрельбу, и взрывы, а потом начинаю слышать свой стон, страшный, протяжный...

Вадим удивленно мотнул головой и, сузив глаза, внимательней взгляделся в Ракитского. Профессионально вещает, бард...

— А еще, — Ракитский медленно повернулся, так же медленно, даже чересчур медленно, поднял глаза на парня. — А еще я не хочу, чтобы вновь кому-то, через двадцать, через сорок лет, пришлось опять чувствовать новую людскую боль, новую горечь! Я хочу, чтобы у таких, как ты, были другие воспоминания, другая была память, память радости, добра, безмятежности, но не праздной безмятежности, а безмятежности от счастья жить. И это мое страстное желание тоже вдохновляет, когда я работаю...

И тут грохнул зал аплодисментами, кто-то ликуя-ще выкрикнул: «Спасибо!»

И поэтому благодарные слова девчонки утонули в неистовом шуме.

И стоило стихнуть аплодисментам, как в тот же миг обрушились сверху, казалось с самого потолка, мощные аккорды филадельфийского джаза.

Корниенко вскочил со стула, засиял лицом, раскинул руки, будто желая обнять всех здесь присутствующих, крикнул как завзятый конферансье на новогоднем бале:

— А теперь танцы!

Одобрительно галдя, ребята спешили к лестнице.

Ракитский с ленивой галантностью склонился перед Наташей:

— Разрешите пригласить вас?

— Первый танец я танцую с Женей, — сказала Наташа, собираясь пройти мимо.

— Ну что ты, Наташенька, — восторженно Беженцев. — Я могу уступить. Конечно, первый танец за вами, Володя. Вы сегодня герой дня.

Женя взял девушку за плечи и подтолкнул к Ракитскому.

Когда растаяла шумливая толпа, когда последние, те, кто потише, позастенчивей, уже покидали зал, украдкой косясь на Ракитского, тогда двинулись и они. Впереди чуть развалисто Ракитский, уверенно, по-хозяйски уже касаясь Наташиного локтя, затем улыбающийся им в спину Беженцев, потом Корниенко — прямой, горделиво откинув голову, — с тесно привалившейся к нему Ириной, а уж в самом конце он, Данин, ссутулившийся, с руками в карманах брюк.

— Жорик, выпить хочу, — Ирина, жеманясь, потерлась о плечо Корниенко.

— Помолчи, — цыкнул он.

— У тебя же еще осталось наверху...

— Помолчи! — остервенело уже рывкнул Корниенко и резко обернулся. Встретившись с усмешливым взглядом Вадима, скривил зло губы, но привел их в прежнее состояние и даже попробовал виновато улыбнуться, мол, ну что мне с ней, такой дурочкой, делать?

Маленький танцевальный зальчик преобразился теперь, когда музыка заиграла, когда разноцветные лампы под потолком замерцали.



Остановившись сбоку от лестницы, Данин провел рукой по глазам, что-то все не так ему сегодня видится, все раздражает, утомляет, неудовольствие вызывает, непримиримость, доселе ему неизвестную. Вот Наташа только...

Она уже танцевала, чуть отстранясь от Ракитского и непроницаемо сомкнув лицо, всем видом давая понять, что по обязанности, а не по доброй воле, позволила она ему себя в объятиях сжать. «Молодец, — похвалил ее Вадим, — умница». Хотя, впрочем, ему-то какое дело. Он-то чего радуется? Женька стоял рядом, заложив руки за спину, едва заметно покачиваясь в такт музыке и все так же широко улыбаясь. Но в глазах веселья не было. Это Вадим углядел точно. Ирина и Корниенко, тесно прижавшись друг к другу, как истинные влюбленные, тоже кружились неподалеку. Диск-жокей пока медленную, томную музыку предлагал, верно, рассчитывая, что пусть поначалу все притрутся друг к другу, приноровятся, приглядятся повнимательней к партнерам.

Ракитский ближе привлек к себе девушку, теперь правая рука его почти полностью охватывала тонкую ее талию, чуть склонив голову, он шептал ей что-то на ухо. Губы его касались ее щеки, левая рука уже гладила плечо, пальцы трогали волосы, шею... Наташа откинула назад голову, что-то сказала ему, поморщившись. Он усмехнулся только и опять потянулся к ее уху. Девушка отвернулась в сторону и прикусила губу. Вадим недобро усмехнулся, посмотрел на переставшего улыбаться Женьку, сунул руки в карманы и, небрежно расталкивая танцующих, направился к Ракитскому и Наташе.

— Позвольте похитить у вас партнершу, — мило улыбаясь, сказал он, остановившись перед ними.

Ракитский посмотрел на него, как на нашкодившего малыша, потом кривенько ухмыльнулся, проговорил снисходительно:

— Ну, конечно же, не позволю и посоветую не мешать нам...

И, считая разговор исчерпанным, с улыбкой повернулся к Наташе.

Вадим протянул руку, не спеша ухватил Ракитского за запястье и, не меняя развеселого выражения лица, нажал на кисть:

— И все же позвольте, — вежливо попросил он.

Ракитский скривился, побледнел, но девушку не отпустил, процедил только с усилием:

— Да я тебе сейчас...

— Тихо, тихо, тихо, — Вадим рассмеялся.

А Наташа сама, уже почти высвободившись, положила ему руку на плечо. Вадим тотчас отпустил Ракитского и бережно обхватил девушку. Быстро и злобно забегали желваки на скулах у барда, льдисто блеснули сужившиеся глаза. Однако он ничего не сказал, а отступил на шаг, повернулся и, ожесточенно раздвигая танцующих, пошел прочь.

— Я не прав? — спросил Вадим.

— Правы, но, может, не надо было так грубо, — сказала Наташа.

— Как могу, — Вадим вдруг помрачнел. Надо же, она еще его и защищает.

Ракитский хлопнул дверью в директорский предбанник. Покинув обескураженного Корниенко — он так и застыл с протянутыми руками, — вслед за бардом с возгласом: «Володя, постойте!», кинулась Ирина.

Без паузы загрохотала следующая мелодия, диск-жокей знал свое дело. Наташа приготовилась уже было танцевать, но Вадим взял ее за руку и повел за собой.

— Танцуйте, — сказал он, подведя ее к Беженцеву, — пойду покурю.

И вновь неладно на душе, вновь скверно, и что-то гудит внутри тонко и занудливо, или это в ушах гудит, или в воздухе, вокруг — снизу, сверху, со всех сторон, будто противный писк комариный, едва различимый, едва угадываемый, но назойливый, непрекращающийся ни на миг. Опять накатило! Откуда? Почему? За что?

Он вышел в коридор, покопался в карманах, извлек пачку, сунул сигарету в рот, полез за спичками, в кармане брюк пальцы наткнулись на сложенную в несколько раз бумажку, он вытащил ее, развернул, увидел крупные цифры телефонного номера и размашистые буквы внизу: «Уваров». Он с озлоблением скомкал бумажку, швырнул ее в угол. Все из-за этого, все из-за этого! Не замечая двух пар изумленных глаз, прошел к выходу, рванул дверь на себя и окунулся в прохладный воздух. Рука с сигаретой вновь потянулась ко рту, но в пальцах остался только фильтр с рваным лоскутком папиросной бумаги. Когда он смял сигарету? И не заме-

тил ведь. Домой? Нет, наедине с собой нельзя. Совсем плохо будет наедине с собой. Он тряхнул головой и вернулся обратно.

Блеснули неподдельной радостью Наташины глаза, когда увидели его. Она сморщила носик, кивнула ему сдержанно, не улыбаясь, потому что танцующий с ней Женька мог заметить светящееся ее лицо и подумать бог весть что. А он и впрямь ведь мог подумать, и это было бы не совсем неправдой. Или я лъщу себе, невесело усмехнулся Вадим.

Корниенко гренадером стоял возле двери в предбанник и мрачно взирал на топчущиеся пары. Вот дверь открылась, Корниенко вздрогнул, но не повернулся, удерживая любопытство. Из предбанника, посверкивая шалыми глазами, вышла Ирина, вслед за ней показался шатко ступающий Ракитский. Приплясывая, Ирина повернулась к нему. Он сдвинул брови, взглянув на нее, потом приблизился, шепнул на ухо, и она тотчас украдкой стерла с уголков губ размазавшуюся помаду. Узрев Корниенко, Ракитский шагнул к нему, сказал что-то, похлопал по плечу, подмигнул. Тот растерянно улыбнулся и покачал головой. Ступил в сторону и скрылся за дверью. А Ракитский с Ириной уже выделявали замысловатые па под ритмы в стиле «диско». Вадим наблюдал за ними, прислонившись спиной к стене возле самой сценки, и поэтому остался не замеченным ими. Развлекается Иришка, не с тем, так с этим, не с этим, так с тем, славная девчушка... А вот это действительно славная девочка, что направляется сейчас к нему. Идет и смотрит прямо в глаза, как в кино, право слово. Глазастая, белолицая, в свободных брючках, легкой блузке. Вот те на, она приглашает его танцевать. И надо же, он не отказывается. В кои-то веки сподобился. Ну да ладно, отвлечемся. Она была легкая и ладная, с крепкой гибкой спиной, с дразнящим ароматом, шедшим от тела и даже от глаз, трогательно смущенных такой своей смелостью. Невзначай Вадим углядел построжавшее, нахмуренное лицо Наташи. Она прекрасно видела, как весело он вытанцовывает с этой миленькой девчонкой. Ну и пусть видит, ему-то что. А когда смолкла музыка и появившийся Корниенко объявил, что вечер закончен и девочка, сделав книксен и с надеждой взглянув ему в глаза, медленно направилась к выходу, он с удивлением вспомнил, что так и не спросил, как ее зовут, да и вообще ни одного слова ей не молвил. Бирюк. Медведь.



Вадим чертыхнулся, но догонять ее было уже поздно, да и не к чему.

— Ну наконец-то, слава богу, — театрально воздел руки к небу Корниенко, когда дом опустел и они остались вшестером в предбаннике, — избавились от этой хивы. Как они мне надоели... Садитесь, — он широким жестом указал на кресла. — Как надоели, кто бы знал! И хоть бы кто намекнул, а не надо ли тебе, Юрочка, помочь, не надо ли замолвить словечко перед кем? У некоторых из них такие папы, ой-ей-ей. Но ничего, — увидев, что все расселись, он тоже плюхнулся в кресло. — Я сам себе дорогу пробую. Ведь на эту должность без всяких связей поставлен был, за отличную работу, за то, что умею. Я еще им всем покажу, сынкам и дочкам...

С чего-то это он разоткровенничался так? Вадим удивленно поднял брови. Не пьян ли и он тоже? Уж слишком возбужден, слишком говорлив, слишком глаза притуманенные у него, хоть и быстрые, все видящие. И опять тошнотворная волна нахлынула, опять он изматывающий комариный писк услышал...

— Теперь отдыхаем, — объявил Корниенко и вынул из кармана пачку сигарет. — Теперь можно и покурить и еще кое-что... — Он загадочно прищурился. — Ирочка, посмотри там, в моем столике.

Довольная Ира вскинулась и заспешила в кабинет, вернулась оттуда, держа в руке на треть заполненную бутылку коньяку.

— Это не разговор, — увидев бутылку, заметил Ракитский. — С таким запасом я долго не продержусь. Кто-нибудь сходите в мою машину, там кое-что имеется. — Он поискал глазами «кого-нибудь», — Женя, сходите-ка. Вот ключи. — Он швырнул их Беженцеву, даже не взглянув, туда ли кидает. Связка упала с мягким звоном у Женькиных ног. Тот стремительно наклонился, поднял их, встал, двинулся к двери.

— Стой, Женька! — вдруг услышал Вадим свой голос. — Ему надо, пусть сам идет. Ты что?

Это было так неожиданно — молчал-молчал, и вот на тебе, — что все воззрились на него. Только Наташа не повернулась, а прикрыла глаза ладошкой, как бы от яркого света.

— Да я... — Беженцев виновато улыбнулся, смущенно пошарил взглядом по лицам. — Да мне нетрудно. Я сейчас...

— Но-но, — Ракитский резко поднялся. — Поосто-

рожней, приятель. Если я один раз спустил вам, это не означает, что и во второй раз будет то же самое.

Мучительно остро вливался комариный писк в барабанные перепонки. Избавлюсь я от него наконец или нет? Это же так тяжело, так изнурительно, так больно, когда он, едва слышимый, но невероятно выматывающий, зудит и зудит вокруг.

— А давай, — сказал Вадим с тихой злостью и тоже поднялся. — А попробуй. Если сможешь, если получится, если решишься. — Данин вызывающе усмехнулся. — Может, и очистишься тогда, смоешь грязь вранья с себя, хоть немножко смоешь, хоть чуточку. Ну, говори прямо, что хочется сейчас сказать, не ищи слова, пусть сами они выплеснутся, ну?

— Он сумасшедший! — Ракитский опасливо вытянул руку в сторону Вадима. Ищущий взгляд его скользил по лицам сидевших. — У него не все дома. О чем он говорит?

Изумленный поначалу таким неожиданным оборотом, Корниенко пришел в себя.

— Успокойтесь, друзья, — он примиряюще вытянул руки. — Зачем нам шум? Из-за чего сыр-бор? Вы плохо себя чувствуете э... э... э... товарищ?

— Он просто завидует, — пренебрежительно фыркнув, заявила Ира.

— Да, завидую, — не оборачиваясь, подтвердил Вадим, — завидую удивительной способности договариваться с собой. Вот это талант. Когда лжешь и ладишь с душой. Лжешь и не чувствуешь при этом ничего, кроме удовольствия. Так чудесно жить. Я бы тоже так хотел...

— Замолчите! — оборвал его Корниенко. — Вы что, и вправду рехнулись?

— О какой лжи ты болтаешь? Наглец? — Обретя защиту, Ракитский почувствовал себя уверенней. Он даже мог теперь презрительно усмехнуться.

— Я сейчас все скажу, погоди, — тяжело произнес Данин. Надо было уйти. Надо было уйти раньше, когда впервые дурноту почувствовал, когда, туманя мозг, вонзился в уши настырный зуд. Бросить все, плюнуть и уйти, и скорым шагом отмерить полгорода, так, чтоб ноги не слушались, чтоб гудели они усталостью, а потом прийти домой и завалиться спать, не раздеваясь. А теперь поздно, надо продолжать, а то совсем худо станет, если на полпути остановишься, не выжмешь из себя все,

что стучится так требовательно изнутри, что переполняет тебя. Вадим знобко поежился, будто ледяным ветром его обдуло, и заговорил отрывисто и зло:

— Лжешь, когда распинаешься в любви своей к тем, кто тебя слушает, спекулируешь на этой любви, на слове этом спекулируешь. А они, дурачки, верят. Но вот двое уже не поверили, те парень с девчонкой, что внизу к тебе подошли. И половина других в сомнении теперь пребывает. Уверен... Не сдержался ты, поперло естество. Терпеть ты их не можешь, они для тебя единая тупая масса, и единственное их достоинство, что порой с обожанием на тебя смотрят... Когда прожектором себя высвечиваешь, тоже лжешь; когда усталое лицо делаешь — тоже. Готовишься ведь, исподволь, заранее. Это в театре хорошо, и то не всегда, а здесь разговор откровенный, а откровенно ты беседовать не умеешь, вот и эффекты нужны... Врешь, когда поешь про войну, про пострадавших ее людей, про измученную страну. Наплевать тебе на людей, на войну... Просто-напросто так надо, это приветствуется. А сердце твоё спокойно и бьётся ритмично, и нет там места для сопереживания. Пустота там и тьма. И вообще две у тебя правды. Одна для избранных, другая — для масс. А если их две, то, значит, ни одной, значит, это вранье все. Правда — она одна на все времена... И стихи твои холодные, и правильные, не согреваешь ты их, не получается, а значит, тоже они врут...

Вадим дернул болезненно щекой и умолк. Не о том он говорит и не так, и вообще зря. Хотя не им он говорил, не Ракитскому, не Корниенко, не Ире, а себе, самому себе, и все равно зря. Ну выплеснул, ну вытряхнул наружу, что не в силах удержать был. И что? Легче стало? Да где там!.. А они растерялись, даже ошалели немного, недоуменно уставились на него, как на диво диковинное, и все понять не могут, всерьёз он или играет так мастерски? Заметалась, задрожала на петлях дверь. Женька, видно, ее ногой саданул, потому что руки заняты были. Три бутылки шампанского бережно, как детей малых, прижимал он к груди.

— Вот, Володя, — радостно сообщил он. — Я принес...

И Вадим услышал тихий сдавленный стон. Обернулся. И остальные тоже, наверное, его услышали и тоже повернули головы, уставились на Наташу. Это она, посмотрев на счастливое Женькино лицо, не смогла удер-



жаться. Она глядела на него внимательно еще несколько секунд, потом, заметив, что скрестились на ней пять пар глаз, вздохнула, пожала плечами, откинулась на спинку стула, сказала ровным голосом:

— Сколько вам заплатили, Володя, за это шефское выступление?

— Мне... Что... — у Ракитского взметнулись брови, растопырились глупо глаза. С этой стороны он уж никак не ожидал удара.

— Кто вам сказал? — возмущенно начал Корниенко, он даже приподнялся над креслом.

— По-моему, сто, — все так же не глядя ни на кого, слабо усмехаясь, сказала Наташа.

— Ирка, дрянь! — Корниенко задохнулся от негодования. Медленно поднимаясь, он пепелил глазами застывшую в испуге Ирину. — Я же предупредил!

И не нашла слов Ирина, позабывала, порастеряла их все, вот сейчас, в один миг и порастеряла, когда такое страшное, ненавистью перекошенное лицо увидала перед собой. Пошевелила только губами беззвучно, заморгала часто-часто, словно внезапный ветер ей в глаза горсть пыли швырнул, и съежилась, и подняла локоть, защищаясь.

— Ты только об этом им говорила или еще о чем? — цедил Корниенко, занося руку над ней, как для удара. — Только об этом, ну?

Ира вскрикнула и закрыла лицо ладонями. И в одночасье Вадим холодок в кончиках пальцев ощутил, как всегда перед схваткой с отцом, когда упорно и терпеливо тот тренировал его, силу свою отдавая и умение. «И хорошо, — бегло подумал Вадим, делая рывок к Корниенко, — разомнемся». Нерастраченность, недосказанность после дурацкого разговора с Ракитским в нем жила. Он вскрикнул: «Стоять!», перехватил руку Корниенко и дернул на себя. Но не слаб тот оказался. С трудом поддалась его рука — тренированный директор, — и когда за спину ее решил завести, Корниенко и вовсе руку вырвал. Вырвал и крикнул осатанело:

— Не трожь! Гад!

Вадим услышал, как с глухим стуком попадали бутылки шампанского на прикрытый паласом пол, и голос испуганный Женькин услышал:

— Вы что, взбесились?!

Корниенко дернул голову в его сторону, и готово было сорваться с его мокрых губ что-то очень злое, уни-

зительное, но не сорвалось. Уж как он сдержал себя — одному богу известно и ему, но сдержал. Поднес руку к горлу, сжал его, давая звуки, давая желание. Настороженно озираясь, улыбнулся выстраданно, сказал хрипло:

— Что это мы? Как с цепи сорвались? — Улыбка стала естественней, и он погрозил шутливо побелевшему, словно высушенному вмиг, Вадиму. — Все из-за вас. Не в настроении вы сегодня. Вот и заводите всех. Ай-яй-яй.

— И ты испугался? — покривив рот мрачной усмешкой, спросил Вадим. — Боишься в глаза мне сказать, что думаешь. Что обо мне думаешь? Ненавидишь ведь меня. С самого первого взгляда ненавидишь. И боишься. За должность, за карьеру опасаясь. Журналисты здесь, разнесут еще по всему свету, и конец твоей перспективе. А для тебя это смысл жизни. — Вадим опять наливался душной липкой злобой. И принимало все вокруг изломанное, искаженное очертание: и гляцевый рояль, и толстые кресла, и овальный низкий столик. Яркий, льющийся с потолка свет тускнел, как в кино-театре перед сеансом. — Ты мошенник, ты бесчестный вредитель, ты такой же враль, как этот псевдобард. Ты не для этих ребят работаешь, кто к тебе приходит, а для машины персональной, для дачи служебной, для всего этого осязаемого дерьма. Для тебя люди тоже масса, серая и невежественная, а ты сверх, ты супер, ты их давить, ты их топтать можешь. Ты их придушил бы собственными руками... Тебя гнать надо, взашей гнать, на сотни километров к людям не подпускать... Мыльный пузырь, сволочь...

— Вадим, Вадим, хватит! — вклинился в его беспорядочную тираду срывающийся Наташин голос. — Пошли отсюда, пошли, милый. Тебе нехорошо, у тебя температура, ты заболел, гриппом заболел. Жар у тебя. Я вижу, я знаю... — Она вскинулась, подлетела к нему, погладила по волосам, по щеке, взяла за руку, потянула за собой: — Пошли, милый, пошли...

И он пошел, наклонив голову, сдвинув плечи, не глядя ни на кого, тихий, постаревший.

— Топай, топай, правдоискатель! — вполголоса бросил ему в спину Корниенко. Деланно рассмеялся Ракитский. Но Вадим даже не обернулся — зуд прошел.

На лестнице их нагнал Женька. Спускаясь, он все повторял:

— Что случилось, что случилось? Я ничего не понимаю. — И лицо у него при этом было мальчишеское, обиженное.

Машина проворно скользила по ночному уже городу, и отражался причудливыми бликами на стеклах ее, на капоте неоновый свет вывесок и печатных реклам. Гудел мотор, ненатужно, тихо, успокаивающе; трогал лицо свежий, пронзительно вкусный воздух, и Вадиму казалось, что он еще маленький и что с отцом и матерью они едут воскресным вечером с дачи. Отдохнувшие и чуть утомленные этим отдыхом, они расслабленно молчат, каждый думает о своем, отец наверняка о работе, о приближающихся буднях, о звонках из Москвы, о несданных в срок объектах; мама — о том, что бы еще прикупить на рынке или где там она еще добывает продукты; а он — о школе, о том, что всю неделю надо рано вставать, учить уроки, волноваться, вызовут, не вызовут. Но все равно настроение у него замечательное, и ему хочется напевать, и он всех невероятно любит: и маму, и папу, и дачу, и речку.

— Никак понять не могу, — вдруг сказал он с досадой. — Что на меня накатило? Ведь чушь нес, белиберду, истины банальные, ахиною, как школьник несмышленый, только-только лбом в жизнь долбанувшийся. — Он вздохнул, покрутил бессильно головой, уставился невидяще в окно.

— И верно, Вадим, — осторожно подтвердил повернувшийся с переднего сиденья Беженцев. — Почему ты так окрысился на них? Отличные ребята. Теперь всё, — он поморщился, — теперь мне путь туда заказан. Как я им в глаза глядеть буду? Ох, Вадик, Вадик...

— Нет, Женя, — тихо сказала Наташа. Она сидела, обхватив себя руками и плечом опираясь на дверцу. — Далеко не отличные. Совсем не отличные. Совсем наоборот. Лицемерные, подленькие и трусливые. Бездушные функционеры. И тот и другой...

— Но Ракитский артист, поэт, — неуверенно попытался возразить Беженцев.

— Все равно функционер, — упрямо повторила Наташа. — Артист-функционер, поэт-функционер. И нечего там делать. Лично мне нечего. Во всяком случае, до той поры, пока этот Корниенко там заправляет.

Вадим молчал, не отрывая взгляда от окна.

— Не знаю, — Женька нервно повел плечами, — не знаю. Странные вы какие-то. Оба. Что-то выглядыва-



ете, высматриваете, примериваете, усложняете. Проще надо быть. Принимает вас человек, рад вам — значит, хороший он, и нечего в глубинах потаенных копаться. Иначе свихнуться можно. Вон как Вадик...

Он осекся, сообразив, что не то что-то сказал, прихлопнул ладошкой губы, виновато посмотрел на Наташу. А Вадим опять промолчал, не заметив или сделав вид, что не заметил Женькины слова.

— Он не свихнулся, просто взбудоражен был сильно, взвинчен. Правда? — Наташа так ласково, по-матерински взглянула на Вадима, что Женька вмиг посерьезнел, сдвинул брови и отвернулся. — И поэтому так в лоб и получилось. Так нарочито и немножко по-юношески. Вы не обижаетесь на меня, Вадим? — Она легонько коснулась его руки. Данин, не оборачиваясь, покрутил головой. — Если б вы были чуть спокойней, все по-другому бы получилось. Верно?

— Конечно, конечно, — Вадим безучастно покивал. — Но надоело. Не смог. Не смог, и все тут. А, ладно. — Он махнул рукой. — Забудем. Это уже история.

Такси остановилось, с шипением притершись покрывками к тротуару.

— Вот те на, — удивился Женька. — Я уже приехал. Ну что? До свидания, мои хорошие. Не в последний раз. Еще повеселимся.

Он взялся за ручку дверцы, потом, словно вспомнив что-то, опять обернулся, как-то странно посмотрел на Вадима, потом внимательно на Наташу, спросил у нее:

— Ты домой?

— Разумеется.

— Ага, я позвоню.

— Позвони...

— Ага, — он все никак не мог уйти, все клацал никелированной ручкой. Молчаливый, пожилой, больше-лобый шофер нетерпеливо заерзал на кресле, и оно отозвалось вмиг бесцветным старческим скрипом, видать, не новая была машина. Женька опять обернулся, ишуще оглядел Наташино лицо.

— Может, зайдешь?

— Нет. — Наташа старалась не встретиться с его глазами. — Устала. Домой хочу.

— Ага, — третий раз повторил Женька. — А ты, Вадик? Зайди, чайку попьем, поболтаем, обсудим все...

Вадим молча покрутил головой.

— Ну хорошо. — Беженцев чересчур резко толкнул плечом дверь. — До свидания.

Ехали в угрюмом молчании. Что-то нарушил Женька в их и без того еще зыбких, еще непонятных им общим отношениях, пугающих неизвестностью, неопределенностью, но и притягивающих в то же время томительной сладостью этого страха. И на какое-то время ощутили они себя преступниками, еще не совершившими преступления, но целенаправленно уже готовящими его, каждый в одиночку, втайне, не сговариваясь, и которых изобличили одним махом, перед самими собой изобличили и друг перед другом тоже, вскрыли их сверхсекретные помыслы. И теперь до отчаяния неловко было даже находиться рядом, а не то что говорить или смотреть друг на друга. «Ну и пусть, ну и бог с ним, — бодря себя, думал Вадим, по-прежнему приклеившись к окну. — Она выйдет, я кивну ей. И все, и домой, и спать».

И сорвется машина с места, и растворится тонкая девичья фигурка в ночной густоте, и он не обернется даже, не махнет ей на прощание рукой, и исчезнет она из его жизни навсегда. И хорошо, и замечательно. И забудет он о ней сразу же, как только сделают колеса автомобиля первые свои обороты. Заставит себя забыть. Она же видела, как он сорвался. Слышала, как истеричным голосом изрекал он то, о чем все нормальные люди прекрасно знают, но предпочитают молчать, или намекать только, или в конце концов делать, что задумали, но не болтать попусту, выставляя себя наивным, простодушным, хотя и задиристым дурачком. И думает она, наверное, что он глуп, недалек, упрям и еще наверняка бог знает чего о нем думает. А слова все ее ласковые — это от жалости, от обыкновенной женской, даже не женской, а самой обычной людской жалости к убогим и юродивым. А он не привык, чтоб так думали о нем, никто не жалуется свидетелей своей слабости. Я знаю о них, и этого достаточно. А для всех остальных я должен быть сильным, красивым, умным, находчивым, всегда побеждающим, а если и терпящим поражение, то по своей воле, забавы ради...

Посветлели и повеселели улицы за окном, зарябило в глазах от разноцветных магазинных витрин, хотя и приглашенных к ночи, уже помертвевших, холодных, но

после полутьмы ослепляющих все же, заставляющих щуриться непривыкший глаз. Такси катило по самому что ни на есть городскому центру. Вадим оторвался от окна, прикрыл глаза, давая им возможность отдохнуть, провел осторожно пальцами по векам, вздохнул тяжело и тут же спохватился, как бы не услышала девушка еще одного подтверждения слабости его. Тоже мне, вздумал вздыхать, как меланхоличная гимназистка. Как бы невзначай, полуобернулся к Наташе, осторожно взглянул на нее, сосредоточенную, ушедшую в себя, красивую, и будто мгновенный ожог ощутил в груди — видел он ее раньше, точно видел, и именно во сне видел, только там и ни в каком другом месте. Он тихонько улыбнулся и откинулся размягченно на спинку, которая откликнулась ему сдавленным мяуканьем. А может, и не думает она о нем ничего плохого, вон как подскочила к нему там, в молодежном центре, вон с какой истовостью, с каким участием гладить, ласкать его стала. И если объяснить ей, может, поймет она все. Ведь она умная. Он видит, что она умная, да что там видит — знает. Это в глазах у нее. У нее удивительные глаза. Конечно, конечно, надо объяснить. А то опять недосказанность, неудовлетворенность в нем будут жить. Незавершенность сегодняшнего вечера будет его мучить. Незавершенность, случившаяся не в силу каких-либо обстоятельств, а по его собственной вине... Да и дома так скверно сейчас будет одному. А значит... значит, он предложит ей сейчас, Вадим весело усмехнулся в темноте, ею же «разработанный» план, — угостите чайком, давайте поговорим...

— Вот здесь, пожалуйста, — Наташа коснулась плеча водителя. — Напротив арки.

Как так? Неужели все уже? Вадим с невольным недоумением взглянул на девушку. А он ведь так и не успел толком ничего сказать, даже разговор ему нужный не успел начать. И он наморщил лоб и лихорадочно стал соображать, как поступить, с чего разговор завести, чтоб непринужденно это было, ненавязчиво, как нечто само собой разумеющееся. Но испарились слова, улетучились мысли, и лишь только вертелось на языке тривиальное: «Мы не увидимся больше?» И загорелось лицо, от стыда перед самим собой, от беспомощности, от невесты откуда взявшегося страха. Хорошо, что темно еще, что не видит она пылающих жаром его щек, его вдруг намокшего от пота лба... Он открыл дверь, нелов-



ко выкарабкался задом из машины, забывшись, в последнюю лишь секунду подал девушке руку и, стараясь не глядеть в явно ждущие каких-нибудь его слов глаза, сердито буркнул: «До свидания». Она прикусила губу, кивнула лишь и, поеживаясь от холода, то ли еще от чего, пошла к дому. А Вадим безвольно облокотился на крышу автомобиля, выдохнул шумно, потерся лбом о рукав куртки.

— Ну что, едем? — недовольно спросили из недр автомобиля.

Вадим не ответил, покачал только согласно головой, словно водитель мог видеть этот его жест, похлопал ожесточенно по звонкому металлу крыши и обернулся, чтобы посмотреть на нее, на тонкую ее фигурку в последний раз. А она еще не вошла во двор. Она стояла возле арки, сцепив внизу перед собой руки и вскинув аккуратную свою головку. Вадим радостно улыбнулся и приоткрыл было уже рот, чтобы сказать что-то, сейчас уже все равно что, неважно. Сейчас слова уже ничего не значили, главное было что-нибудь сказать. Но она опередила его:

— Чаю... чаю не хотите? — донеслось до Данина. — Не замерзли? В машине холодно?

— Хочу, — с готовностью отозвался Вадим. — Конечно же, хочу. В машине холодно, и я чрезвычайно замерз. Я просто продрог. У меня зуб на зуб не попадает.

Он вытащил из кармана скомканные деньги, нагнувшись, не разглядывая, сунул какую-то бумажку шоферу, с силой хлопнул дверцей и стремительно зашагал навстречу девушке.

Он не обхватил ее нежно и игриво за талию, когда приблизился (как раньше бывало с прежними, со многими прежними, кто нередко зазывал его к себе, такого уверенного, раскованного, симпатичного, интересного, — кто смущаясь, кто, наоборот, гордясь своей смелостью), не заглянул с притворной страстью в глаза, не стал болтать всякую рисковую остроумную чепуху. С кем угодно так можно было, но только не с ней. Но настроение у него было приподнятое и чуть шаловливое, и поэтому все-таки не сдержался он и соорудил лицо послушного мальчика, заложил руки за спину и покорно засеменял рядом...

Она никак не могла попасть ключом в скважину. Ключик, как муха о стекло, бился дробно о металл

замка и ни в какую не желал протиснуться в предназначенную для него пустоту. Вадим мягко взял ключ из холодных Наташиных пальцев и быстро справился с замком.

— Спасибо, — с легкой вдруг хрипотцой поблагодарила девушка, зажигая в передней свет.

— Одна живешь? — спросил Вадим, озираясь. Приглушенное бра на фоне темных заграничных обоев придавало прихожей вид пещеры, в которой спелеологи забыли фонарь с подкисающими батареями. Пахло чистой, духами, недавно потемневшими в духовке пирогами. Домом пахло.

Наташа наскоро поправила волосы перед небольшим овальным зеркалом, прошла на кухню.

— Не одна, с мамой, — ответила она уже оттуда. — Она в отпуске. На Иссык-Куле. Она у меня эксцентричная и жадная до нового. Каждый отпуск в разные места ездит.

— И такая же красивая, как ты? — Вадим оперся на косяк кухонной двери. И на кухне было замечательно. Поблескивал металлической окантовкой белоснежный гарнитур, пестрела разноцветная посуда, столик был укрыт яркой полосатой бело-красной скатертью.

Прозвенели тоненько и беспорядочно Вадиму в ответ сверкающие белизной чашки и блюда в Наташиных руках. Она с трудом удержала их, а то бы посыпались они, резвясь и дурачась, на темный линолеумный пол, покатались бы, прячась в укромные уголки.

— Вот безрукая, — укорила себя девушка со смущенной улыбкой.

— Так красивая? — опять спросил Данин.

— Мама? Очень. — Наташа выпрямилась и, не взглянув на Вадима, повернулась к плите.

— Такая же, как ты?

— Мама красивая, — повторила девушка. — Очень красивая. А я так, — она неопределенно пожала плечами. — Я не считаю себя красивой и даже особо привлекательной. — Она усмехнулась: — Обычная.

— Ну уж, — возразил Вадим с притворной строгостью. — Неужто не замечаешь, как на улице на тебя смотрят, мужчины смотрят, — уточнил он, — и оглядываются. Ведь оглядываются?

Она ничего не ответила и лишь улыбнулась слабо, взяла чайник со столика, поспешно поставила его на один из трех черных металлических блинов электриче-

ской плиты, но не послушался чайник, — изящный, с кокетливой крышкой, с ярко-красным цветком на боку, — соскользнул с блина, гроыхнул глухо и начал крениться угрожающе. Наташа стремительно вытянула руку, поддержала его, потянула на место, тряхнула головой, досадливо прикусила губы, сдерживая недобрые в свой адрес слова, но выпорхнули они все равно, невольно:

— Неумеха, разгильдяйка...

И, глядя на нее, Вадим вдруг поймал себя на том, что улыбается мягко, ласково, будто дочке своей, и потом через секунду, через мгновение вдруг понял, что ему хорошо, ему просто хорошо. И не тянет саднящей болью под сердцем, и не давит душная безысходная тоска, и исчезла болезненная сонливость — она исчезла и раньше, внезапно, неожиданно, и тогда надо было куда-то идти, куда-то бежать, что-то делать, все равно что, лишь бы делать, но только не сидеть в бездействии, худо становилось в бездействии. А сейчас вот и сонливости нет, и бежать никуда не хочется, и делать ничего не хочется, только смотреть на нее, долго-долго, всегда... Наташа шагнула к двери, прошла мимо, боком, боком, стараясь не задеть его и хмурясь при этом. Оттолкнувшись от косяка, он двинулся вслед за ней, все так же улыбаясь, глуповато и довольно.

Опасливо мигнула и зажглась лампа в торшере с золотистым абажуром. Наташа привычно оглядела комнату, все ли убрано, все ли на своих местах. Не удивит ли его что-нибудь, не вызовет раздражения, не отвратит. Да нет, как будто все в порядке; низкий длинный столик чист, ни единой пылинки на нем, и кресла с достоинством оберегают его с двух сторон, и диван аккуратно, без морщинок укрыт цветастым закарпатским пледом, и в книжном шкафу все нормально — ровными рядками, без зазоров, стоят на полках книжки, и комнату неярко, тепло, уютно, доверчиво освещает торшер.

— Здесь я живу, — наконец сказала девушка. — Садитесь... — Она запнулась. — Садись.

Сказала и опять не взглянула на него, куда-то за спину слова эти произнесла, и, когда он ступил к креслу, прошла мимо, опять боком, опять боясь задеть, и опять сдвинулись тонкие дужки ее бровей. Она у двери уже была, когда он удержал ее за руку, легко, но требовательно коснувшись гладкой кожи. Она не обернулась, застыла, вздернув плечики, напрягшись. Он осто-



рожно, боясь неловким, слишком настойчивым движением доставить ей даже легкое неудобство, взявшись за плечо, рукой повернул ее к себе. Податливо подчинилась она ему, но глаза не подняла. Вадим наклонился чуть, с удовольствием вдохнул свежий, пряный — так пахнет в лиственном лесу после дождя — аромат ее тела, коснулся подбородка, но девушка отвела голову, потянула на себя руку, робко, но настойчиво, и Вадим не стал упорствовать, отпустил ее, и Наташа наконец подняла голову, посмотрела ему в глаза, благодарно, ласково, будто погладила по щеке, потом стремительно поднесла пальцы к вискам, сдавила голову крепко, сказала отчетливо:

— Дура я!

И повернулась круто, и пошла к двери, и вдруг остановилась, испуганно замерев на полушаге, потому что призывно заголосил телефон. Девушка вновь осторожно обошла Вадима, приблизилась к столику, задумчиво глядя на аппарат, взяла трубку.

— Да, — сказала она.

— Я?.. — Она в упор посмотрела на Вадима, и не было в ее глазах растерянности или вопроса, жестким и твердым сделался взгляд, он словно сообщал Вадиму — вот смотри, я какая! — и она сказала небрежно: — Я одна. Ложусь спать. Спокойной ночи. Завтра созвонимся.

А повесив трубку, обмякла вмиг, съежилась, меньше ростом стала, вообще меньше стала, похудела словно, ненадолго хватило ее твердости. Обхватила плечи руками, как в машине, осторожно опустилась на краешек кресла, спросила тихо:

— Дрянь я, правда? Сама во всем виновата, всегда только сама. И с ним начала сама, и тебя зата... — привела сама. Господи, прости!

За окном влажно прошуршала запоздавшая машина. Наверно, дождь прошел за те недолгие минуты, пока они здесь. И верно, вот и на стекле крохотные посверкивающие прозрачные шарики. Дождь — это хорошо, Данин любит дождь. Особенно вечерний или ночной. Он будто смывает грязь, пыль, прилипшую за день к глазам, к мыслям, к языку. Дождь — это чудесно. Он прислушался к себе, а прислушавшись, хмыкнул удивленно — ему все еще хорошо, несмотря на Женькин звонок, несмотря на то, что Наташа поблекла, по-

тускнела, поникла, как сорванный и брошенный за ненадобностью на асфальт цветок.

— У вас это серьезно? — спросил Вадим, устраиваясь в кресле. — Курить можно?

— Кури, — кивнула она. — Я собираюсь за него замуж.

— Ух ты! — сказал он, прикуривая. — Круто.

— Ты хочешь сказать мерзко. И гадко, — она встряхнула волосами, пригладила их машинально, выпрямилась, скривив губы, то ли в неудачной улыбке, то ли в гримасе отвращения.

— Почему гадко? — Вадим пожал плечами. — Обычно. Все хотят замуж. Нет такой, которая не хочет этого. Это ваше предназначение. А ежели не хочет, больна, значит, неадекватна. — Он с удовольствием вытянул уставшие ноги. — Обычно.

— Но я же не люблю его, — сказала она ровно и буднично и тотчас умолкла, обмерев. И, удивляясь себе, посмотрела вопрошающе на Данина, визнавая, испытывая испуганными глазами, не он ли произнес эти слова, неужто это она сама, вот так, запросто, выдала потаенное, глубоко упрятанное, запретное. И Вадим видел, угадывал, знал, что помочь ей сейчас надо — словом, жестом, движением — все равно чем. Знал и молчал, и сидел недвижимый. Кончился вдруг кураж, мгновенно, разом. И неинтересно стало, и скучно. Все сделалось ясным и обыденным, и не надо было играть, очаровывать, соблазнять, как там, в молодежном центре, когда интерес подогревался близким соседством жениха и неизвестностью. И не такой уж красивой она теперь ему виделась, и не такой обаятельной. «Неужто всегда у меня так будет?» — с щемящей горечью подумал Вадим.

Нахально и протяжно засвистел чайник на кухне. Наташа вскинулась и, радуясь паузе, охая, побежала на кухню. Он посмотрел ей вслед и голько сейчас заметил, как призывно и соблазнительно просвечивают узкие белые трусики у нее под платьем, как грациозно семят ее стройные длинные ноги. Он усмехнулся мысленно, все в порядке... Он ей поможет.

Она что-то разглядела все же в нем, когда вошла, неся поднос с чашками и чайником, и расправилось ее лицо, и улыбнулась она слабенько каким-то своим мыслям. Разглядела или все про него себе объяснила там, на кухне, когда сердитый кипящий чайник с плиты сни-

мала, когда любовно чашки, розетки с вареньем, блюда с печеньем на подносе расставляла. Пустоту, безучастность в его глазах объяснила, уж чем и как — неизвестно, но оправдательное это было объяснение. Женщина, если нравится ей мужчина, всегда даже самый непристойный его поступок оправдывает, найдет подходящие причины, успокоит ноющее сердце. А то, что понравился ей Вадим, в этом он не сомневался, слава богу, был опыт, да и ощущалось это в каждом движении ее, в каждом взгляде, в голосе, чуть подрагивающем, да и вообще чувствовал он это, и все тут...

Бесшумно и плавно, будто соскользнули с подноса, перескочили чашки, блюда и розетки на квадратные, свежие, хрустящие матерчатые салфетки, устлавшие стол. Наташа замешкалась, прикидывая, куда убрать поднос, потом отставила его к стене, затем снова огляделась, словно что-то забыла, вспомнив, кивнула себе, шагнула к приземистой тумбочке у дивана, нажала клавишу магнитофона, что стоял на ней, и медленно присела на краешек кресла. Неспешно, интимно запел саксофон. Стало уютней. «Суется, волнуется», — машинально, будто о ком-то, мелькающем на экране телевизора, подумал Вадим.

— Ты, наверное, неловко себя чувствуешь? Потому что я вроде как Женина дама. Да? Мол, обман все это, — не отрывая глаз от поднесенной ко рту чашки, осторожно и тихо спросила Наташа.

Ну вот, пожалуйста, так оно и есть. Она нашла самое простое объяснение так покоровившим ее, равнодушным его глазам. Неловко, мол, тебе, потому что... Тут Вадим даже дыхание остановил, так неожиданна была мысль, поразившая его. А ведь он даже и не вспомнил о Женьке, даже не подумал о нем. Будто и не было его. Вот те на, как же так? Это что же? Так чудесна эта женщина, что заставила его забыть о друге? Или ему просто наплевать на него, как и на многих других? Он недоуменно посмотрел на Наташу и помимо воли своей сказал честно:

— А получается ведь так, что забыл я о нем... Будто и не имеет он к тебе никакого отношения.

Он засмеялся вдруг, откинулся на спинку кресла:

— Славненько получается. Славненько...

— Правда забыл? — В голосе девушки Вадим уловил едва сдерживаемые нотки радости.

— Что? — Он не понял сразу вопроса (все удивлял-



ся себе), только нотки эти приподнятые и уловил. — А... забыл, забыл. Амнезия, частичная потеря памяти... Какой сейчас год, месяц, число, — он дурашливо ухмыльнулся. — Меня зовут Авраам Линкольн, я наследник испанского престола, завтра берем Бастилию...

Наташа изучающе взгляделась в него, легонько нахмурилась, а потом успокоенная улыбка пробежала по ее губам — она опять все себе объяснила про него.

— А ведь, собственно, и нет никакого обмана, — сказала она, полупожав плечами. — Что предосудительного, если с его другом мы просто поболтаем, поговорим, о нем поговорим... Правда?

— Конечно, — с готовностью ответил Вадим. — Я с удовольствием поговорю о своем друге. Хоть всю ночь, хоть до утра. Ты мне друг, Платон...

— Он очень хороший, — перебила его девушка.

— Он замечательный...

— Он лучший из тех, кто окружал меня до сегодняшнего вечера...

— Да, сегодня он как-то сдал, — серьезно сказал Вадим. — Может, свинка у него?

— Что?

— Может, свинкой, говорю, заболел? Болезнь такая.

— Пожалуйста, перестань. — Девушка качнулась на кресле взад-вперед, опять приложила пальцы к вискам. — Не о том мы все, не о том. Время уходит, а мы не о том! — И, помедлив, добавила: — Надо было шампанского с собой взять у этих, у бардов. — Потянулась к пачке сигарет, повертела ее в пальцах. — Ты только не перебивай. Мне двадцать семь лет. Много. И я никогда никого не любила. И думала, никогда не встречу того, чье лицо видела с детства, и во сне и наяву, когда представляла свою жизнь... Всегда кто-то был, звонили, приглашали, добивались встречи... но все не то, не то. Нет близкого человека, нет твоего, понимаешь, твоего, единственного, самого-самого. А в одиночестве женщина жить не может. Биологически ей нельзя жить одной. У нее должен быть объект приложения сил. Это банально, это все знают, это уже навязло на зубах. Но это так. Только так, и никак иначе. Должен быть дом, быт, уклад, должна быть защищенность, тогда будет смысл существования. — Она говорила вымученно, казалось, выжимала, выдавливала из себя слова. «Не мне она все это говорит, себе, самой себе, повторяет

это уже не первый раз», — подумал Вадим, участливо разглядывая девушку. — Я вдруг устала решать все сама, я стала терять опору. Я оказалась не такой сильной, какой представляла. И нужен был кто-то надежный, добрый, любящий. И если уж не любимый, если уж не случилось так, то пусть хоть любящий. Надо было строить жизнь. Я встретила Женю, и он оказался лучшим из всех, кто был у меня раньше, мне не надо было тратить силы, чтобы понравиться, не надо было напрягаться, он принимал меня такой, какая я есть, с ним было просто, он был наиболее приемлемым...

«В таком случае интересно посмотреть, что за монстры у тебя были раньше», — с усмешкой хотел сказать Вадим, но вовремя сдержался. И, сдержавшись, миг почувствовал к себе острую неприязнь. Что с ним такое?

— ...Мы встречаемся почти год, втайне. Он ни с кем меня не знакомил из друзей. Боялся чего-то, может, что уведут, мне это было приятно. Вчера мы решили пожениться. Поэтому он решил снять этот запрет. И снял на свою голову, — она усмехнулась. — А месяца два назад мне вдруг стало страшно. Как же так, я прожила всю жизнь без любви, просто так, буду просто заботиться о нем, о детях, и все... Я просидела всю ночь на кровати и думала, думала... Может, все бросить, сказать ему все и уйти?.. Но тогда я своими руками сделаю еще одного несчастного. Я же приручила его. Понимаешь, приручила. Сама, методично и целенаправленно. Я готовила его для себя, для своего будущего, и я единственная, кому он стал доверять, доверять настоящему. Он же не верил ни одной женщине. Все бросали его, обманывали. Ты же знаешь, он два раза был уже женат. И они изменяли ему, насмехались над ним... Когда я его встретила, он был такой, такой... подозрительный, пугливый, застегнутый снизу доверху, замороженный. И вот оттаял, подобрел...

— Почему ты мне все это рассказываешь? — подавив зевок, спросил Вадим.

— Потому что... — Она деревянно свела губы и замолчала. И стало тихо, неожиданно тихо. И не оттого, что умолк ее голос, какие-то еще звуки исчезли из комнаты. Кто-то торопливо прошагал за окном, гулко ухнула подъездная дверь. Наташа выпрямилась, тоже удивившись, видимо, внезапной тишине. Затем, дога-

давшись, в чем дело, подошла к тумбочке и мягко на-давила на клавишу магнитофона. Вот оно что, это все-го лишь магнитофон. Щелкнула, выскочив, кассета. Наташа махнула рукой и не стала снова включать аппарат. Ни к чему сейчас была музыка. Встав вполборота к Данину, она привычно свела вперед гибкие нежные плечики, обхватила себя руками, сказала вполголоса, но твердо и ясно:

— Потому что тот, кто снился мне и кого видела я наяву, — это ты, твое лицо я видела. И теперь не знаю как быть. С Женькой я уже не смогу...

Вот так, Данин, все просто, ясно и неотвратимо. При-знайся, ты этого не ожидал. Можно было предположить флирт, интрижку, приключеньице от скуки... А здесь вот объяснение в любви, и еще какое. И ведь оно серь-ёзно и трагично, насколько может быть серьезным и трагичным истинное объяснение. Он это видел, знал, он это чувствовал, главное — чувствовал. И что же теперь?

Встать, подняться, обнять ее, поцеловать?.. Ведь это ей сейчас нужно. Но что он может сказать ей? Что? Он же не влюбился даже. И он сидел. Она ждала, а он сидел. Как приклеился. Ему показалось, что он видел ее где-то, всего-навсего показалось, и ничего больше... И это она объяснила — когда женщина любит... Поверну-лась, смело взглянула на него, подошла, опустилась медленно на колени, протянула руку к лицу его, погла-дила по щеке, по губам, по шее. А он сидел одеревене-ло и, не моргая, смотрел на нее. Она дотянулась губа-ми до его губ, горячо и влажно коснулась их. Он отве-тил на поцелуй, машинально положил руки ей на пле-чи, притянул к себе. Задрожало, как в ознобе, тело под его пальцами... И он ощутил, что минуты затишья кон-чились, и заняло тоскливо в груди, и саднящая боль медленно вползла под сердце, и стало до того скверно, что захотелось орать диким зверем... И еще он понял, что не испытывает никакого желания. Перед ним краси-вая, душистая, соблазнительная, податливая женщина, а ему все равно, ничего он не испытывает, то есть со-вершенно ничего. И похолодели пальцы, и будто измо-розью покрылось лицо, и глаза расширились от страха. Заболел?

— Не надо, — выдохнул он, отстраняя от себя жен-щину. — Ничего не надо.

И отвернулся. Он не хотел видеть ее глаз, он знал,



какие могут быть у нее сейчас глаза. И не хотел слышать ничего и поэтому выцедил из себя:

— Только молчи, только молчи... и прости. Я ухожу.

Поднялся и пошел. Вот так просто поднялся и пошел, только в груди колело, а так все нормально.

— Не уходи, — услышал он за спиной. — Я вижу, тебе плохо, я сразу увидела, что очень плохо тебе. Но мы справимся, я помогу. Не уходи...

Надо же, какая бабка-угадка, все она высмотрела, все углядела, в душу к нему забралась, в самую суть, в самую сердцевину прокралась и без спросу, без разрешения. А кто тебя просил, моя милая? Без помощников обойдемся, сами справимся, не маленькие. Плохо ему, видите ли! Да замечательно мне, прекрасно, славненько... Вот заболел только. И потому домой надо. Там страхи пройдут, там один он будет, там отлежится, и все в порядке.

— Славненько, славненько, — бормотал он, возясь с замками. Они озились словно, обиделись на хозяйку свою, противились дрожащим пальцам его, норовили все наоборот сделать. Но вот нехотя, с брезгливым лязгом отомкнулись наконец... Теперь бежать, не оглядываясь. Домой! Домой!

Ночной воздух обжег холодом. И без того лицо, руки, ноги, спина словно в инее, так теперь и вовсе ледяной коркой покроются, застынут, омертвеют, и рухнет он где-нибудь в пустом черном проулке, жалкий, беспомощный, бездыханный. И опять страх сбил дыхание, прихватил горло. Но он с усилием подавил его. Чуть, ерунда! Это ему только кажется. Он крепкий, сильный, он в норме, приболел лишь немного. Завыть бы сейчас, яростно и протяжно!

Он шел быстро, насколько позволяли уставшие, гудящие, как после сотни приседаний, ноги, и в такт шагам ожесточенно лупил себя полуонемевшими руками по бокам, согреваясь, как вымороженный француз в студеных полях Смоленщины. Почему всем чего-то надо от него? Почему все ждут от него чего-то эдакого, необычного, не как у всех? Сначала учителя в школе ждали: «Ты можешь больше, ты способный». Потом родители: «Отец в твои годы уже замдиректора был». Потом друзья, знакомые: «У тебя все есть, ты все можешь». Потом жена: «Ты не хочешь, чтобы мне было хорошо, ты не любишь меня». Потом женщины: Иры, Нины, Алены, Маши и прочая, и прочая, теперь вот

Наташа: «Надо любить, надо жертвовать, надо уметь поступиться собой». Кому надо? Зачем надо? Почему ему ничего ни от кого не надо? Почему он ни от кого ничего не требует? Он что, и впрямь на всех непохожий, а может, сумасшедший? Тихий и безвредный, параноик от рождения? Или все вокруг сумасшедшие?!

Он вдруг заметил, что кто-то вторит его шагам. Он прислушался, вправду за спиной можно было различить глухие, осторожные, но скорые, торопливые, как и у него, шаги. Улица была мрачная, притихшая, тускло освещенная. Только мостовая, по которой он вышагивал, и была видна; тротуары и тяжелые многоэтажные дома боязливо прятались в темноте. Веселенькое местечко. Что же это за улица? Он резко обернулся. Какая-то тень шагах в сорока стремительно метнулась вбок. Вадим остановился. Тишина, да и только. И никаких шагов. Опять зазнобило.

Он опасливо ступил вперед. Шагов за спиной будто и не было никогда. Значит, показалось. Ему целый вечер сегодня кажется то, чего нет на самом деле. Он пошел быстрее. Выйти бы поскорее на нормальную улицу. Еще не так уж и поздно, около часа, автобусы и троллейбусы еще ходят. И снова поспешный топот за спиной. Наваждение. А если побежать? Вадим рванул с места что есть силы. За спиной побежали тоже, грузно, всей ступней шлепая об асфальт. Будь что будет — Вадим резко остановился и круто обернулся. Кто-то очень большой, округлый проворно шмыгнул к стенам домов. Теперь было совершенно ясно, что шли именно за ним. Вот так дела. Опять похолодели руки, пальцы, и в одну точку, под ложечку, стянулись все внутренности.

— Кто ты? — звеняще крикнул Вадим. Голос придал уверенности. — Что тебе надо? Покажись, поболтаем...

Но нет, опять тишина. Значит, делать с ним пока ничего не собираются. И на том спасибо. Вадим развернулся и, вобрав голову в плечи, двинулся к высвечивающейся уже не遠далеке спасительной людной улице. Станный город, стоит отойти от центра — и будто в глухой деревне ночью. И домов хоть пруд пруди, и большие они, и современные, и днем светлые, улыбающиеся весело и приветливо, сотнями окон поблескивающие, доверчиво к небу тянущиеся. А к вечеру вот в

меланхолию, в унылость впадают, чахнут, видать, без света яркого как капризные, солнцелюбивые растения, и засыпают раньше времени, смыкая беспомощно в темноте свои глаза-оконца. Надо Женьке сказать, чтобы тиснул реплику в своей газете о скудном городском периферийном освещении. Бог мой, а может, это Женька за ним топает?! Позвонил Наташе, что-то не то в голосе ее почувствовал, решил проверить, сомнения свои унять, успокоиться. Может, и вправду он? Хорошо, ближе к свету сейчас надо, там разберемся...

Вот и Енисейская, голубовато витринами подсвеченная, чистая, влажная, умытая быстрым вечерним ливнем. Теперь можно и оглядеться. Странно. Сзади никого, справа, слева тоже. Растаял преследователь, растворился в ночи. А был ли он? Был, был, это Вадим может сказать с уверенностью. Но скорее всего случайный какой-нибудь. Полуночник, бессонницей мучимый, или любитель острых ощущений. Да мало ли кто может быть. Данин повеселел, заметил, что и озноб прошел. Вдохнул расслабленно, посмеялся, покрутил головой, зашагал к остановке. Вопреки его ожиданиям автобус подкатил быстро, почти бесшумно возникнув на свет откуда-то из укромных переулков. На остановке Данин был один. Но, когда машина, качнувшись, застыла перед ним, обдав его теплом и легким бензиновым ароматом, и когда распахнула трескучие двери, оказалось, что вместе с ним взбираются в салон еще трое: два молодых сонных парня в легких курточках и толстый пожилой дядька в тесном, кургузом, мятом пиджаке, надетом на лияющую футболку. Два парня безразлично скользнули по Данину взглядами и уселись, тесно прижавшись друг к другу. Тот, что в пиджаке, прошелся по салону, выискивая, куда бы сесть, хотя автобус был пустой, потом повернулся, пошел обратно. Данин, стоявший на задней площадке, встретился с ним взглядом, и ему показалось, что водянистые глаза дядьки засмеялись недобро, и Данин почувствовал, как опять замерзли пальцы и выстудился лоб. Дядька постоял с секунду еще, глядя на него, неуклюже повернулся и, кряхтя, уселся на краешек сиденья спиной к Вадиму. Преследователь тоже был низкий и толстый. Он? Подойти, спросить? Схватить за грудки, встряхнуть? Нет, я определенно рехнулся... Спокойно, Данин, спокойно. Ты устал, прихворнул немного, вот и нервничаешь. До своей остановки Вадим



простоял, крепко вцепившись в поручни. Когда разъехались двери в разные стороны и надо было выходить, он с трудом оторвал пальцы от металлической трубки. Вадим спрыгнул на тротуар, двери потянулись друг к другу, а дядька даже и головой не повел. Не он! Вадим побрел к дому. Следующая остановка была рядом. С места, где стоял Данин, можно было видеть, как автобус опять остановился и дернул дверцами. Кто-то вышел из машины. Но кто — разглядеть было трудно. Ему показалось, что это был дядька в тесном пиджаке. Вадим побежал... Подъезд. Лифт. Недолгая суeta с ключами. Наконец дом. Знакомые запахи. Успокаивающий свет. Ощущение крепостной стены, защищенности. Вадим медленно опустился на табурет возле вешалки, помассировал лицо, горячее, противно покалывающее, как после долгого дня на пляже. Устал. Зверски устал. В душ — и спать. Внезапно загудевший лифт заставил вздрогнуть. Вадим поднял голову, прислушался. Лифт спустился до первого этажа и двинул обратно. Остановился. На его этаже! Шаги, тихие, крадущиеся; дверь тонкая, не обитая, — слышимость претотличная. Вот они стихли совсем рядом. Кто-то стоял по ту сторону двери, всего в каком-нибудь метре от Вадима. Данин замер. Сердце неистово таранило грудную клетку. Затекала, онемела нога, но он не в состоянии был ею пошевелить. Он оцепенел. Время остановилось. Вдруг Данину показалось, что он поймал через дверь взгляд преследователя. Вадим чуть не вскрикнул от ужаса... И опять шаги, мягкие, едва слышные, удаляющиеся. Нудный гул в лифтовой шахте. Все кончилось. Вадим с трудом встал, боясь не шуметь, осторожно, как индеец на тропе войны, прокрался в комнату, подошел к окну, но вовремя вспомнил, что оно выходит на улицу, — подъезда не видно. Тогда он повернулся, прошел на кухню, ухватил стоявшую у стены громоздкую гладильную доску — подарок мамы, — приволок ее в прихожую и подпер входную дверь. Потом бесшумно разделся в комнате, забрался в постель, натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза. Через час он заснул.

Как скверно, что он проснулся так рано. Проспать бы весь день. Да что день, неделю, месяц пролежать бы в забытии, как медведь в берлоге, не слышать и не видеть никого и ничего. А там, глядишь, решилось бы все и без него. Он накрыл голову подушкой, в ушах звене-

ла тишина, но сон не шел. Он заставил себя думать о приятном: о работе, о Румянцеве, о книжке очерков, но тщетно. Мысли разбегались, и перед глазами настырно появлялись Лео, Можейкина, Уваров, дядька в пиджаке, протягивающая к нему руки Наташа, целящийся ему в голову гитарой Ракитский...

Он сбросил одеяло, вскочил, морщась от головной боли, сел на кровати, вздохнул глубоко несколько раз, поднялся, прошаркал в ванную...

Есть не хотелось, да и нечего было, кусочка хлеба даже не желтело в хлебнице. Он, кряхтя, оделся. Отставил гладильную доску от двери, опасливо вышел на лестничную площадку, внимательно осмотрел кафельный пол, словно надеясь увидеть следы вчерашнего гостя, вяло усмехнулся и нажал кнопку лифта.

Пока ходил по ближайшим магазинам, не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Он неумело перепроверился несколько раз, то глядел в отражение витрин, то резко разворачивался и шел в обратном направлении, то неожиданно припадал к кроссовке, якобы поправляя шнурок, но не заметил никого. Один раз, правда, встретился взглядом с молодым узколобым парнем, и тот излишне быстро опустил глаза и юркнул куда-то за спины прохожих. Но это могло быть обыкновенной случайностью. Однако ощущение неудобства и неизвестно откуда исходящей враждебности не пропадало. Он зашел на почту, решил дать телеграмму Ольге, чтобы та позвонила. Как они там? Как Дашка? Уже написал адрес на бланке и текст, но спохватился вовремя — таким образом могут узнать, где его жена и дочь. Так что надо будет заказать телеграмму по телефону.

Открыв дверь в квартиру, распахнул ее, но сразу не вошел, постоял, прислушиваясь, — в кино частенько показывают, как герой переступает порог, а там его уже поджидают злорадно усмехающиеся недруги, — но в квартире было пусто и тихо. Вадим позавтракал и опять завалился на диван. Отдохнув минут двадцать, позвонил на почту и продиктовал телеграмму. До вечера им владела привычная уже, изнуряющая маета. Читать он не мог, писать тоже, мелькающие тени на телевизионном экране вызвали злобу. Он то лежал, то нервно мерил шагами комнату. Потом позвонил Женька и, как бы между прочим, будто это его совсем не касается, справился, не заходил ли Вадим вчера к На-

таше в гости; если не заходил, то не зазывала ли она его, Вадим только отрицательно мычал в ответ. Тогда Женька равнодушным голосом сообщил, что во вторник они подают заявление в загс. «Поздравляю», — с усилием пробормотал Данин. Потом они еще помолчали, а потом Женька тускло сказал: «Звони», — и повесил трубку. Данин швырнул подушку в угол комнаты и накрыл голову одеялом.

Следующий день начался отвратительно. Едва успел он отхлебнуть первый утренний глоток густого, совсем небожно опаляющего язык и нёбо, кофе, затарахтел сорвавшимся вдруг голосом телефон. Неужто недобрые известия старый мудрый аппарат почуял и задрезжал так сипло от волнения. Нехотя, неслышно, для проформы решил посигналить, авось не услышат, авось не снимут трубку с его темени. Но услышан был слабенький, боязливый зов его.

— Не умеешь веселиться, приятель, — все тот же насмешливый, ровный голос. Они! Вадим безвольно опустился на диван. — Таковую дамочку оставил позавчера, вкусненькую, уютненькую. Обидел, обидел. Пошто обидел-то, аль не мила тебе? — В трубке сухо хохотнули и проговорили нараспев: — И заспешил он в мерзлую ночь...

Ну, как тут не понять, на что намекала эта сволочь. Это их толстяк топал за ним! Пугают. Их толстяк... Да кто же эти «они», черт их драл бы, гадов?! Вдруг ярость накатила, заглушив и страх, и сомнения. Потом наверняка все вернется на свои места, но сейчас только ярость владела им.

— Да пошел ты на....., сука! — остервенело отчеканил Вадим. — Фантомас доморощенный! Падаль, гнида! Окупится все это еще тебе и твоим дружкам, поплачете еще по волюшке в сырой-то камере, пожрут вас вши в колымских лагерях, наплачетесь еще, мерзавцы! Храбрые больно... А что, ежели телефончик сейчас твой уже установили? — Вадим зло засмеялся. — И спешат к тебе уже желтые машины с сиренами...

В трубке расхохотались:

— Ну, фантазер ты, братец. Я же все знаю, я каждый шаг твой знаю. И хвалю, хвалю... Пай, пай-мальчик ты. Да, кстати, Витюша-то заявление оставил в четырнадцатом отделении, с приметами, с примерными, правда, до поры до времени, конечно. И свидетелей уже опросили.



Ну вот и все. Вспышка прошла, послабела ярость, унялась, а через секунду и вовсе испарилась, усталость ее заменила. Усталость и безразличие.

— Ну что тебе надо? Что ты вызываешь все? — массируя затылок, медленно сказал Вадим.

— Чтобы ты молчал, — холодно и отрывисто проговорили в трубке. Время шутливого тона кончилось. Пришла пора серьезного разговора. И все-таки смешно все это, Вадим кисло усмехнулся, как в дешевом кино... Смешно, если бы не было так страшно. Надо будет узнать, действительно ли в четырнадцатом отделении есть заявление таксиста.

— Я и так молчу, — безучастно сказал Вадим. — Причем давно.

— Мне надо, чтобы ты не сорвался, пока все не утихнет.

— А мне надо, чтобы ты сдох, — вяло заметил Вадим.

— Ну это мы еще поглядим, кто раньше, — Данин впервые уловил в голосе нотки раздражения. — И еще. Не проколись на фотографиях.

Вадим крепко сдвинул трубку. «Можейкин», — пронеслось в мозгу.

— Каких фотографиях? — удивление получилось почти естественным.

— Те, что милиция предъявлять будет.

«Точно, Можейкин. Но почему?»

— Разберемся, — вслух сказал Вадим.

— Ну-ну. Теперь совет. Выкинь сумку. Не держи дома. Мало ли что, вдруг с обыском прикатят. Найдут — не отмоешься.

— С чего это мы такие добренькие?

— Ты еще понадобишься.

— И поэтому ты меня охраняешь с помощью одного толстого идиота. Убери его, а то я разобью ему его тупую рожу.

В трубке хмыкнули:

— Разберемся... А лучше уезжай. Увольняйся и уезжай.

И вслед писклявые гудки.

Вадим задумчиво потер трубкой лоб и только потом осторожно опустил ее на рычажки. Что-то не складывается во всей этой ситуации с изнасилованием, с Лео... Не логично как-то выходит. Получается так, что Можейкин с ними заодно. Но это же нелепо. Муж

заодно с насильниками своей жены. Или Вадим ошибается в своих предположениях, и «Фантомаса» предупредил о фотографиях, об опознании кто-то другой. Но не сам же Уваров? А впрочем, мало ли людей в отделении трется, — как-то где-то случайно... Но почему тогда Можейкин и сама Можейкина приходили в квартиру Лео?.. Пойдите, пойдите, значит, они все друг друга знают. Можейкины, Лео, его отец... Его отец... Как он смотрел на меня, словно знал, кто я, словно на всю жизнь хотел меня запомнить. Та-а-ак. Понятно. Понятно, что ничего не понятно.

Вадим хлопнул себя по коленям, поднялся. Хватит думать об этом. Все. Забыли. Так и рехнуться можно. Пусть сами разбираются. Хватит! Господи, как ноет сердце. И как все скверно, скверно, скверно...

Не дал ему беспокойный аппаратик и шаг от себя ступить. Опять позвал, и опять не звонками, а всхрапами простуженными. Так и на работу опоздать можно. Сорокин не простит.

— Доигрались! — Голос у Уварова был возбужденный и злой. — Я предупреждал.

— Что еще? — И Вадим снова плюхнулся на диван.

— Исчезла Можейкина. Муж заявил. Только что ушел от меня. Утром в субботу пошла прогуляться, в тапочках и сарафанчике, и с тех пор как в воду...

— Боже... Но так ведь сам Можейкин... — Вадим прикусил губу.

— Что сам Можейкин?

— Нет, ничего.

— Что Можейкин? — рывкнул Уваров. — Договаривайте!

— Он... Он должен знать, что она немного того... — Вадим с трудом выискивал слова, а про себя ругался на чем свет стоит. — И нельзя было отпускать ее одну.

— Эх, вы, — в сердцах бросил Уваров, и Вадим машинально представил, как тот безнадежно махнул рукой. — Я-то, наивный, думал, что вы решитесь.

— На что? — невинно спросил Данин.

— Вы же знаете что-то, может быть, даже главное, основное. Я же с самого начала видел, что знаете. Я же говорил вам: подумайте, подумайте. Зло должно быть наказано, иначе оно породит новое зло, иначе мы утонем в нем. Да что вам повторять банальные истины, сами все прекрасно понимаете, не недоумок же вы в конце концов?

— Не знаю, о чем вы? — упрямо сказал Вадим.

Уваров замолчал. Вадим слышал, как тот чиркнул спичкой, затянулся:

— Ну да ладно, вы сами себе судья, Вадим Андреевич, я думаю, гораздо более беспощадный, чем тот, что в суде народном. До свидания.

— Погодите, — спешно остановил его Вадим. — Погодите... Выяснили что-нибудь новое о насильниках, если не секрет, конечно?

— Ищем Спорыхина, — без особого энтузиазма ответил Уваров. — Его нет в городе. Но найдем, найдем, если он еще жив.

Вадим неожиданно поперхнулся на вздохе.

— Это что, так серьезно? — тихо спросил он.

— Серьезно, — жестко сказал Уваров. — Вы что, еще не поняли? Вы что думаете, и Можейкина просто заблудилась?

— Да что вы меня все пугаете, — Данин попробовал беспечно рассмеяться, будто ему рассказали забавный анекдот. — Или у вас метод такой?

— Извините, я спешу, — сказал Уваров. — До свидания.

И повесил трубку.

Преувеличивает Уваров, успокаивая себя, подумал Вадим, не может смириться, что так и не вытянул ничего из него, и вот теперь хитрит: то таинственный вид напускает, то повышает голос, якобы горячась, якобы болея всей душой за дело и вынуждая Вадима тем самым заразиться его стремлением к справедливости и рассказать ему в импульсивном порыве все, что знает. Ишь ты, «Если Спорыхин жив»... «Можейкина пропала не просто так...». Болтун! Вадим, вздохнув, поднялся, взглянул на часы, ужаснулся, увидев, что уже начало одиннадцатого, торопливо направился к двери, сорвал куртку с вешалки, суетливо погремел замками и вышел.

Это просто тебе так хочется, чтобы он был болтуном. Вадим вошел в лифт, нажал кнопку первого этажа, тебе так легче, спокойней, ты умеешь с собой договариваться, наловчился делать выводы, которые тебе выгодны, которые не трогают, не задевают тебя. А если это все правда, что говорил Уваров? И ему стало жарко в темноватом прохладном лифте и показалось, что даже пот скорыми обильными струйками потек по спине.



— Вы выходите или поедете обратно? — строго спросил его кто-то.

— А? Что? — не понял Вадим. Оказывается, двери уже отворились, и перед ним, не решаясь войти, стоял пожилой мужчина в белой, застиранной рубашке на-выпуск. Лицо у него было распаренным, мокрым. В обеих руках, напрягшихся, со вздутыми венами, он держал авоськи, до отказа набитые апельсинами. Куда ему столько?

— Да, да, конечно, выхожу, извините.

Солнце ударило по глазам, и выбелилось на миг все вокруг, потеряв краски и очертания. И загудело в голове от раскаленного воздуха, и Вадима шатнуло в сторону. Вот что значит больше суток без движения просидеть в квартире. Захотелось пить. Магазин был рядом. Там, кажется, продавали соки в разлив. Вадим двинулся к нему. Глаза уже привыкли к свету, и видел он все отлично, но все равно каким-то образом умудрился наткнуться на худощавую, усталую женщину. Она вскрикнула и выронила сумку на асфальт.

Вадим поспешно нагнулся, извиняясь, подал ей сумку. Женщина слабо кивнула и пошла дальше. Вот те на, а он и забыл про сумку Можейкиной. Вернуться? Взять ее с собой? Спрятать где-нибудь? Выкинуть? А где спрятать? Вадим невольно огляделся, будто где-то здесь рядом можно было найти место, где он смог бы надежно укрыть эту треклятую улику. Внезапно он поймал чей-то взгляд, напряженный, изучающий. Кто это был? Настолько мгновенно все произошло, что он не успел разглядеть обладателя таких пытливых глаз. Люди, люди вокруг, десятки, сотни. Как тут успеешь. Выходит, что опять за ним смотрят. Вадим выругался про себя. Все раздражало. Недобрыми и враждебными казались люди, угловатыми, неуклюжими дома, пропыленными, блеклыми деревья; машины выводили из себя ставшим вдруг невероятно громким, оглушающим рокотом моторов. Он не заметил, как очутился в магазине около прилавка с соками.

Толстая продавщица безучастно спросила:

— Что вам?

И он недоуменно посмотрел на нее. Какого черта ей надо от него? И вообще, что он тут делает?

— Как вас зовут? — вдруг спросил Вадим.

— Жанна, — с туповатым изумлением ответила продавщица.

— Очень красивое имя, — сказал Вадим, покачивая головой, потом повернулся и пошел к выходу.

Продавщица покрутила у виска пальцем.

Пожалуй, сумку пока лучше не выносить из дома. Что, если «Фантомас» сказал ему о ней специально, чтобы он, испугавшись, прихватил сумку с собой, а потом где-нибудь в темном переулке встретили бы его безликие парни... Может, вправду все чрезвычайно не просто? Подойдя к остановке автобуса, Вадим оглянулся на магазин. Зачем он все-таки заходил туда?

Войдя в гулкий, просторный и прохладный вестибюль института, порадовался, что не один он опаздывает. У лифтов скопилось с десяток нетерпеливо переминающихся сотрудников. Как всегда он кому-то кивнул в ответ на приветствие, с кем-то поздоровался громко, кому-то подал протянутую руку. А кому? С кем? Даже и не обратил внимания, даже и не различил физиономий. Все они были сейчас на одно лицо. А только ли сейчас? Ведь всегда он видел в коллегах только лишь похожие друг на друга одушевленные механизмы, когда справно, а когда и спустя рукава исполняющие свои обязанности. Как там у Чехова? «На тысячу глупых у нас приходится один умный». А кто сказал, что я умный? Я сам? Без устали, изматывающее сердце. Надо как-нибудь сходить к врачу. Как-нибудь. Потом. Неизвестно, когда наступит это «потом».

Длинный коридор на его этаже безмолвствовал, отдыхал от утреннего топота и гвалта. За дверями глухо стучали машинки, монотонно бубнили что-то приглушенные голоса. Стеклянно вызванивала фрамуга на окне.

Вадиму показалось, что Марина вздрогнула, когда он вошел. Она улыбнулась ему и приветственно махнула рукой. Один из «двойняшек» — второй, как ни странно, отсутствовал — (который отсутствовал, Татосов или Хомяков, Данин так и не разобрался) — аккуратно наливал себе в чашку кипяток из электрического чайника.

— Где Левкин? — спросил Вадим, с удовольствием усаживаясь на стул.

— В отпуске, — сказала Марина. — С сегодняшнего дня, домик свой благоустроить поехал. В Рытово.

— Понятно, — сказал Данин. — Садовод, значит. Нынче все садоводами заделались. Нынче мода такая,

с землей чтоб на «ты» разговаривать. Клубничка, редисочка. Полезное дело. И радость-то какая, тишина, чистый воздух. И, главное, что свое, не чье-нибудь, а свое, кровное...

— И государству выгодно, — словно не замечая его тона, вставила Марина.

— Выгодно, — согласился Вадим, раскладывая на столе бумаги, папки, справочники. — И приятно. Вишь, какие развеселые, светящиеся в пятницу с работы срываются. Тянет их всех к земле. У большинства же кровь крестьянская. А какие понурые, мрачные по утрам к рабочему месту идут, будто тягачом волокут их, а они упираются, упираются... А скажи, живите, мол, товарищи, тут круглый год, выращивайте фрукты, овощи, раз нравится, раз радость этот труд вам приносит, возмущаться, загорланят, что же мы, крестьяне, что ли? Мы городские, мы антилехенты, у нас образование, и опять на ненавистную работу поволокут себя, кривясь. У нас, по-моему, больше половины института садоводы?! А? — обратился он к Марине.

— Больше половины, — всматриваясь в Данина, подтвердила Марина. — Ты чего злой? Ты вообще в последнее время злой и дерганый. Тебе надо отдохнуть.

— Вы тоже садовод? — Вадим повернулся к «осиротевшему» Татосову или Хомякову. Бесцветное гладенькое лицо того осталось непроницаемым, длинный тонкогубый рот звучно прихлебывал чай. И только в глазах Вадим уловил злорадство. С чего бы это?

— Вы садовод, — уверенно сказал Вадим. — И причем с детства. Вон руки какие широкие, короткопалые, темные от въевшегося чернозема. — Левая рука Татосова-Хомякова, та, что была свободна, стыдливо шмыгнула под стол. — И, приезжая на участок, вы сбрасываете с себя ненавистный костюм, с омерзением откидываете галстук, с умилением надеваете поношенные, просвечивающиеся, вытянутые на коленях тренировочные штаны, заштопанную на локтях рубашку, становясь собой настоящим, потирая руку, пьянея от восторга, напроць уже забыв об опостылевшей работе, урча как голодный кот перед обильным угощением, прыгаете в огород...

— Вадим, — попыталась остановить Данина Марина, но он и не взглянул в ее сторону.

— Верно, товарищ Татосов?



— Я не Татосов, — гася ненавидящий взгляд, сказал Хомяков.

— Тем более, — Вадим хлопнул ладонью по столу. — Вы ведь не горожанин, Хомяков, — Вадим сузил глаза, как пронизательный следователь на допросе рецидивиста. — Откуда вы родом?

— Вы меня уже спрашивали об этом, — процедил Хомяков, и желваки на скулах у него ретиво забегали.

— Да? — удивился Вадим. — Не помню. Но неважно. Так откуда же?

— Вадим, хватит! — крикнула Марина. — Ты что, пьян?

Хомяков хмыкнул и, помедлив, заметил с тихой вкрадчивостью:

— А ведь у вас самого, как мне известно, участок имеется...

— А вам какое дело?! — тут же вскинулся уличенный Данин.

— Успокойся, — сказала Марина обессиленно. — У тебя впереди еще куча всего. Мне надо сказать тебе кое-что важное.

— Говори, — безразлично произнес Вадим.

Марина едва заметно показала глазами на Хомякова.

— Пойдем в коридор, — предложила она, поднимаясь. — Там прохладно. И тихо. И никому мешать не будем.

— Там негде сидеть, а я устал, — капризно протянул Вадим и нарочито небрежно развалился на мягком стуле. — А почему бы товарищу Хомякову не оторваться от своей замечательной, тщательно оберегаемой чашечки. Вы, кстати, бы ее цепью к ножке стола приковали. Нет, лучше к радиатору отопления...

— Вадим, — опять оборвала его Марина и сделала осуждающую гримасу, легонько постучала себя пальчиком по лбу.

— И все же, товарищ Хомяков, — Вадим выпрямился и говорил теперь строгим, официальным тоном. — Соблаговолите покинуть помещение во избежание скандала и, не исключена возможность, отвратительной потасовки. — Он с трудом сдерживал смех, он давился им, и в уголке левого его глаза вдруг вспухла крохотная слезинка.

— Да что с тобой наконец? — не сдержалась Марина. — Что ты привязался к человеку...

— Не защищайте меня, Марина Владимировна, — подал голос Хомяков. Он деловито завернул в хрустящую пергаментную бумагу сполоснутую кипятком чашку, спрятал ее в стол и два раза крутанул ключиком. — Я сам могу постоять за себя.

— Ого, — сказал Вадим.

— А что касается того, что вы хотите конфиденциально сообщить товарищу Данину, так я уже в курсе. Все уже в курсе. Только один товарищ Данин не в курсе. Потому что он привык опаздывать на работу, потому что он думает, что ему все дозволено. Другим не дозволено, а ему — пожалуйста. — Хомяков дернул губами и опять с усилием пригасил взгляд. — И если вам, Марина Владимировна, не совсем приятно сообщать эту новость, то за вас это могу сделать я.

— Да нет, не надо, спасибо, — растерянно поблагодарила Марина.

— Ну-ка, ну-ка, давайте, любезный, — посмеиваясь, проговорил Вадим.

— Завтра состоится заседание месткома, — Хомяков сделал паузу, потому что больших усилий ему стоило впервые за все время знакомства не отвести взгляда и не опустить скромненько головку к груди. — Где будет разбираться поведение товарища Данина. Ко всем прочим его «геройствам» прибавилось и еще несколько достойных внимания фактиков. И порядочные люди не позволят себе пройти мимо них. И как ни прискорбно, заседание это может кончиться не просто внушением или выговором, но и кое-чем похуже.

Хомяков неторопливо встал, презрительно сжал губы, убийственно, как ему, верно, казалось, взглянул на Вадима, победительно вскинул голову, так что бросились в глаза густые кустики волос, торчащие из его ноздрей, и с достоинством покинул комнату.

Вадим хмыкнул, показал вслед Хомякову язык и повернулся к Марине:

— Что за чушь он здесь нес?

— К сожалению, не чушь. — Марина тихо вздохнула и полезла в сумочку за сигаретами. — Так оно и есть. Помимо опоздания, помимо случая с Кремлем, помимо жалоб на твое не совсем учтивое поведение, появились еще и анонимки.

— Что за вздор? — Вадим медленно стер улыбку и брезгливо прищурился. — Какое поведение? Я никогда ни с кем, кроме как с улыбочкой, с шуточкой...

— Вот именно, с улыбочкой, с шуточкой, как сегодня...

— Анонимки какие-то, — Вадим пожал плечами. — Какие анонимки? О чем?

— О пьянстве и разгульной жизни...

— Что? — Данин подался вперед. — Да бог с тобой... Бред какой-то.

— Не бред, — возразила Марина, она затыгивалась скоро, порывисто, как студент перед звонком на лекцию. — Просто тебя не любят.

— Не любят... не любят... — повторил Вадим, старательно выбивая пальцами дробь на столе. — А кого любят? Татосова? Хомякова? Сорокина? Кого любят? Да всех не любят, и тебя не любят. А? Нет?

— Не любят, но вреда не желают, а тебе желают.

— Но отчего, отчего?

— Потому что видят, что они для тебя ничто, потому что смеешься над ними, потому что ходишь вальяжно, да просто потому, что ты — это ты, а они — это они. Не такой. Непонятно?

— Понятно. И ты тоже?

— Что тоже?

— Ну не любишь?

— Вадим, я серьезно, — с неумелой строгостью сказала Марина.

— Уж куда серьезней.

— Тебе не обо мне сейчас думать надо, а о том, как защищаться.

— Фу, глупость. Да никак не защищаться. Да плевал я на них. — Он ухмыльнулся, — а я не приду, я заболелю...

— А потом ведь опять.

— Ерунда, обойдется, — он устало махнул рукой. — Разберемся. И хватит об этом, надоело, — но он все-таки досадливо дернулся. — Надо же... Праведники.

— Я уже кое с кем поговорила. — Марина нервно растерла недокуренную сигарету в пепельнице. — Есть достойные люди.

— А вот этого не надо, — Вадим вытянул вперед ладони. — Сами уже как-нибудь. Худо бедно, а головка имеется.

— Ну, хорошо-хорошо. Забыли до завтра.

В половине второго он оторвался от бумаг — работалось, как ни странно, в охотку — потянулся сладко, осмотрелся, комната была пуста. Вспомнил, что Мари-



на говорила что-то про соседний универмаг. А коварный Хомяков, видимо, гуляет по бульварам с Татосовым. Они каждый обеденный перерыв гуляют по бульварам и, опасливо озираясь, вполголоса о чем-то беседуют. Строят планы грандиозного ограбления? Размышляют, как бы удрать в пампасы от постылой жизни? Желудок был пуст и, несмотря ни на что, требовал к себе внимательного отношения.

Вадим спустился на третий этаж, приблизился к стеклянным дверям светлой огромной и, несмотря на величину, уютной, ухоженной столовой и неожиданно остановился. Сколько людей! Сидят, стоят, бегут, жуют, чавкают, глотают, потеют, спешат, говорят, хохочут. И почти половину из них он знает. И никому, то есть совершенно никому из них, нет до него дела, и ему нет дела ни до кого из них. Деревьям в лесу больше дела друг до друга, чем им.

— Да плевать я хотел, — пробормотал Вадим, невольно пятясь назад. — Разберемся, все будет славно.

За полчаса до конца рабочего дня Марина засобиралась вдруг, вскинулась с двумя толстыми сумками, объяснила, смущенно улыбнувшись:

— Опаздываю, надо маме с проводницей продукты передать. Дефицит. Мама любит вкусно поесть, со всем как ты.

Вадим вспомнил, что Марина родом из поселка в двухстах километрах отсюда, там мать, сестра. Поравнявшись с ним, женщина наклонилась, прошептала скороговоркой:

— У меня в ванной с краном что-то. Зашел бы сегодня.

Вадим внимательно посмотрел на нее и неожиданно для себя кивнул:

— Зайду. В семь. Нет, в полседьмого.

— Правда? — выдохнула она недоверчиво.

Вадим опять кивнул.

Татосов с Хомяковым о чем-то пошептались, поглядывая в сторону Вадима, и через пятнадцать минут тоже ушли, хотя дисциплинированный Хомяков возражал и упирался. А без пяти шесть раздался голос «ворона» — черного местного телефона, сорокинского.

— Зайдите, — коротко обронил Сорокин.

Он вошел в кабинет спокойно, уверенно, с легкой, фатоватой ухмылочкой и напоминал сейчас себе храброго поросенка Наф-Нафа из известной сказки, который совсем не боялся волка и любил напевать про это песенку. Вадим, правда, песенку не напевал, но слова ее вертелись у него в голове, и оттого, подойдя к столу, он ухмыльнулся шире: и, заметив такую наглую гримасу на лице подчиненного, Сорокин поморщился и решил начать сразу, не замазывая поначалу расплывчатыми фразами истинную суть предстоящей начальственной беседы. Вадим же без приглашения уселся на стул напротив, подвинул к себе газету и, не стесняясь, принялся изучать программу телевидения.

— Вы, наверное, уже все знаете? — начал Сорокин.

— О чем? — с готовностью отозвался Вадим.

— Завтра профком. Разговор будет идти о вас.

— Да, слышал краем уха. Болтал кто-то. Не помню.

— Разговор будет серьезный и неліцеприятный. — Сорокин сцепил пальцы в замок. — Вам будет очень и очень не по себе. Так же, как и всем нам. Очень много нелестного в последнее время говорится о вас. Поступают жалобы на вас и из других организаций. К тому же есть сведения, что вы замешаны в не совсем красивой истории с изнасилованием, что вами интересуются прокуратура и милиция. Есть сигналы, и половина из них уже проверена, что вы ведете аморальный образ жизни, пьете, встречаетесь с не совсем порядочными женщинами...

Вадим негромко рассмеялся. Конечно, можно было сейчас поспорить, постучать себя по груди, потребовать, мол, позвоните в прокуратуру, в милицию, узнайте, каким таким боком я замешан в изнасиловании, можно было бы настоять на установлении авторов анонимок, на самой тщательной проверке фактов, изложенных в них, и, кто знает, может, все и обошлось бы. Но он понял, что ничего этого не скажет. Не сможет. Не пересилит себя, не получится. Как ни старайся, а не получится.

— И зачем вы мне все это говорите? — без всякого интереса спросил он.

— Пока обо всем знают несколько человек. А завтра будет знать весь институт. Разнесут по городу. Вам трудно будет работать. И еще труднее будет найти другую работу.

— А-а-а, — протянул Вадим, словно догадался о чем-то. — Вы хотите, чтобы я написал заявление по собственному? Да?

У Сорокина втянулись щеки и несколько раз пульсировали желваки. Он промолчал.

— Ну что ж, — просто сказал Вадим. — Извольте. Бумажкой не подсобите.

— У вас в кабинете много бумаги, — глухо проговорил Сорокин.

— Ну нет уж, — весело отозвался Данин. — Я бы хотел здесь. Мне так удобней.

Данин запросто пошуровал на сорокинском столе, нашел чистый лист, вынул ручку, быстро написал заявление с завтрашнего дня, лучисто улыбаясь, подал его Сорокину. Тот, не глядя на Вадима, пальцами взял мелко вздрагивающую бумагу и тут же отложил ее на край стола.

— Все? — спросил Вадим, не переставая солнечно улыбаться. — У меня, простите, плохой почерк, но, думаю, поймете. Там всего одна фраза и подпись. А на чье имя написано, вы и так знаете. Могу идти? Или позволите все же в глаза вам взглянуть?.. Нет? Да? Не желаете. Ну, прощайте.

И Вадим поднялся, потянул пиджак за лацканы, чтобы сел плотнее, чтобы ощутили мышцы жесткую заморскую его ткань. Данин ловчее, свободнее себя чувствовал, когда вещи чуть маловаты были, когда чуть стягивали плечи, спину, когда слегка движениям мешали, потому что оттого движения четче, резче, красивей становились. И сейчас Вадиму очень важно было, чтоб уверенным, сильным, насмешливым он виделся. И так оно и было, наверное, потому что, настороженно скользнув по нему взглядом, Сорокин опять заговорил и теперь уже совсем тихо и с трудом:

— Нам с вами было бы тяжело работать, и чем дальше, тем хуже. Хотя, казалось бы, кто вы мне — один из многих. Но... — Пальцы его подхватили карандаш и рьяно терзали его, словно хотели разодрать в щепы. — Плюс ко всему жалобы, письма. Да и вам самому ни к чему огласка...

«Оправдывается, — с легким удивлением подумал Вадим. — Впервые вижу и слышу. Тем более передо мной. Странно. Не укладывается в его характер никак. Или мы его плохо знаем? Или это не его решение? — Вадим, сузив глаза, внимательно взгляделся в Соро-



кина. — Не его решение... Не его решение. Чье же?»

— Вы Можейкина знаете? — не дослушав Сорокина, отрывисто спросил Данин. Последние дни Вадим никак не мог определить, кого же ему напоминает Сорокин своей готовностью выпрямиться или же в нужную минуту подобострастно согнуться. А вот теперь вдруг вспомнил. Можейкина!

— Что? — выдохнул Сорокин. Толстенный карандаш вывалился из его пальцев и глухо шмякнулся о стекло. — Кого?

— Можейкина, — вкрадчиво произнес Вадим и наклонился, опершись руками на стол, попробовал заглянуть Сорокину в лицо.

— Не слышал, не знаю, — медленно, почти не раскрывая рта, произнес Сорокин. Веки его дрогнули, налились вмиг краснотой, отяжелели и, казалось, совсем скрыли глаза. — Не знаю, — повторил он с нарочитой неспешностью, взялся за какую-то папку на столе и положил ее перед собой.

— Правда? — выпрямляясь, почти искренне удивился Вадим. — А он рассказывал, что знает вас. Ошибся, наверное, перепутал...

— Наверное, — ответил Сорокин, весь, казалось бы, сосредоточенный на крепко завязанных тесемках папки.

— Я непременно скажу ему об этом. — Вадим предъявил свою самую наглую ухмылку, развернулся, сунул руки в карманы брюк и, не прощаясь, пошел к выходу.

В приемной весело и призывно почмокал губами и подмигнул некрасивой, широконосой секретарше Нине и, получив в ответ осуждающий взгляд, громко расхохотался.

В комнате улыбка в одночасье сбежала с его губ. Лицо словно высохло, омертвело. Он ощутил, как натянулась кожа на скулах, на подбородке. И ему захотелось выть, как бездомному, никому не нужному псу. И он не сдержался и рыкнул разъяренно и, наклонившись над столом, двумя руками снес все с него на пол; грузно обвалились папки, мелко простучали по полу карандаши и ручки; накренилась и не торопясь стала заваливаться настольная лампа; радуясь полету, запорхали в воздухе бумаги. А вслед загромыхали, ударяясь об пол, ящики, которые он осатанело выдвигал и с наслаждением грохал об пол. А потом он устал и долго

сидел на стуле, а потом пошатываясь вышел из кабинета и, лягнув за собой дверь, сгорбясь, зашагал по коридору.

Город встретил гомоном и суетой. И жарой. Но ослабевший уже, притомившийся от дневной неудержимости своей. На очереди был вечер, и посланец его — легонький, стеснительный, но настойчивый, прохладный ветерок — неторопливо и методично уже отгонял духоту. Гомон и суета вывели Данина из оцепенения, а игриво тронувший горячее лицо ветерок помог привести мысли в порядок. Насколько это было возможно, конечно, потому что голова была тупая и тяжелая, и думалось с трудом, и Вадиму чудилось, что он даже слышал, как шуршат мысли, не без усилий выстраиваясь ровным рядком. Можейкин с ними заодно. Теперь это ясно. Сначала информация о фотографиях, потом реакция Сорокина на его имя. Но почему? Что Можейкина связывает с ними? И вообще, кто же они? И что им нужно? И когда все это кончится? Это были первые вопросы, которые Вадим задал себе, когда в тенистом, притихшем к вечеру переулке отыскал лавочку и, кряхтя, опустился на нее. Но как ни силился, как ни пытался, как ни прикидывал все так и эдак, так и не ответил на них. Все было непонятно и запутанно. «А почему это я спрашиваю себя? — вяло подумал Вадим. — А почему бы мне не спросить... — Он вдруг выпрямился, как охотничья собака, заведя дичь. — Почему бы не спросить Можейкина?!»

И вот он уже в телефонной будке, и пальцы, срываясь, крутят железный диск. И вот, лихорадочно постукивая ногой, он нетерпеливо ожидает, когда же наконец прервутся монотонные, безучастные гудки и любезный голос ответит: «Слушаю!»

— Слушаю!

— Это Данин.

— Рад, безмерно рад. Как самочувствие? Как настроение?

— В норме...

— А у нас несчастье, — Можейкин громко всхлипнул, будто чихнул.

— Я в курсе, — сказал Данин. — Куда вы ее дели? Убили?

— Что-о-о?!

— Труп-то вывезли из города? Или он все еще под

кроватю подгнивает. Посмотрите, там он еще или нет. Я подожду.

— Да как вы... Да как... — Можейкин захлебывался, как утопающий. — Негодяй!

— Да будет вам, — усмехнувшись, сказал Данин. — Уж передо мной-то не разыгрывайте идиота. И попробуйте ответить на три вопроса. Если не ответите, я приеду и вытрясу из вас ответы лично. Первый. Что вы делали с женой у Спорыхина?..

— ...  
— Второй. Кому и зачем вы сообщили, что мне в милиции предъявляли фотографии предполагаемых преступников? Третий. Какую цель преследовали, когда попросили Сорокина уволить меня с работы? Перестраховались?

— Глупец, — после паузы сказали в трубке, голос показался Вадиму чужим, жестким, чуть брезгливым. Несомненно, это был голос Можейкина, но совсем не того, которого Вадим знал раньше. — Мне жаль вас, — совсем тихо произнес Можейкин, и тотчас заныли в трубке беспокойные гудки.

— Сволочь! — выругался Вадим и полез за монеткой. Но бесполезно. Трубку не брали. — Сволочь! — болезненно дернув щекой, повторил Вадим.

Ехать к нему? Не откроет. Вадим скривился и сплюнул.

Машинально он полез за сигаретами и, вынув уже пачку, стал похлопывать себя по карманам в поисках спичек, но, обнаружив их, извлекать не стал, потому что какое уж тут курение, когда рот такой сухой, что язык липнет к нёбу. Оказывается, это не просто литературный образ, а на самом деле так бывает — язык действительно липнет к нёбу. Вадим сунул пачку обратно, привычно заложил руки в карманы брюк, нахмурился, свел плечи, как обиженный ребенок, и побрел по переулку. На углу торговали квасом. Но не из бочки, а из ларька, там, внутри, вместо бочки стоймя были приспособлены баллоны, похожие на небольшие морские торпеды или авиационные бомбы. Ныне все больше из ларьков торговали квасом. И это было не так живописно, как-то буднично и обыкновенно. Желтобокие бочки всегда радовали глаз, а ларьки и не замечаешь-то толком. Очередь была небольшая, и Вадим встал, а то вот так походишь еще, и, когда доберешься до дома, язык от нёба руками придется отрывать. До-



родная женщина в белой панамке над пористым рыхлым лицом, наклонившись, поила из крышки от бидона деловитую хитроглазую собачку. Лакая квас, та аж захлебывалась от удовольствия. Вадим видел, каких усилий пожилой женщине требовалось, чтобы стоять вот так, согнувшись, но она героически выдерживала эти муки, только лицо чуть исказила гримаса напряжения. «И не породистая даже, — грустно усмехнувшись, подумал Вадим. — Самая натуральная дворняжка. Маленькая, худенькая, хвостик крендельком, а, гляди ж, как ее любят, сколько испытаний претерпевают». В окошке ларька проворно мелькали багровые руки продавщицы. За стеклом, уставленным пачками сигарет, ее саму не было видно, и казалось, что руки принадлежат ларьку, что это не просто ларек, а ларек-робот. Вадим сунул три копейки этим рукам и поежился — так явственно он представил, что это не человеческие руки, а только очень похожие на них искусственные.

Квас был холодный и вкусный. И терпкий, и невозможно было от него оторваться. Широколицый, плечистый парень в майке с поблекшим олимпийским мишкой тоже никак не мог оторваться от кваса, только пил он не из кружки, а прямо из бидона. Кадык у парня ритмично елозил туда-сюда, и в горле утробно булькало. Парень оторвался от бидона, восторженно посмотрел на Вадима и сказал, выдыхая: «Квас — класс, особенно после этого дела!» — и заговорщически подмигнул. Вадим вежливо улыбнулся и поставил кружку на прилавок. Он не сделал еще и двух шагов от ларька, как вдруг ему стало не по себе, показалось, будто кто-то осторожно провел по затылку. Он резко обернулся. Парень, прищурившись, внимательно смотрел на него. Через мгновение, спохватившись, опустил глаза, лягнул крышкой, закрывая бидон, и пошел по переулку.

«Я схожу с ума, — подумал Вадим, холодея, — мания преследования. Скоро начнут мерещиться террористы из красных бригад с динамитом под мышками». Но шутка не помогла, ощущение неудобства не проходило. Чудилось, что за ним наблюдают. Вадим провел двумя руками по лицу, глубоко вздохнул и двинулся дальше. На улице Гоголя его любезно втянул в себя людской поток. Среди занятых своими мыслями, сосредоточенных людей он немного успокоился. Шагая к ближайшей остановке, он несколько раз оглянулся,





но никого, кто бы мог наблюдать за ним, не заметил. Но почему же тогда так напряжена спина? Почему по затылку бегают колкие мурашки? Домой идти расхотелось. Да и что делать в пустой тихой квартире. Хорошо бы сейчас кому-нибудь поплакаться. Безалаберно и бес-связно выложить все, что наболело, все, что мучит, услышать доброе слово в ответ, увидеть участие в глазах, пусть мимолетное, пусть не совсем искреннее, но участие. Он остановился возле телефонной будки. Весь день будка пеклась на солнце, и теперь в ней словно застыла полуденная жара. Кому позвонить? Вадим вынул записную книжку, полистал ее. Вон сколько телефонов, а звонить некому. Женьке? Глупо. Володьке, школьному приятелю, у него своих проблем хватает, третьего родил. Наташе? Он не знает ее телефона. Да и зачем? Этому? А может, этому? А может, этой? А? Кому? Сколько приятелей и приятельниц, а будто и нет их вовсе. Чья вина? Жизнь такая суетливая, деловая? Или им всем просто наплевать друг на друга? Но с кого-то ведь это началось? С них? С него? Почему он в последнее время думает об этом? Мимо будки спешно с достоинством прошествовал высокий худой милиционер. Капитан. А в каком звании Уваров? Вот на-пасть, опять этот Уваров! И Вадим почувствовал, как жаром, большим, чем в будке, полыхнуло лицо, и он ударил с силой по стеклу. Несколько прохожих удивленно повернулись к нему. Данин спрятал книжку, достал монетку и принялся набирать номер.

— Марина, — сказал он, когда монетка провалилась. — Это Вадим. Сейчас зайду. Какой адрес? Ведь я ни разу еще не был у тебя.

Совсем недалеко от Центра, оказывается, она жила, в семи остановках от их института, от улицы Гоголя, в громоздком кирпичном, в форме буквы «П» доме. На первом этаже был магазин, и поэтому в мрачноватом холодном дворе было полно ящиков и пряно пахло бакалеей. И в темном сыроватом подъезде тоже пахло бакалеей. Он вышел из лифта на шестом этаже, нажал кнопку звонка. И тотчас мастерски обитая коричневым дерматином дверь отворилась, и широко улыбающаяся Марина предстала перед ним в тонком вишневом платье.

— Слесаря вызывали? — спросил Вадим, с удовольствием разглядывая женщину.



— Вызывали, давно вызывали, — сказала Марина, отступая в глубь квартиры и жестом приглашая его следовать за ней. — А он все не идет и не идет. Я уже решила пожаловаться в райисполком на такое безобразие.

Войдя, Данин потянул носом и сделал удивленное лицо.

— По-моему, свинина с чесноком?

— Да, — со вздохом сказала Марина. — Вот только так и можно заманить нерадивого слесаря.

Прихожая сильно смахивала на Наташину, тоже эдакая пещерка, скупое подсвеченная настенным светильником. Мода, видно, нынче такая. Но неплохо. Смотрится. Вадим заметил, что Марина скользнула взглядом по его рукам. Он хлопнул себя по лбу.

— Идиот, балбес. Забыл цветы, забыл шампанское. Я сейчас сбегаю...

— Ладно уж, — Марина слабенько усмехнулась и махнула рукой. — Обойдемся и без ваших подарков.

«Не понравилось, — подумал Вадим. — А почему, собственно? Кто кого приглашал? Я не набивался».

— Снимай туфли, — Марина нагнулась и вынула из обувного ящика растоптанные, крупные, заносчивого вида тапочки.

— Что? — не понял Вадим, и брови его поползли вверх.

— Тапочки, тапочки надевай, — повторила Марина.

Вадим представил себя в модном бежевом пиджаке, в черных брюках и в тапочках, и ему стало смешно, и он на мгновение пожалел, что пришел сюда.

— Марин, — сказал он. — А ты так и не ответила на мой вопрос.

— Какой? — Марина нетерпеливо ждала, пока он снимет туфли.

— Все меня не любят. А ты?

Марина чуть склонила голову вбок и произнесла с усталой улыбкой:

— Ну не так же сразу. И не у порога.

— Именно сразу и именно у порога. Чтоб все было ясно.

Он качнулся вперед, ловко ухватил Марину за талию, привычно и сноровисто притянул женщину, напрыгшую вдруг, одеревеневшую, к себе, склонил голову, хотел ткнуться мягко губами в полуоткрытый ее рот, но ускользнули плотно сжавшиеся, тугие ее губы,

отвернулась Марина, запрокинула голову, уперлась руками ему в грудь.

— Ну так как, любишь, нет? — еще крепче, несмотря на сопротивление, прижимая к себе девушку, спросил Вадим.

— Пусти, — скривившись, потребовала Марина. — Пусти, больно.

И он убрал руку, резко, и, усмехнувшись, подался назад. Поправляя платье, Марина покрутила головой.

— Все сразу тебе подавай, привык, что девки на тебе виснут. Привык, что и обхаживать их не надо. Раз, два — и готово. Подошел. Поцеловал, как меня в институте. А я по-другому хочу. — Она коротко взглянула на него, неуклюже как-то повернулась и пошла в сторону кухни.

«Капризничает, — подумал Данин, не без удовольствия понаблюдав за колыханием легкого платья и опустил взгляд ниже. — А ноги у нее полноваты», — отметил он.

— Тапочки надень, — через плечо бросила Марина.

Он развел руками и все-таки снял туфли и облачил ступни в мягкие, великоватые тапочки.

Первым делом в комнате стол в глаза бросился, уже сервированный разноцветным посверкивающим хрусталем, марочным коньяком и икрой; и хотя много на что в этой комнате посмотреть можно было: и на стенку дорожную с десятками ящичков и дверок, и на надменные золотистые кресла, и на диван тоже золотистый, призывно манящий, и на пуфики разные, заграничные (от прежнего мужа все это осталось?), а вот стол был приметней всего: он ожил, словно такой сладкий груз на себя взваливая, в нетерпении друзей своих ожидая. «И когда успела-то?» — подумал Данин и удивился, что при этой мысли не ощутил теплоты и нежности к Марине. Он пожал плечами, хотел сесть за стол, но решил не нарушать пока его праздничный покой, шагнул к креслу, присел на подлокотник. Да, симпатичная квартирка, ухоженное гнездышко, богатенькое. И впрямь, видать, от бывшего мужа все досталось. Не злопамятный мужик, наверное. Вадим опустил голову, чтобы рассмотреть ковер, и глаза опять уткнулись в тапочки. Он чертыхнулся и, кряхтя, снял пиджак. Так будет лучше, все же по-домашнему как-то. А теперь надо бы и умыться, раз такое дело. Он прошел в ванную, чистую, душистую, с овальным зеркалом, с под-

зеркальником, уставленным пестрыми шампунями, дезодорантами, кремами. Чуть прищурившись, внимательно посмотрел на свое отражение и, не понравившись себе — бледный, угрюмый, потухший, — опустил голову и подставил руки под теплую струю. Вытираясь полотенцем, вдруг понял, что нестерпимо хочет домой.

— Что затих? Утонул? — донеслось из кухни через приоткрытую дверь. Голос был чуть с одышкой — от горячей плиты, от готовки, от торопни, но звонкий, веселый, даже чересчур веселый, эдакий пионерский голосок, мол, долой печаль, запевай отрядную! — Ты, часом, там не ванну принимаешь?

— Целую ванну тяжеловато, — пробормотал про себя Данин. — Если б грамм сто пятьдесят принять...

А вслух сообщил:

— Примеряюсь к краям, понимаешь ли. Я ж как-никак за этим делом приглашен был. За этим замечательным мужицким делом.

Он сидел на краю ванны и шевелил пальцами в просторных увесистых тапочках. «Зачем ей такие здоровые тапочки, — вскользь подумал он, опять посмотрев себе под ноги. — На вырост, наверное, купила или...»

— Чего? Чего? — слышалось с кухни. В интонации голоса уловил что-то новое. — Мужичье дело? Ух ты мужик нашелся? — Марина хохотнула чересчур громко. — Мужчинка ты. Самый натуральный мужчинка. Ты и делом-то мужским никогда не занимался небось? А? Все игрушечки-финтифлюшечки.

Он в первые мгновения усмехнулся вяло и даже не сильно махнул в сторону кухни рукой, не болтай, мол, попусту, подруга, а потом залился вдруг краской жарко, уродливо скривился, больно потер переносицу. «Эта она мне? — подумал. — Дрянь!» — встал стремительно, замахнулся ногой и шмякнул один тапochек о стену, потом другой ногой замахнулся и второй тапochек шмякнул.

— Это она мне? — сказал вслух cedяще и угрожающе — внутри все кипело, бурлило, дымилось — саданул ладонью по двери, вышел, стремглав пронесся в комнату, схватил пиджак, а он ни в какую — зацепился за что-то — принялся рвать его, нервно и дергано и приговаривая: «Дрянь! Дрянь!» А потом стул накренился и пробалансировал мгновение на одной ножке, как циркач на канате, и неспешно стал заваливать-



ся на бок, а потом упал с глухим стуком и затих, будто умер, — с измятым пиджаком на плечах. Данину что-то не понравилось во всем этом незначительном происшествии: то ли покойнический вид стула, то ли еще чего, и ему не по себе стало, и он нахмурился и огляделся, проверяя, здесь ли еще, где был, или уже в другом месте очутился.

— Я болен, — тихо сказал он и в этот момент услышал, как катятся по непокрытому паркету где-то под диваном монетки. Одна за другой они звенели дробно и умолкали на полу. Данин присел, пошарил по карманам пиджака — точно, мелочи ни гугу. Ну что за черт! Как же без мелочи! Без мелочи просто никуда! Обидно — вот была мелочь, и теперь ее нету! Теперь она черт знает где валяется! Он встал на колени и принялся осматриваться. Гривенник нашел сразу, неподалеку от себя. Так теперь вперед, за остальными...

В коридоре простучали каблучки, замерли на мгновение. Данин поднял стул, сел на него, кряхтя, и продлил теперь уже с высоты стула осмотр пола. Еще два раза щелкнули каблучки, и в дверях показалась Марина. «Красавица, — подумал Вадим и ничего не почувствовал. — Красавица, — с нажимом повторил он про себя и опять ничего не почувствовал, задержал дыхание, поднапрягся. — Крас... Ну и бог с ней», — подумал и стал опять разглядывать пол.

— Ты меня прости, — сказала Марина. — Я с тобой грубо. Это совсем не оттого, что ты думаешь, а совсем наоборот, от другого... Я сама не знаю, что со мной, у меня все из рук валится и все внутри дрожит. И мне хочется тебя унижить, себя унижить, и вообще все как-то не так.

— Конечно, — отозвался Вадим. Он теперь приметил пятак у ножки дивана и был очень этим доволен.

— Молодец, все понимаешь. — Марина слабо усмехнулась. — А я вот никак. Я думала, ты не придешь. А ты пришел. А я не ждала... Вернее — ждала, но не хотела, чтобы ты приходил. А вот ты пришел, и я захотела... Нет, не так...

— Так, так... — протянул Вадим и заглянул под диван.

— Нет, не так, совсем не так! — Марина приложила две ладони к шее, будто они замерзли и она таким образом их грела. — Я, наверное, должна быть нежной и ласковой, раз ты пришел, раз я звала, и ты пришел.

А я не могу, — она уже чуть не плакала. — Я столько раз тебя звала за эти годы, ты не приходил, я столько раз мечтала, представляла, даже помню слова, которые говорила... А теперь не могу... Вот с кем угодно сейчас смогла бы, а с тобой не могу... Уходи!

Данин последнего слова не расслышал, потому что был уже под диваном, он напал там на целую россыпь — и двугривенные, и пятнадцатикопеечные, и пятаки — здесь, видать, вся мелочь из его карманов затаилась. Данин собрал все аккуратненько и стал пятиться назад. Выбрался, отдышался, позвенел мелочью в ладошке, и тут взгляд его в угол дивана уперся, туда, где в этом самом углу примостилась какая-то игрушка...

— Уходи, — теперь уже жестко и решительно произнесла Марина. — Мы просто друзья. Если такое бывает...

Приговаривая: «Все бывает, все бывает...» — и не отрывая взгляда от игрушки, Данин немного привстал. Игрушечная собачка, грустная, жалкая, потертая. Сначала Вадим смотрел и не видел ее, так, комочек какой-то валяется пятнистый, черно-белый, а потом прищурился и приглядываться стал, а потом ближе подошел, осторожно дотронулся до собачки пальцем, по голове, по ушкам погладил, присел рядом, взял собачку на руки, осмотрел ее со всех сторон, покрутил удивленно головой и прижал собачку к груди с силой, будто вдавить ее в себя хотел, склонил голову, провел нежно подбородком по плюшевому ее тельцу. Он знает эту собачку, он преотлично ее знает, конечно, не эту именно, а точно такую же... Лет пять ему было. И он у кого-то вот такого песика увидел, грустного, жалкого, но забавного, и влюбился в него до смерти, живой щенок ему был не нужен, вот такого подавай и никакого другого. И где они с мамой ни были, весь город объездили — нет собачки. В горторг звонили, и на фабрику, и посчастливилось им: кто-то проникся, посмотрел по накладным, сообщил, что в Ушанов, что в полуторе сотне километров от города, таких собачек поставили. И поехали они с мамой туда, и купили там игрушку, и оба довольны были, словно великое дело сделали. Он гулял с ней, спал с ней, ел с ней, он ни на минуту не отпускал ее от себя. Он назвал ее Винни, как медвежонка из сказки, которую любил и которую знал наизусть. Ему уже четырнадцать-пятнадцать было, а песик нет-нет да ока-

зывался в его руках, и он с ним разговаривал, делился, советовался... Остро и больно заняло в груди, он согнулся, свел плечи, прижал собачку к шее, закрыл глаза. Конечно же! К маме! И сейчас, и немедленно! Только там он самим собой станет, вновь каждому утру, каждому дню, каждому зайчику солнечному радоваться будет. Мама вылечит его, снимет боль эту дурацкую, эту проклятую, эту ненавистную боль — в груди, в голове, в ногах, руках, во всем теле, во всем нем...

Он поднял лицо и заулыбался, не открывая глаз: ощутил, как вольно, как легко стало. Ну вот и все, вот и нашел он выход. А теперь спешить. Он вскочил, не выпуская собачку из рук, кинулся к двери и наткнулся с размаху на Марину. Вадим посмотрел на нее недоуменно, мол, а ты кто такая? Откуда здесь? Потом вспомнил все вмиг, покрутил у нее собачкой перед лицом и весело сказал:

— Я у тебя забираю ее. Она теперь моя.

И хотел пройти мимо, уже боком встал, чтоб между косяком и женщиной протиснуться и чтобы только не задеть ее, не хотелось ему задевать ее. Она неуверенно удержала его, спросила сухо, вроде как для приличия:

— Может, выпьешь?

— Конечно, выпью, — сказал Вадим, и ему захотелось смеяться, словно он очень удачно сострил. Огляделся, взял коньяк со стола, запихнул его во внутренний карман пиджака и довольный повернулся к Марине. — Только не здесь. Где-нибудь в уютном местечке с хорошими людьми.

На сегодняшний московский билетов не было, и на завтрашний тоже, и на послезавтрашний. Только через неделю можно было уехать, да и то очередь отстоять требовалось, и не маленькую — раздраженную и крикливую. Лето. Отпуска. На столицу всем поглядеть охота, да и на другие города, ведь поезд до самой западной границы доходил. Но Вадим должен был уехать именно сегодня, ни часа, ни минуты промедления. И Вадим пошел по инстанциям, по местным вокзальным инстанциям. Он сердечно улыбался, требовал, грозил и каждый раз, когда ему отказывали, поглаживал в кармане собачку и приговаривал тихо, сквозь зубы: «Ничего, ничего...» Начальника вокзала он застал выходя-



щим из дверей кабинета, его рабочий день уже давно закончился, усталый сонный начальник вокзала безучастно смотрел на Вадима, пока тот тыкал ему в лицо удостоверение внештатного корреспондента и убеждал, что ему надо отбыть именно сегодня, ибо в противном случае сорвется важный материал, потом повернулся и обронил через плечо: «Пойдемте».

Через пятнадцать минут с билетом в кармане он уже сидел в зале ожидания и снова поглаживал собачку, и шептал довольнo: «Ну вот видишь, я же говорил...» Поезд уходил в девять сорок пять, до отхода оставался час. Домой было ехать бессмысленно. Да и зачем. Все, что нужно, он найдет там, у мамы, и белье, и рубашку, и все остальное прочее. И он решил отдыхать, и даже почти задремал, и спохватился только, когда до отхода осталось десять минут. Сорвался с места и, не видя ничего вокруг, помчался на перрон. Вот так же, не смотря по сторонам, он ехал к вокзалу от Марины, так же бегал по мелким и крупным вокзальным чиновникам. И, конечно, не заметил, что всюду, от самого Марининогo дома, от него не отставал толстый пожилой мужчина в рубашке навыпуск. Толстый проводил его до вагона и остался стоять неподалеку, ожидая, пока отойдет поезд.

Хмурая, дочерна загоревшая, будто только-только вернувшаяся с южного курорта проводница взяла билет, глянула на него краем глаза, потом посмотрела Вадиму на руки, приподняла густую лохматую бровь, слегка, видимо, удивившись, что он совсем без вещей, вернула билет обратно и тотчас забыла о Вадиме — мало ли каких пассажиров не бывает.

То и дело прижимаясь к стенке, он кое-как добрался до своего купе. Оно было до отказа забито женщинами в цветастых сарафанах, детьми; слышался и мужской басовитый говорок, даже два голоса мужских слышались, они перекрывали звонкий детский гомон и торопливую скороговорку женщин. Для одного купе народу многовато, значит, кто-то здесь провожающие. Вадим повернулся к окну, стал смотреть на перрон. Там, вдоль поезда, перед окнами выстроилась цепь жен, мужей, пап, мам, братьев, сестер, друзей. Мужчины, как обычно, строго молчали и лишь изредка кивали ободряюще, а кое-кто уже и забыл, зачем пришел сюда, равнодушно озирались они по сторонам, нетерпеливо ожидая, когда можно будет отправиться по своим делам.

Вот только женщины, как обычно, как всегда, не могли успокоиться и все что-то говорили, говорили в открытые окна, да с таким серьезным и обеспокоенным видом, будто только сейчас, уже перед самым расставанием, вспомнили самое важное. Вадима бесцеремонно толкнули в спину, и он чуть не протаранил лбом стекло. Он обернулся — из купе выходили дородные женщины в сарафанах, молодые, но уже угрюмые и недовольные. Их было трое, и они были очень похожи друг на друга, как сестры.

И ни тебе «разрешите пройти...», ни «извините»; подхватили вертлявых детишек — тех тоже было трое — и потопали по коридору, горласто переговариваясь. Вадим скривился в нехорошей усмешке, повел подбородком и шагнул в купе. И в этот момент поезд дрогнул едва заметно, и поплыли неспешно в окне вагоны, столбы, женщины в оранжевых жилетах...

Два парня, что сидели по обеим сторонам столика, тоже смотрели в окно, и мальчишка лет шести, встав ногами на нижнюю полку и оперевшись на крупного, крутоплечего белобрысого малого, тоже провожал глазами убегающие вагоны, кирпичные основательные строения, пыльные пакгаузы и бесконечное множество рельсов, столбов и семафоров. Вадим поздоровался, сел. Ему не ответили. Только мальчишка, повернув к нему треугольное озорное личико, посмотрел, прищурившись, потряс парня за плечо и, когда тот степенно оглянулся, топнул ногой и крикнул: «Я здесь буду спать!»

— Хорошо, — сказал парень и, увидев Вадима, без всякого выражения кивнул ему.

— А вот и нет, — вкрадчиво произнес мальчишка и опять потряс парня за плечо. — Я там буду спать. Мама сказала, здесь дует.

И он мигом перескочил на противоположную полку и ухватился за плечо второго парня, худого, носатого, тоже белобрысого. Но волосы у него курчавые, жесткие, спутанные. Он, верно, причесывался пятерней, а то и вовсе не причесывался.

— Хорошо, спи там, — не оборачиваясь, равнодушно сказал отец.

Мальчишка переминался с ноги на ногу и мял плечо носатого, ему явно было мало внимания. Он опять топнул ногой и громко крикнул:

— Нет, я буду спать здесь. — И ударил рукой по верхней полке.

— Здесь буду спать я, — негромко сказал Вадим. Мальчишка обиженно поджал губы, метнул на Вадима недобрый взгляд и вытянул палец к противоположной верхней полке:

— Тогда там, — и опять перескочил к отцу.

Носатый оторвался от окна и впервые посмотрел на Данина. Он, не стесняясь, разглядел своими чуть раскосыми глазами его лицо, потом пиджак, потом брюки, цыкнул, отвернулся к окну и, махнув рукой в сторону мальчишки, порекомендовал безучастно:

— Дай ты ему по шее.

— Сейчас я дам тебе по шее, — медленно разворачиваясь, проговорил парень-отец.

— А вот и не дашь, вот и не дашь, — мальчишка запрыгал на одеяле.

Отец лениво хлопнул его ладонью по лбу. Тот, изумленный, свалился и тут же заревел:

— Все маме скажу... все скажу, — захлебывался он. А потом похныкал еще немного и затих.

«Пытка какая-то, — печально подумал Вадим. — И так больше суток».

— Граждане, приготовьте билеты, — совсем рядом выкрикнула проводница.

Вадим поднялся, выглянул. Густобровая проводница стояла возле соседнего купе. Вадим вышел.

— Простите, — обратился он к ней. — Нельзя ли с кем-нибудь поменяться.

— Что случилось? — Проводница без особой радости посмотрела на Данина. Она была еще молода и совсем не так некрасива, как показалось поначалу; и лохматые брови даже шли ей, а вот загар портил.

— Я устал и хочу отдохнуть, — объяснил Вадим. — А там ребенок беспокойный.

— У нас полон вагон детей. — Проводница нетерпеливо ждала, пока пассажиры в купе разберутся с билетами и дадут ей возможность двигаться дальше. — И все беспокойные. Где вы видели спокойных детей? — Она пожала плечами. — Попробуйте договориться сами. Если кто согласится...

Вадим представил, как он шествует по вагону, заглядывает в каждое купе, с вежливой натянутостью улыбается и просительно предлагает поменяться местами, и ему вмиг расхотелось меняться, и он решил



остаться на законном своем месте. «Черт с ними, — подумал он. — Перетерплю. В Москве отосплюсь». Он махнул рукой и пошел обратно.

Все трое в упор смотрели на него, когда он вернулся. Они все слышали. Но ни вопроса не было в их глазах, ни осуждения, ни одобрения, они просто смотрели, и все. Так на прохожего смотрят, который подошел прикурить попросить. А потом мальчишка отвернулся к стене — он все еще лежал, изображая оскорбленного и всеми покинутого — и тихонько захныкал. И парни тоже отвернулись и принялись опять смотреть в окно. Вадим сел у самой двери, легонько похлопал себя по коленям, потом достал сигареты, повертел пачку в руках, сунул обратно, нет, курить здесь нельзя, а в тамбур идти не хотелось. И поэтому тоже стал смотреть в окно. Там не было ничего интересного: деревья, дома, потемневшее небо. Довольно быстро уже мелькали километровые столбики — поезд набрал скорость. Смотреть в окно надоело. Вадим встал, неторопливо стянул пиджак. Когда вешал его на крюк вешалки, бутылка с коньяком глухо стукнулась о стенку. А он-то и забыл о ней, все это время даже не ощущал ее тяжести. «Может, махнуть грамм сто пятьдесят? А впрочем, нет», — он чувствовал, что сейчас спиртное впрок не пойдет. По коридору уже бродили быстро освоившиеся, переодетые в халаты и спортивные костюмы пассажиры, и каждый непременно заглядывал в открытое купе. Следовало бы закрыть дверь. Спросить у парней? Может, им хочется свежего воздуха? Хотя бог с ними, тоже мне господа, еще спрашивать у них. Он потянул дверь, она покатилась, лязгая, и закрылась, металлически шелкнув. В купе сразу потемнело. Вадим затылком ощутил на себе взгляды, но оборачиваться не стал, скинул туфли, ступил на нижнюю полку и, опершись руками на верхние, подтянулся и тотчас прыгнул обратно. На его полке в беспорядке лежали вещи: две хозяйственные пузатые сумки и набитая свертками авоська. Вадим повернулся к попутчикам, протянул руку к полке и пошевелил в воздухе пальцами.

— Уберите-ка вещи, — не очень любезно проговорил он, глядя поверх голов парней.

Мальчишка уже, видать, забыл, что его хлопнули по лбу, и теперь сидел, чуть склонив голову набок, и, прищурившись, разглядывал Вадима.

— Дядя, у вас насморк? — вдруг спросил он.

— Что? — не понял Вадим.

— У вас такое лицо, будто вы чихнуть хотите, — и он сморщился, как бы приготовившись чихать.

— А, да-да, насморк, — не нашелся Данин.

Носатый лениво со вздохом поднялся, неспешно снял вещи, осторожно, словно они были начинены динамитом, положил сумки и авоську к себе на полку. Вадим во второй раз подтянулся и забрался наверх. Ноги упирались в стену — вагоны проектировались без учета его роста, — но все равно было замечательно. Просто сплошное удовольствие, вот так, расслабившись, лежать, ощущать движение, слушать успокаивающий перестук колес, вдыхать запах чистого купе — запах дороги, — и ни о чем не думать.

Все позади, буквально позади. Все осталось там, за тридцать, сорок — сколько они уже проехали — километров отсюда. И не надо больше ломать себя, изнурять и вымучивать, не надо вздрагивать от звонков, от шагов, от мыслей, от внезапных сомнений. Это все там, за спиной, и он не хочет оборачиваться. Зачем? Когда там так темно, дымно и душно. Город ему казался сейчас темным, грязным, смрадным. Он видел его весь целиком, сразу — с угрюмыми домами, с хищными, наглыми машинами, с враждебными, недобрыми людьми, — укутанный густым горьким маревом. А здесь, вот в этом купе и за окном, было чисто, светло и радостно. И в Москве тоже будет чисто, светло и радостно. И он сможет дышать полной грудью и улыбаться искренне, открыто и в удовольствие. Он освободился, он бежал. Он в бегах. Бежал, бежал... Ритмично и плавно покачивался вагон, и в купе стало еще темнее, за дверью кто-то тихо и монотонно говорил. Вот слова стали сливаться в один длинный, низкий звук. Вадим уснул... Высокая черная стена была перед ним, без единого зазора, без единой трещинки; справа и слева, и сзади белым-бело, а впереди стена. Ему стало страшно, и он побежал, а потом оглянулся и понял, что это не стена, а борт корабля, огромной бело-черной глыбы ледохода, он намертво врос в лед и стал словно памятник самому себе. И Вадим вспомнил, что он плыл на этом корабле и что там были люди, много людей, и что он пытался с ними заговорить, а они не отвечали ему, не смотрели даже в его сторону, они бесшумно двигались по палубе и молчали. Он схватил кого-то за руку, но рука была твердая и холод-

ная, и Вадим отдернул пальцы, словно дотронулся до мертвеца. И захотел уйти отсюда, все равно куда, лишь бы уйти. И нашел лестницу, спустился по ней и оказался на льду, и студеной колкий ветер сразу опалил его лицо, и шею, и руки, и ноги, а на корабле было тепло, тепло и уютно, вот только эти странные люди...

Он опять побежал, спотыкаясь и даже упав один раз. А потом корабль скрылся из виду, и вокруг белел снег и встопорщенные льдины, а над головой висело низкое серое небо, и, подвывая, как брошенная голодная собака, свирепо дул ветер, и Вадим почувствовал, что коченеет, руки и ноги перестали слушаться, а затвердевшие от стужи пальцы невозможно было разогнуть. Он повернул обратно, шел съезжившись, обхватив себя одеревенелыми руками. Дрожь билась во всем его теле. Корабля нигде не было видно. Захотелось кричать, но он пересилил себя, сдержал крик, а потом захотелось плакать, он терпел некоторое время, а потом слезы потекли сами собой, и тут же на щеках они превращались в льдинки. И Вадим понял, что ему не спастись, что все кончено. Но он знал, что все это во сне и чтобы прекратился кошмар, надо проснуться, надо заставить себя проснуться...

Он открыл глаза. Пелена застелила белый, усыпанный крохотными дырочками потолок. В глазах стояли слезы. Он все-таки плакал, во сне плакал. А потом он осознал, что дрожит, и что ему невероятно холодно, и что в левый бок ему дует сильный холодный ветер. Вадим обнял себя, повернулся на бок, и ему стало теплее. Но успокоение и радость не пришли вместе с теплом, на душе было тоскливо.

В купе царил полумрак, в изголовьях двух нижних полок тускло горели лампочки. Скупой медно-желтый свет еще больше вгонял в печаль.

— Выбиться хочет, задается, — услышал Вадим низкий бас белобрысого. — На собраниях орет, что только он один вкалывает, и за это его не любят, а остальные все повязаны, и бригадный подряд их ничему не научил. И... это самое... они, мол, все делят не по справедливости, а по дружбе: кто у бригадира в шестерках — тому побольше, а он, мол, ни к кому не подлизывается, и ни с кем не пьет, и вообще он — трезвенник. Врет, гад, я его видел пару раз, еле топал. Сволочь!

— Сволочь, — подтвердил голос носатого. — И ухо-



дить не хочет. Я ему говорил, уходи, не доводи до греха, а он: «Я вам еще покажу».

— Выбиться хочет, — повторил белобрысый. — Надо с ним по-крупному поговорить.

— Надо, — сказал носатый. — А у тебя с ним еще особые дела.

— Ты про Нинку? — спросил белобрысый. — Я ему ее не прощу... Это точно.

Простой разговор, простые слова, обычные житейские проблемы. Сидят двое и беседуют неспешно, и все понимают друг про друга, и все знают друг о друге, и им хорошо, было бы плохо, не поехали бы вместе в такую даль. Не в командировку ведь направляются, в отпуск, наверняка в столицу. И незамысловатый этот тихий разговор успокоил Вадима, и даже взбодрил его, и сил придал. И уверенности, что не все так скверно, как во сне привиделось, что течет вокруг нормальная человеческая жизнь и что всякое в этой жизни случается, и что в конце концов все решается, удачно или не совсем, но решается. Вот так он подумал, и поднялось у него настроение. И он был благодарен парням за этот разговор, и ему захотелось самому поболтать с ними, неторопливо, обстоятельно. Неплохие, видать, ребята.

— А может, это и хорошо было бы, — сказал после паузы носатый.

— Что хорошо?

— Ну ежели бы тогда, два года назад, Нинка к нему ушла. Все равно живете как кошка с собакой. Недобрая она все-таки.

— Опять ты об этом? — Голос белобрысого пригас, подустал словно, обесцветился. — Сколько можно? Я тебе сто раз говорил. Ведь сто раз. Как я без пацанят? Без этого оболтуса... О! Слышь, как гомонит... — И белобрысый тихонько и удовлетворенно засмеялся.

Мимо двери стремительно протопали, и затем уже вдалеке, в самом конце коридора продребезжало подобие паровозного гудка. Кто-то вскрикнул испуганно, вслед за этим раздался тонкий мальчишеский смех, а потом забубнили недовольные голоса. Мальчишка теперь терроризировал вагон. К концу поездки его наверняка будет знать весь состав. Вадим улыбнулся.

— А теперь еще Аленка маленькая, — грустно сказал белобрысый.

— Я тебя предупреждал, — носатый постучал пальцем по столу. — Не заводи второго, наплачешься...

— Ой, ой! Умник какой! — Белобрысый, видать, обиделся. — А сам-то, сам-то. У тебя будто лучше?! Твоя и шпыняет только тебя: туда не ходи, здесь не садись, тому не звони. Как малолетку.

— Ладно, закройся, — беззлобно проговорил носатый. — Такая судьба у нас, знать, пакостная...

— Это точно, — уныло согласился белобрысый. — А у Нинки новый заскок. В Москву хочет. У нее там вроде родственники есть. Хочу, говорит, в центре жить и культурно развиваться, чтоб театры, иностранцы вокруг были, чтоб Тихонова на улице можно встретить. А то жизнь проходит, а я так, мол, и проскучала в захолустье...

— Дура, — отозвался носатый.

— Во, во, и я о том. Какое ж у нас захолустье, в пятнадцати километрах от города живем. Я ей говорю, ну, давай, мол, в город переедем, нет, говорит, в Москву — или развод. У меня, мол, есть с кем уехать. — Белобрысый поперхнулся, видно, понял, что сморозил что-то не то.

— У-у-у, — протянул носатый — Ты смотри. — И в голосе его заиграли угрожающие нотки. — Гони ты ее... У моей ежели такая мысль возникнет, я их вместе с этой мыслью, — и он, видимо, показал наглядно, что он сделал бы с супругой и ее мыслями. — Гони, Вовка, гони... Вот дура. Это же родина наша. Мы выросли здесь, и ни в какие столицы мы отсюда не поедem, ежели не позовут, ежели не понадобится мы там позарез, верно?

— Железно, — тотчас подтвердил белобрысый.

«Чудесные ребята, — подумал Вадим, — ну просто отличные ребята». И ему нестерпимо захотелось сказать им что-то доброе, ободряющее, приятное, что бы они увидели, что и он полностью на их стороне, что он их понимает. И еще захотелось рассказать о себе, что у него тоже не все гладко в жизни, что просто-напросто, вообще, все не гладко. И захотелось, чтобы беседа у них завязалась искренняя, свойская, дружеская. Ему нужна была сейчас эта незатейливая житейская беседа. Как согрела бы она его — до самого нутра промерзшего — теплыми голосами, теплыми словами, теплыми взглядами!

И Вадим вскинулся, свесил ноги с полки, спрыгнул,

ойкнув, — нога слегка подвернулась, и остро прошло болью ступню (но это ерунда, это не страшно, это пройдет), — широко улыбнулся, сел на нижнюю полку рядом с носатым и, потирая лодыжку, повторил за белобрысым:

— Железно. Абсолютно железно. Вы очень правильно сказали. Вы замечательно сказали...

Вспыхнуло и исчезло тут же недоумение в глазах у парней. Его сменили холод и недоброжелательность. Ни один из них не сдвинулся с места, ни один не сделал попытку что-то сказать. Но Вадима это не смутило. Конечно же, не совсем приятно, когда посторонний человек неожиданно сваливается вам на голову и, не спросясь, врывается в разговор, в доверительный, интимный разговор.

— Вы простите, бога ради, — не переставая улыбаться, Вадим прижал руки к груди. — Что вот так, без разрешения, без предисловий. Проснулся и услышал ваш разговор, и понравилось, как вы рассуждаете. Да так понравилось, что не выдержал, решил словцо вставить, потому что точно так же думаю. Не обижайтесь, что ворвался, что нарушил вот так, не совсем учтиво, вашу беседу? Не обижаетесь, нет?

Он ищуще заглянул им в лица, одному, другому. Склонил даже голову чуть, как бы винясь, и улыбку свою, безоблачную, открытую, старательно превратил в смущенную, застенчивую. Даже не то, что в смущенную, а в заискивающую, льстивую. Само собой так получилось, невольно, он и не желал того. Как и не желал, чтобы и голосок у него, когда оправдывался, был такой мягкий, подобострастный. Просто вышло так, и все. И он вдруг откровенно не понравился себе. И парням он тоже не понравился, потому что ответили они ему не совсем приветливыми, даже чуть брезгливыми взглядами. Вадим согнал улыбочку с лица, кашлянул в кулак, будто поперхнувшись, и протянул было руку, но на полпути остановил ее, заколебавшись, кому первому подать ее.

— Вадим, — громко представился он.

Парни быстро переглянулись, как бы решая, отвечать им или погодить. По-видимому, основным в этом дуэте был носатый. Он и протянул руку первым, но нехотя, лениво.

— Михаил, — вяло сказал он.

— Владимир, — в тон товарищу сказал белобры-



сый. Он сжал кисть Вадиму несильно и тотчас через мгновение отнял пальцы, и опять взглянул на носатого, но тот преспокойно уже смотрел в окно. Там ничегошеньки не было видно: густая чернота и редкие точечки огоньков. Но носатый вглядывался с таким вниманием, словно там показывали детектив с Бельмондо.

— Вы местные, как я слышал? Родились здесь, в области, да? — после паузы спросил Вадим. Он силился понять, почему с ним так холодно и небрежны.

— Да, — коротко ответил Владимир, видя, что носатый не отвечает.

— В промышленности работаете или в сельском хозяйстве? — Вадим спрашивал, будто не замечая недоброжелательства парней.

Владимир сказал:

— Э-э-э-э...

Потом пообмял губы друг о дружку и, глядя в висок носатому, ответил:

— В промышленности.

— И на каком заводе? Или на фабрике? У нас промышленность богатая.

Михаил наконец отнял взгляд от окна, хотя темнота там уже расступилась, и замелькали фонари и желтые окна в одноэтажных домиках. Медленно повернулся, посмотрел на Вадима, с едва заметной настороженностью, сказал нетерпеливо:

— На заводе, на заводе.

— На каком же?

Михаил завозился легонько на месте, словно ему стало неудобно сидеть. Устроившись, затих.

— На электромеханическом.

— Нравится работа?

— Нормально.

— А вам? — Вадим перевел взгляд на белобрысого.

Тот кивнул.

— Это хорошо, когда работа нравится, — с улыбкой сказал Вадим. Почему они так скованны, зажаты? Почему настороженны? Потому что он посторонний? Или на шпиона похож? Вадим хмыкнул и добавил: — Тогда и живется лучше, радостней, и дышится легче. И невзгоды все переживаются проще. И проблемы разные бытовые решаются без особой головоломки. Даже ругань жены не так остро воспринимается. Правда?!

Носатый сказал: «Да», а белобрысый опять кивнул.

За дверью залязгало, заскрипело что-то совсем

близко. Вадим узнал характерный звук миниатюрной металлической тележки, на которых в поездах развозят продукты. И верно, вслед за скрипом зазвенел молодой задорный юношеский голосок:

— Сосиски, бутерброды, кефир, конфеты, пожалуйста. Есть минеральная и фруктовая вода. Все свежее, пожалуйста. Что вам? ..Отлично, бутерброды, сосиски, три сосиски. Пожалуйста, три...

— Вот и замечательно, — обрадовался Данин. — Сейчас поужинаем. Самое время.

Он рывком откатил дверь, выглянул:

— Пожалуйста, сюда...

Узколицый малый с веселыми карими глазами — наверняка студент на трудовом семестре — лихо подкатил тележку к двери и, любуясь своей ловкостью и сноровкой, стал подавать Вадиму называемые им продукты.

— Бутерброды, пожалуйста, сосиски, кефир, пожалуйста. Что вам еще? Конфеты? Вот конфеты. С вас...

Вадим поблагодарил, расплатился, щелкнул дверью, сел и сосредоточенно зашуршал пакетами... Разобравшись, вывалил еду прямо на стол.

— Вот, — сказал он удовлетворенно, — угощайтесь.

— Спасибо, — поблагодарил носатый. — У нас с собой есть.

— Да это на потом, — Вадим махнул рукой. — На завтра, нам ехать-то еще сколько. Давайте, давайте...

— Спасибо, — повторил Михаил и положил руки на колени.

Дверь хрустнула и отъехала чуть-чуть. В проем просунулась голова мальчишки. Он, сощурившись, принимался. Вадим ухватил пакетик с конфетами и, улыбаясь, протянул его мальчишке.

— Поешь конфетки, вкусные, шоколадные.

Мальчишка сморщился и закрыл дверь. Вадим растерянно посмотрел на парней. Те сделали вид, будто не видели ничего. Вадим швырнул пакет на полку, болезненно дернул щекой и с силой провел ладонями по лицу. Черт знает что! Пальцы белыми струйками стекли с его лица. Он наморщил лоб, сказал нерешительно.

— Может, выпьем, а? Грех не выпить под такую закуску... — Он вскочил, сунулся к пиджаку, суетливо стал отыскивать карман, где пряталась бутылка. (И вправду, неплохо было бы глотнуть.) Данин пове-

селел, сейчас он найдет с ними общий язык. Наконец бурая бутылка возникла в его руках.

— Коньяк. Ароматнейшее зелье, — сказал он, с трудом находя место на столе для бутылки. — Давайте стаканы.

Парни не шелохнулись. Михаил так и остался сидеть со скромно сложенными руками на коленях, а белобрысый напряженно вытянул могучую шею и опять обминал друг о дружку мясистые губы. Вадим откупорил бутылку, повертел в пальцах пробку, выискивая местечко, куда бы ее положить, но не нашел и сунул ее в карман брюк.

— Давайте стаканы, — повторил он.

— Спасибо, — наконец промолвил Михаил. — Мы не хотим.

— Что, совсем не пьете? — спросил Вадим с недоброй вдруг иронией.

— Иногда бывает, — Михаил повел подбородком. — Но сейчас не хотим.

— И этого не хотите. — Вадим мотнул головой и невесело усмехнулся. — Брезгуете, значит. А почему? — Он вскинул глаза на носатого, и голос его неожиданно зазвенел: — А почему, позвольте вас спросить? А? Почему? Я что, заразный, больной? Прокаженный? Или ублюдок какой? Убийца? Насильник? Инопланетянин, черт бы вас подрал?! Ну, ответьте, ответьте! Что языки прикусили? Или просто не такой, как вы? Другой?!

— Другой, — вдруг вырвалось у Владимира, и, сам не ожидая от себя таких слов, он беспомощно посмотрел на носатого. Тот промолчал и только пожал плечами.

Вадим обессиленно выдохнул, и злость угасла разом.

— Ну-ну, — сказал он и повторил, — ну-ну.

Владимир крепко потер шею и добавил, как бы оправдываясь:

— У вас лицо, словно вы чихнуть хотите. — И замер вот так с рукой на шее, в который раз спохватившись, что сказал что-то не так.

И втиснулась в купе тишина, глухая и тягостная. И только так и ненаполненные стаканчики робко бились друг о дружку и тонко позванивали. Неназойливо постукивали колеса на стыках, хлопали вконец распоясавшиеся занавески за окном. И всем было неловко.



И никто не знал, что надо сейчас сделать, или что сказать, и все сидели, не шевелясь, боясь голову поднять, боясь вздохнуть громко. Или так Вадиму только чудилось, что парни боятся шелохнуться? Может, им просто на все наплевать. А если так, то...

— Ладно, — он хлопнул себя по коленям ладонями, поднялся, побряхывая, несильно потянулся, как бы показывая, что происшедшее его нисколько не тронуло, хватко взялся за ручку двери, отжал ее вбок, вышел в коридор и рванул дверь за спиной обратно, закрывая. Коридор обезлюдел — поздно, и мальчишка исчез куда-то. Инспектирует соседние вагоны? Пошел показать машинисту, как надо гудеть?..

«Другой». Не такой, как они. Хуже? Лучше? Если лучше, то чем? Что он такого сделал в этой жизни, чтобы быть лучше? Да ни черта не сделал. Профукал полжизни... Женился, разводился, гулял, спал с кем попало, даже не влюбился толком ни разу. Но ведь доволен был, и весел, и беззаботен... Ученым и публицистом себя мнил. Данин горько усмехнулся; бездельник и позер. На окружающих свысока смотрел, «будто чихнуть собирался», насмешничал, развлекался. «...Тебе никто не нужен, вообще никто», — сказала ему как-то жена. Он тогда порадовался этому определению, оно польстило ему. Истинному, стоящему мужчине никто не нужен, он сам по себе. Глупец! Он просто боялся людей, боялся ответственности за них. Зачем усложнять себе такую расчудесную, спокойную жизнь... Но нет, неправда. Есть человек, который ему нужен и которому необходим он. Дашка. Его дочь. О господи, Вадим сжал виски, я же так и не дождался их звонка. Послал телеграмму, а сам не дождался. Забыл! О самом важном забыл! Потому что опять о себе, о себе все помыслы. Негодай!

— Негодай, вот негодай, — совсем близко, почти возле уха, раздался рассерженный женский голос. Вадим вздрогнул и обернулся.

— Позвольте пройти, — густобровая проводница крутила головой и морщилась, как от боли. За ней высился мощный мужчина в железнодорожном мундире и форменной фуражке. Тяжелое, квадратное лицо его было сумрачно.

«Небось мальчишка что-то натворил», — подумал Вадим и спросил:

— Что случилось?

— Обокрали гражданку, все украли: и вещи, и деньги... — Мужчина в фуражке не дал договорить проводнице, положил ей руку на плечо, осуждающе взглянул ей в спину и легонько подтолкнул вперед. Это, видимо, начальник поезда.

Он прав, чего болтать-то зря. Ну, раз уж начала...

— В каком купе? — мягко спросил Вадим, обращаясь уже к начальнику. Тот махнул рукой назад и нехотя ответил:

— В предпоследнем.

И они прошли дальше. Вот напасть-то, не знаешь, что тебя ждет в любую секунду. Стоп! Но ведь поезд не останавливался. Значит, вор еще здесь!

— Послушайте, — крикнул он вдогонку проводнице и начальнику. — Поезд же еще не останавливался.

— Останавливался, — устало ответил начальник. — На полминуты в Рытове.

Рытово. Знакомое название, где-то он слышал его недавно. Ну, значит, теперь ищи ветра в поле. Проводница и начальник скрылись в тамбуре. Вадим потянул вниз окно и подставил лицо жадно ворвавшемуся в вагон терпкому ветру. Тусклый коридорный свет сквозь окна вырывал из темноты приземистые чахлые сиротливые деревца, ютившиеся рядом с полотном.

Громыкнула купейная дверь в конце коридора, и мгновенно вклинился в вагонное безмолвие безнадежный надрывный плач. Из купе высунулась испуганная молодая женщина.

— Вы не доктор? — крикнула она.

— Что? — удивился Вадим.

— Нужен доктор, человеку плохо. Спросите у себя в купе, там нет врачей.

Вадим отрицательно покрутил головой.

— У нас точно нет. Что с ней? — И он решительно направился к открытому купе.

Коротко стриженная курносая девушка инстинктивно запахла халат.

— Истерика, — объяснила она. — Как бы припадка не было. Или приступа сердечного. Я однажды такое видела... Страшно...

В полумраке купе Вадим различил сидящих, тесно прижавшихся друг к другу мужчину и женщину. На противоположной полке, вздрагивая всем телом, полулежала женщина. Сатиновое платье было задрано и открывало похожие на пушечные ядра массивные коле-

ни и рыхлые мясистые ляжки. Вадим едва вступил в купе, как женщина опять заголосила. Кричала она, захлебываясь и всхлипывая.

— Это ее обокрали? — Вадим непроизвольно дотронулся до уха.

Девушка кивнула.

— Как ее зовут?

— По-моему, Екатерина Алексеевна...

— Найдите проводника, — сказал Вадим. — А я попытаюсь с ней поговорить. Лекарства есть какие? Ведь в дальний путь собрались как-никак.

— Ах, да, — девушка всплеснула руками. — Я и забыла. Тазепам.

— Замечательно, и никакого врача не надо. Давайте.

Вадим присел на корточки перед женщиной, осторожно погладил ее по жестким седым волосам, потом по шее, по плечам. Так собак гладят, когда ласкают их. Данин наклонился почти к самому ее лицу и проговорил почти шепотом:

— Тихо, тихо, тихо, тихо... Все в порядке, жулика найдем, деньги отберем у него и вернем обратно, обязательно найдем... — Он повернул лицо женщины к себе. Простое, ничем не примечательное лицо пожилой сельской жительницы. Глаза полуоткрыты, как у сомнамбулы, губы сложены в дудочку. Но она уже не кричит, только стонет надрывно. Вадим положил ладонь женщине под щеку, сунул в рот ей две таблетки, приподнял голову и поднес к губам стакан. Женщина глотнула механически. Вадим отпустил руку, поднялся, отдал стакан девушке.

— Я покурю, — сказал он, вышел в коридор, вынул пачку, извлек сигарету, закурил. Девушка встала рядом.

— Вот гад! — в сердцах сказала она. — Все они гады, преступники. Человек работает, копит, копит, сил не жалеет, месяцами, годами. А они приходят — и раз, одним махом, без труда... Гады! Я бы их! — Она сжала кулачки...

Вадим отрывисто затянулся еще несколько раз и бросил сигарету в окно. Он был возбужден, напряжен и чувствовал, что делает дело, нужное и важное. Что все на него смотрят с надеждой и симпатией.

Вадим стремительно повернулся и зашагал к своему купе. Рывком открыл дверь. На верхней полке кто-



то тихонько посапывал в темноте. Когда это мальчишка вернулся, интересно? Вадим снял пиджак с вешалки, вышел в коридор. На ходу натягивая пиджак, пошел обратно. Подойдя к купе, оперся на косяк, вынул из кармана скомканные деньги, протянул женщине.

— Возьмите. На первое время хватит.

— Да что вы, — отмахнулась женщина.

Тогда он протянул визитную карточку (надо же, пиджон, карточки себе понаделал).

— Появятся деньги, отдадите.

— Господи, — женщина пересчитала бумажки. — Пятьдесят шесть рублей. Это ж деньги.

— Все нормально, — сказал Вадим и повернулся к девушке. — Когда ближайшая остановка?

Совсем скоро была следующая остановка, минут через десять закрипел, зашипел состав, притормаживая, содрогнулся потом всем многотонным своим металлическим телом и замер, отдуваясь, как бы отдыхая, вбирая в себя, разгоряченного, свежий и влажный ночной воздух. В тамбуре возле полуоткрытой двери стояла та самая густобровая проводница. И она тоже воздухом радовалась. Прижмурившись, вдыхала его глубоко и сладостно.

Вадим улыбнулся, берясь за поручень и опуская ногу на ступеньку. Проводница открыла глаза и с испуганным удивлением уставилась на него.

— Вы далеко? — осторожно спросила она. — Мы стоим всего минуту. — Она поднесла часы близко к глазам, — уже полминуты.

Вадим кивнул весело:

— Далеко. Обратно. Домой.

— Ну вы даете! — проводница покрутила головой. — Среди ночи-то.

— Утюг оставил невыключенным, — серьезно пояснил Вадим. — Боюсь, как бы пожара не было. Прощайте. — Он спрыгнул на колдобистый асфальт короткого перрона.

— Да, кстати, — обернулся он. Изумление в глазах проводницы до сих пор не исчезло. — Линейную милицию оповестили?

— Да, — проводница кивнула. — Конечно...

— Ну и славненько. — Вадим поднял руку со сжатым кулаком. — Счастливого пути вам.

По составу пробежал легкий лязгающий звук; затем другой, уже погромче, жестче, снова пересчитал

вагоны, и поезд лениво тронулся. Проводница махнула Вадиму и захлопнула дверь. «Митино», — прочитал Данин на здании станции. Ну Митино так Митино. Поезд постепенно затихал вдали. Становилось все тише и тише. Порывами вдруг задул ветер, и так же порывисто принялись перешептываться деревья. Шум ветвей, листьев, обеспокоенных стволов был густой, тяжелый и, казалось, шел со всех сторон. Вадим огляделся. По обеим сторонам колеи тянулся лес. Только за одноэтажным низким, словно придавленным башмаком великана домиком станции мерцали тусклые огоньки.

«Дыра, — поживаясь, подумал Вадим. — Как есть дыра. Попал!» Лишь два из шести окон станции были освещены. Свет был слабенький, сероватый, будто расцветал там, за окнами, пасмурный унылый день. Вадим направился к двери станции. Под ногами его отрывисто захрустел нанесенный на асфальт песок. Чем ближе он подходил к двери, тем сильнее раздавался хруст. И Вадиму вдруг показалось, что за ним кто-то идет, он резко обернулся и хмыкнул. Никого. Но напряжение осталось. Вадим постарался расслабиться, несколько раз вздохнул и выдохнул. Однако дрожь внутри не исчезла. «Ладно, — поморщившись, сказал он себе. — Просто непривычная обстановка. Пройдет». Дверь открылась, потрескивая, будто влажные поленья запылали в костре. Пахнуло затхлостью и сыростью. Маленький, еле освещенный коридорчик, за ним длинная комната с лавками вдоль стен и с приткнутыми друг к другу облезлыми доисторическими стульчиками. Именно отсюда шел серый сумрачный свет. В углах комнатки сгустилась тьма, и поначалу Вадим различил, кроме стульев, еще только окошечко на противоположной стене, а над ним треснутую табличку «Касса». Замечательно! Вадим пересек комнату и постучал в хилую фанерку, которым было забрано оконце. Молчание. Он постучал громче. Показалось, что стук разнесся по всему зданию.

— Стучите громче, — вдруг услышал он за спиной и невольно сжался, боясь обернуться. Через мгновение сообразил, что голос женский, и это его успокоило. Он медленно развернулся. В дальнем, скрытом темнотой углу угадывались очертания сидящей женской фигуры.

— Стучите громче, — повторил голос. — Она спит.

— Спасибо, — сказал Вадим и поперхнулся. Откашлявшись, повторил: — Спасибо.

Дощечка задрожала под его ударами и неожиданно

отвалилась. И тут же возникла за ней встрепанная крупная женская голова. Маленькие, заспанные глазки ошалело посмотрели на него и на миг опять закрылись. Лицо было рыхлое, мягкое, толстое. Сбитый набок тяжелый пучок, казалось, тянул голову кассирши к столу.

— Чего? — хрипло сказала она.

— Здравствуйте, — улыбнулся Вадим. — Билет до города...

— Поезд только в семь утра. — Кассирша, не стесняясь, зевнула.

— Я подожду, — беззаботно сказал Вадим.

Кассирша почмокала губами, наслаждаясь зевком.

— Пять рублей, — наконец сообщила она.

— Хорошо, — кивнул Данин и полез в карман. Удивленно хмыкнув, сунул руку в другой. Тоже ничего. Он стал шарить по карманам брюк. Пусто. Что за черт? Неужто, не глядя, он все деньги отдал этой самой Екатерине Алексеевне? Болван!

— Ну что, будете брать? — Кассирше нестерпимо хотелось спать.

— Видимо, нет, — с досадой сказал Данин. — Деньги в поезде оставил.

Не объяснять же кассирше, почему он их оставил.

— О господи, — недовольно выдохнула кассирша. — А еще бдют по ночам...

И зашевелила губами беззвучно, вероятно, произнося не совсем любезные слова. Дощечка снова встала на место. Вадим скривился и покачал головой.

— Деньги потерял? — спросили из темноты.

— Можно сказать, что так, — хмуро ответил Данин.

— Ну ничего, завтра отобьете телеграммку. Деньги и пришлют. — Голос был молодой, звонкий, совсем не сонный.

Вадим с любопытством взгляделся в темноту. Но, кроме силуэта, опять ничего не углядел. Он неторопливо подошел ближе. Плотная статная девица там восседала. Она держалась прямо, слегка вскинув голову, и без тени страха или волнения смотрела на Вадима.

— Вы-то куда в такую поздноту? — устало спросил он, усаживаясь на стульчик напротив.

— В три двадцать проходящий идет. А мне до Хаврина надо. Посплю, к семи и приеду.

— А что на этот не сели?



— Так он там не останавливается. — Девушка улыбнулась полными губами.

Лицо у нее было круглое, нос кнопкой, над овальными светлыми глазами выгибались неумело подведенные дужки бровей. «Забавная, — подумал Данин. — Местная королева небось. Но без гонора, простенькая».

— Понятно, — сказал он, устраиваясь поудобнее. — Местная?

— Ага. — Девушка привычно пригладила и без того гладко зачесанные и собранные сзади в игривый хвостик светлые волосы. Тонкое платьице натянулось, и обозначились под ним тяжелые объемистые груди. «Во мужики-то с ума сходят», — усмехнувшись про себя, подумал Вадим.

— Туточки, в Митине, и родилась.

Девушка наклонилась. Возле ее ног стояли пузатые сумки. Она достала два яблока. Одно протянула Вадиму, второе тщательно и сосредоточенно обтерла и с хрустом откусила огромный кусок. Перемолотый крепкими крупными зубами, он стремительно уменьшился во рту...

— Прямо туточки при станции и родилась.

— Замужем?

— Была. — Она презрительно усмехнулась. — Разбежались, слава тебе господи.

— Сейчас одна?

— Набиваетесь, что ли? — Девушка кокетливо повела плечом.

— Да нет, — Данин улыбнулся. Смешная женщина, приятно смотреть на нее. — Интересуюсь просто.

— Все вы просто интересуетесь. — Она опять отломила зубами чудовищный кусок. — А потом... Ой!

Девушка вытянула шею, как потревоженная птица, и прислушалась. Вдалеке что-то надрывно и свирепо рокотало. Рокот нарастал с каждой секундой. Вадим догадался, что это мотоциклетный мотор без глушителя. Девушка отбросила огрызок и засуетилась, приговаривая: «Господи, господи... узнал-таки, ирод! Убьет...»

— Кто узнал? Что узнал? — не понял Данин.

Девушка раздраженно махнула рукой и не ответила. Встала, подхватила сумки и, ссутулясь, посеменила к выходу. Мотоциклы затихли, и тишина, звеня, впилась в перепонки. Девушка не успела — загрохотали шаги в коридорчике, послышались отрывистые, громкие голоса, дверь распахнулась, и, переваливаясь, вошли

двое парней в блестящих кожаных куртках. «Авиационные куртки, перекрашенные в черный цвет», — автоматически отметил Вадим. Ему стало не по себе. Вслед за первой парой зашли двое, в черных отглаженных «выходных» пиджаках. Девушка успела метнуться в темный угол и теперь стояла не шелохнувшись. Один из парней, плечистый, рукастый, с брезгливым лошадиным лицом, мутно взглянул на Данина, сплюнул. Вадим отвел глаза. Такие типы свирепеют, когда им смотришь в глаза. Ладони у Данина мгновенно вспотели, и на спине он почувствовал холодные струйки. Но внешне он был спокоен и равнодушен. Рукастый прошел мимо к кассе, с размаху высадил фанерку. Кассирша вскрикнула.

— Что ты орешь, будто тебя режут? — поморщился Рукастый. — Давай, Степановна, билет до Хаврина. Санечку отправить надобно. — Он погладил плюгавенького по голове. Тот блаженно заулыбался.

— Чего не спится-то? — вздохнула кассирша.

— Гуляем, Степановна, Саньку пропиваем. Женит-ся, сучонок, корешков бросает.

И, верно, в комнате густо запахло перегаром, луком и еще чем-то кислым.

Дверь заскрипела. Рукастый шустро обернулся. Глаза его широко распахнулись, налились злобой.

— А-а, — гаркнул он. — И ты здесь, паскуда...

И он стремглав кинулся к двери. Девушку он схватил уже в коридоре и приволок ее, упирающуюся, хнычущую, в комнату. Плюгавенький присвистнул:

— Она, значит-ца, тебе завтра кой-чего обещала, — тонко пропел он. — А сегодня, значит-ца, ноги делать.

— Стерва, — процедил Рукастый и, гыкнув, замахнулся. Девушка взвизгнула, сжалась, сумки выпали из ее рук.

— Давай, не дрейфь, — подначивал плюгавый Санечка.

Рукастый наотмашь ударил женщину. Она закачалась и чуть не упала.

— Что ж вы делаете, гады?! — закричала кассирша. Плюгавый оттолкнул растопыренной ладонью ее лицо. Кассирша откинулась назад, часто моргая и хватая воздух губами, и неожиданно завизжала во весь голос, а потом в руке ее оказалась какая-то железяка короткая, она вновь высунулась из окна и изо всех сил стала лупить этой железякой Плюгавого, тот отскочил

в сторону. Железяка грузно шлепнулась об пол, и касирша обессиленно поддалась назад, приговаривая: «Хулиганье, подонки... Чтоб вам пусто было...» Вадим крутил головой, словно во сне все это видел, ему казалось, что не с ним этот бред приключается, с кем-то другим, а он за всем издалека, из окошка, наблюдает. Тягуче и муторно заныло в желудке, и тело налилось свинцом, и он не в силах был пошевелиться.

— Прости, прости, Толечка, милый! — съезжившись, обхватив себя руками, захлебываясь слезами, причитала девица. — Я только на денек к сеструхе. Послезавтра б приехала.

— Хватит, — недобро оскалился Толечка. — Хватит, паскуда, меня за нос водить, я те не пацан!

— Во, во, Толик, не пацан, — радостно подхватил Плюгавый. Все происходящее ему явно доставляло удовольствие. — Ты мужик. Сказал — сделал. Пусть прям здесь, стерва, дает, что обещала. А мы отвернемся.

— Как... здесь? — падающим вдруг голосом спросил Рукастый и обернулся, неумело скрывая растерянность на длинном лице. «А у него красивые, незлые глаза», — совсем не к месту промелькнуло у Вадима в голове.

— Почему здесь? — Толик неуверенно глядел на Плюгавого.

— Чтоб опять продинамить не смогла, — ухмыльнулся Плюгавый. — Али что, опять сдрейфил? — Саня кивнул парням: — Глядите-ка, описался король-то наш!

Рукастый опять метнулся к нему затравленным взглядом, потом оглядел парней (лица у них были слегка встревоженные, им не совсем понравилось, видать, предложение Плюгавого) и повернул вдруг голову к Вадиму. Данин опустил глаза. Ну вот опять. Опять втянули его в кошмар. Опять все сначала. Он тихо простонал, сжал зубы, сморщился, ногти впились в ладонки... Что же делать? Не сидеть же вот так сложа руки? Внутри все дрожало, мелко и противно. Девица вновь взвизгнула, послышалась возня, сдавленное дыхание. Вадим осторожно поднял голову. Толик обхватил женщину и лихорадочно пытался ее поцеловать. И Данин вдруг гаркнул разъяренно, вскинулся с места, в мгновение ока подлетел к Рукастому, цепко ухватился за его кожаное плечо, с силой рванул на себя. Тот от неожиданности отпустил женщину, очень удобно полуразвернулся к Вадиму, и тогда Данин ударил левой рукой, затем еще раз, посильней. Рукастый, охнув,



согнулся. Вадим хлопнул его ладонями по ушам и, не теряя ни мгновения, впечатал ему в лицо правый кулак. Толик стремительно выпрямился и грузным мешком обвалился на пол. Девица истошно заголосила и неожиданно кинулась на Вадима с кулаками.

— Что ты лезешь не в свое дело, черт лохматый?! — Голос ее сорвался на хрип. — Ты же убил его...

Вадим неуверенно оттолкнул от себя женщину и отступил назад. Вот тебе раз. Они же все здесь свои, а ты чужак, пришлый, почти враг. Он криво усмехнулся. Женщина с размаху грохнулась на колени, приподняла голову Толику, погладила по лбу.

— Толечка, милый, ты живой, живой? — с надеждой ласково спросила она.

Толик открыл глаза и невидяще уставился на нее. Женщина засмеялась радостно и поцеловала его в висок. «Ни черта не поймешь...» Вадим не успел додумать, удар возле уха чуть не сбил его с ног. Он наклонился вбок, сделал два быстрых шага, выпрямился, огляделся. Один из сонных парней, улыбаясь, потирал ушибленный кулак. Вот это по ним, это дело — было написано на их лицах. Плюгавый полез за пазуху и вытянул черную металлически сверкнувшую змейку — велосипедную цепь.

Это уже серьезно. Второй парень тоже сунул руку за отворот куртки. Вадим шагнул к двери. Туда же стремглав метнулся тот, кто первый ударил его. Обложили. Вадим дернул головой — надо выпутываться, забьют ведь. Плюгавый с холодной улыбкой поигрывал цепью. Не поворачивая головы, Данин пошарил глазами вокруг. Дорога одна — окно во двор. Но оно закрыто. Если он прикроет голову руками... Данин внезапно дернулся вправо, в ту же сторону машинально отклонились и парни. И тогда Вадим сделал прыжок влево, к окну. Парни замешкались на мгновение, и Вадим, прикрыв темечко руками, с силой оттолкнувшись, крикнув, прыгнул в закрытое окно. Словно сквозь вату, он услышал звон, треск, отчаянные крики... Теперь бежать... Подальше от света. Он обогнул какие-то сараи, темные, угрюмые, наткнулся на забор, помчался вдоль него, мимо спящих домиков с белыми трубами. Недовольно загавкали собаки. Где-то отворилось окно, кто-то цыкнул сонно на собаку...

Когда он уже был примерно метрах в трехстах от станции, затарахтели мотоциклы. Долго ж они собира-

лись. Теперь не догонят! Деревушка оборвалась внезапно. Сначала были кусты, упругие, задиристые; потом он чуть не свалился в овраг, затем выскочил на небольшое поле и стрелой пересек его. Мотоциклы тарактели где-то слева, но достаточно далеко. Через несколько секунд он вбежал в лес. Промчался еще пару сотен метров и сбавил ход. Лес он знал плохо. Тем более сейчас ночь, и ничегошеньки не видно вокруг. Можно и заплутать, и выйти обратно к этому треклятому Митину. Значит, надо держаться ближе к полотну. Он опять услышал треск мотоциклов, только теперь почему-то немного впереди. Так, где полотно? Справа или... Да, справа. И он взял правее. Мотоциклы все тарактели впереди. Эти наездники, наверное, сообразили, что единственный его путь — к железной дороге. Он же чужак, он ничего не знает здесь. Поэтому и гремят их мотоциклы впереди, видно, хотят перерезать ему отступление. «Надо же, термины-то военные, — мрачно усмехнулся Данин. — Перерезать, отступление... Но все равно, дорога — это спасение». И он побежал быстрее. Мокрые ветки секли по лицу, густая трава путалась в ногах. Он то и дело спотыкался о кочки, проваливался в невидимые ямки. Лес начал редеть, и, наконец, гладко блеснули рельсы. Он остановился. Прислушался. Было тихо. Мотоциклы уже не ревели. А он и не заметил, когда они замолкли. Так что же? Махнули «лесные братья» на него рукой? Или принялись искать его, спешившись? И опять пришел страх. Пока бежал, его не было, он словно испарился, превратился в жидкий дымок. А сейчас вот опять. А если найдут, если поймут... Вадим, пригнувшись, приблизился к дороге, посмотрел вправо, влево. Никого. Перескочил рельсы и так же, пригнувшись, добежал до леса на той стороне. Через сотню метров остановился, отдышался. Покрутил головой с невеселой усмешкой, ну, прямо партизан. И только сейчас почувствовал боль на тыльных сторонах ладоней. Притянул их к глазам. Кровь. Порезал-таки о стекло. Но вроде неглубокие порезы. Он сорвал листья, стер ими густую черную жидкость. Кровь выступила опять. Он достал записную книжку, вырвал несколько страничек, посплюнявил их, прилепил к рукам. Вдохнул несколько раз и вновь побежал.

Так, до ближайшей станции в сторону города километров пятнадцать. Это по самым скромным прикидкам. Часа за три он их одолеет. Данин перешел на

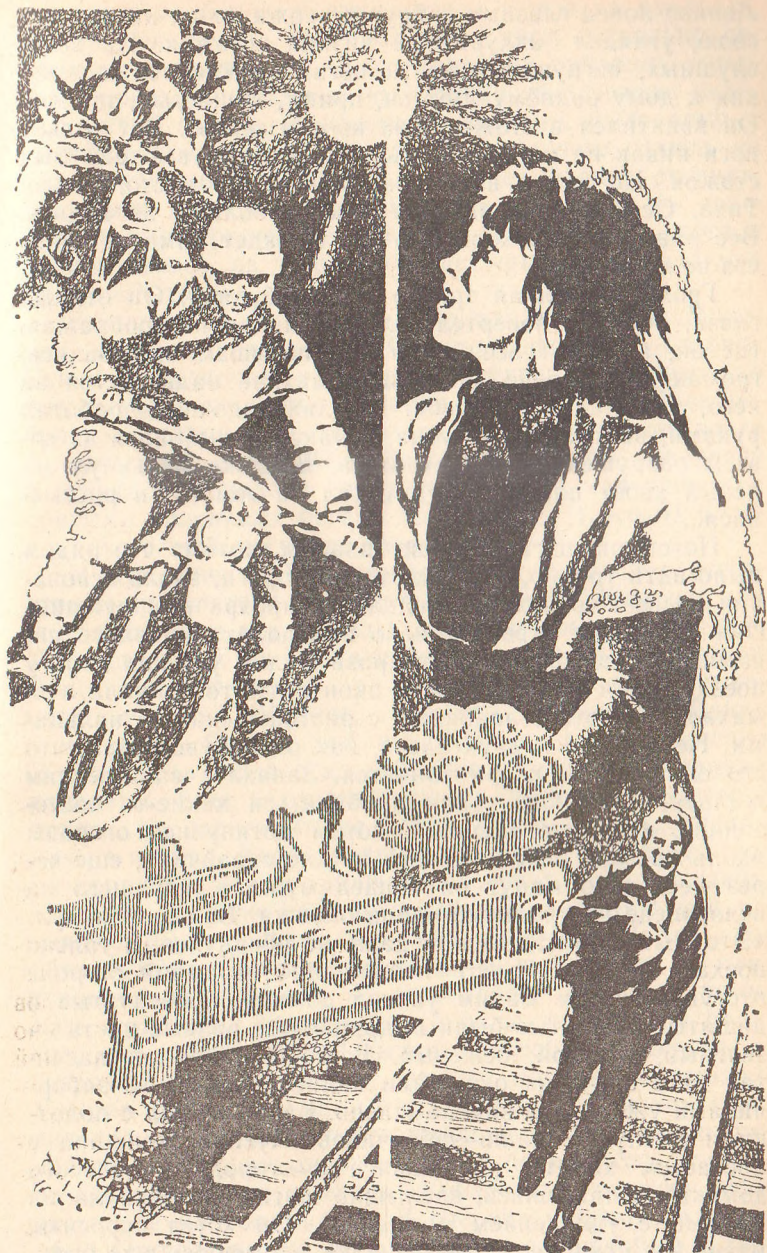
шаг, изредка останавливался, прислушивался. Тихо. Значит, все-таки плюнули на него. Пьянь, мразь. Хотя... Если бы не водка, вряд ли бы этот Толик с красивыми глазами и те двое, сонных, стали бы выкадрючиваться. Когда трезвые, небось совсем неплохие ребята. Только плюгавый подонок, все подначивал. Жаль, не двинул я ему в его замечательное личико.

Страх все еще жил в нем. Теперь пугал лес, темный, холодный, враждебный. Любой шорох, треск, порыв ветра заставляли вздрагивать, сжиматься, заставляли беспрестанно крутить головой, нет ли кого или чего справа, слева, сзади. Он попытался думать о чем-нибудь другом, вспомнить о последних днях в городе, о том, как там хорошо, уютно, тепло. Но не смог. Заглядывая назад, он видел себя все время бегущим. Будто куда-то мчался последние дни, не останавливаясь мчался, как сейчас мчится по лесу. И совсем ему было тогда неуютно, нехорошо и не тепло. Скверно ему было. Он уставал и задыхался. Но бежал, бежал, бежал...

Он и вправду стал уставать, дыхание сделалось прерывистым и шумным. Он перешел на быстрый шаг, а через несколько метров просто побрел ссутулившись. Отдохнуть бы где-нибудь хоть часок, хоть полчасика. Но где? Вокруг сыро и холодно.

Он замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился. Провел ладонями по лицу, оперся на дерево, огляделся. Небо слегка посветлело. Но где же отдохнуть? Он оттолкнулся от ствола и решил пойти ближе к полотну, там все-таки суше и веселей. Но, как только оставил он позади лесную кромку, принялся его обрабатывать выстуживающий предрассветный ветер. И всюду он умудрился забраться: и спину выхолодил, и грудь, и ноги. Вадим застегнул пиджак на все пуговицы, поднял куцый его воротник, сунул ладони в карманы брюк, с удовольствием ощущая сквозь тонкую ткань карманов теплоту бедер... Хоть в лесу и было теплее и тише, но туда он уже не пошел, отпугивал он его своей чернотой и непроницаемостью... Просто-напросто надо идти быстро, и тогда я согреюсь, решил он. И двинул вперед скорым, размашистым шагом. Вдоль полотна шел, в полуметре почти от шпал, по густой короткой траве. Почти час так шел, а потом разом вдруг понял — все, конец, больше не могу, устал чудовищно. Хотя с чего, казалось бы? Он и на большие расстояния хаживал.





Лениво повел глазами вокруг и неожиданно, на радость свою, углядел аккуратный низкий стожок. На непослушных, негнувшихся почти ногах он кинулся к нему, как к дому родному. Вот он, уют, душистый, теплый. Он ввинтился в стожок, как крот в землю. Вот только ноги никак не мог упрятать, бедноватый все-таки был стожок. Но вот и ногам он нашел-таки место. Тепло. Тихо. Остаться бы здесь и никуда больше не ходить. Все равно ничего хорошего его не ждет дома, и никто его не ждет дома.

Грохот и мелкая тряска его разбудили. Он открыл глаза, очумело повертел головой, никак не соображая, где он, а грохот все бил и бил по ушам и, казалось, громадная, свирепо лязгающая машина надвигается на него, подминает под себя. Он лихорадочно заработал руками, выгребаясь из сена, и наконец выбрался из совсем разрушенного уже стожка. Вдалеке мелькнул зеленый хвост поезда. Вадим сел на землю и рассмеялся...

Потом он шагал уже по шпалам, потому что рядом было идти трудно, с обеих сторон дороги, вдоль основания насыпи то и дело попадались прозрачные лужицы. Они отражали утреннее небо и издали казались синими, и ненастоящими. Два раза Вадим уступал дорогу поезду. Дети махали ему из окон и что-то кричали, и он махал им в ответ ладошкой с растопыренными пальцами. Не прошло и двух часов, как он почувствовал, что его одиночество скоро кончится. Запахло человеческим жильем, слабенько стали пробиваться какие-то посторонние, небесные звуки. А потом потянулись огороды вдоль насыпи, вслед за ними ветхие сарайчики, еще через несколько минут он увидел мужика, катящего на велосипеде по тропинке вдоль опушки. Вадим крикнул: «Это Рытово?» Но мужик даже не обернулся, а только поехал быстрее. И вот неожиданно на левой стороне отступил лес, и Вадим увидел домики, бревенчатые и дощатые. Дощатые были выкрашены в разные цвета — зеленый, голубой, бежевый. Всего домиков он насчитал пять штук, их окружали палисадники, и за заборчиками уже вовсю кипела жизнь. Вадим сошел с полотна и двинулся вдоль заборчиков. Пухлая женщина в цветастом халате, копавшаяся в огороде у зеленого домика, выпрямилась, заслышав шаги, и взглянула на Вадима с удивлением и опаской. Он хотел спросить, какая это станция, но не решился, это небось еще боль-



ше напугало бы женщину. Отойдя шагов на двадцать, Данин придирчиво осмотрел себя, снял несколько со-ломинок с пиджака и брюк, поправил рубашку, хмыкнув, провел по щекам и подбородку, скептически оглядел мятые брюки. В общем-то, конечно, было чему и удивляться и чего опасаться. Видок у него отнюдь не респектабельный. Наконец он увидел здание станции. Оно было попредставительней, чем в Митине, — свет-лое, свежевыкрашенное в желтое, двухэтажное, хотя и не модерновое, из довоенных. Под крышей он различил буквы «Рытово».

Взглянул на часы — без двенадцати девять. Моло-дец, скоренько добрался. Он приблизился к зданию. Станция, казалось, еще не проснулась, она тихонько посапывала, сладостно добирая остатки сна. Двое не-бритых стариков в кепках сидели на лавочке возле единственной двери. Они неспешно курили папироски и безучастно глядели перед собой. Трое мальчишек со сбитыми коленками бегали по перрону. И все. И боль-ше никого не было видно вокруг.

И что теперь? Телеграмма? Нет. В связи с отсут-ствием присутствия финансов. А! Телефон. Конечно, как же он забыл о таком благе цивилизации, как телефон. У начальника станции наверняка должен быть телефон! Чудесно! Он позвонит... А кому, собственно, он позво-нит? Женьке? Марине? Может, Сорокину? Данин усмехнулся. Скорее все же Женьке, да, да, именно Женьке. Он вошел в здание. Оно еще пахло недавним ремонтом. Еще не заполнили его запахи ожидания и дороги. На первом этаже буфет, кассы, значит, началь-ник на втором. Вадим поднялся, прошелся по пустынно-му коридору, нашел табличку, постучал, толкнул дверь. Закрыто. Ну конечно, как всегда. В соответствии с за-мечательным общечеловеческим законом. Ладно. Он сбежал вниз. Прошел сквозь здание и очутился на при-станционной площади. У автобусной остановки томи-лась жиденькая очередь, все больше женщины в плат-ках, с сумками. Пустой пыльный автобус с закрытыми дверями, без водителя стоял посреди площади. Угретая уже набравшим силу солнцем площадь тоже виделась заспанной и позевывающей. На противополож-ной ее стороне, во дворе одной из бревенчатых изб за-поздало кукарекнул петух. Кукарекнул коротко, обо-рвав себя на полувывдохе. В очереди негромко засмея-лись. Откуда-то потянуло жареной картошкой, и Дани-



ну вдруг нестерпимо захотелось есть. Да так нестерпимо, что просто немоготу стало. Он проглотил слюну и полез в карман брюк. Пусто. В левом кармане пиджака наткнулся на собачонку, вынул ее, разлохматил, подмигнул ей. В том же кармане пальцы наткнулись на монеты. Не может быть! Он вынул руку из кармана. На ладони поблескивали два гривенника. Кое-что. Жаль, буфет не работает на станции. Данин пересек площадь, прошел вдоль домов, цыкнул на кошку, что собиралась перебежать ему дорогу, завернул за угол и в конце короткой улочки со вздыбленным, растрескавшимся асфальтом разглядел что-то напоминающее прилавки — некоторые были даже укрыты навесами — и людей за прилавками, и много людей перед ними. Рынок. Вадим удовлетворенно улыбнулся. На двадцать копеек там можно чем-нибудь пожить.

Имели место здесь и помидоры, и огурцы, и редис, и лук, и чеснок, и травки всякие, и желтые бока дынь он углядел, и слезящийся срез сала заставил его судорожно слюну сглотнуть. И яблоки здесь были, и груши. Богатый был рынок. Вдруг мелькнуло за одним из прилавков знакомое лицо. Вадим даже остановился. Почудилось, показалось... Каких таких знакомых он может здесь углядеть? Но все-таки глаза сами по себе стали искать это лицо. И опять оно мелькнуло и заслонило чьей-то широкой спиной. Вадим осторожно подошел ближе. Мужчина в синем, аккуратно выглаженном халате и в мятой тесной шляпе на затылке, наклонившись, накладывал яблоки в миску. Перед ним стоял покупатель — шмыгающий носом, приземистый малый в растоптанных сапогах. Вот мужчина выпрямился, повернулся лицом, и Данин охнул. Мужчина скосил на него глаза, и миска с яблоками вывалилась из его рук, рот раскрылся и обвисли безвольно щеки. Левкин! У него тут то ли дом, то ли дача. «В жизни раз бывает встреча», — отстраненно пропел про себя Данин. Левкин зашевелил большими руками перед носом покупателя, заблеял что-то невнятно, потом замолк, опять посмотрел на Данина, выдохнул и беспомощно опустил руки на прилавок. «Растерялся, — усмехнулся Вадим. — Еще бы, член партии и на рынке торгует». Но усмешка не проявилась на его лице, он мысленно лишь хмыкнул, а напоказ улыбку выставил, добродушную, ободряющую. А иначе нельзя, иначе совсем того не желая, злейшим врагом своим этого человека сде-

лаешь. И, узрев эту улыбку, Левкин разгладил лицо, тоже заулыбался, смущенно и потерянно, как бы извиняясь своей улыбкой за то, что вот в таком виде неприглядном его застали; кивнул Вадиму, поманил к себе, ловко подхватил миску, собрал в нее раскатившиеся яблоки, поставил на весы, покачал головой, уже не удивляясь, а уже играя в удивление:

— Как? Что? Откуда? В такой глуши... Фантастика! — заговорил он, высыпая яблоки парню в растянутую авоську.

Данин взял с прилавка краснобокое, твердое, наверное, очень вкусное и сочное яблоко, повертел его в руке.

— Ешь, ешь, — подбодрил его Левкин. — Не покупные, не ворованные, со своего сада.

— Спасибо, — сказал Вадим, но яблоко положил обратно. — Как попал, говоришь? А черт его знает. Глупо и нелепо. — Он хотел даже рассказать, почему здесь очутился, всю правду хотел рассказать, но вовремя удержал себя: зачем? Кто он ему, сват? брат? — От поезда отстал. В Митине письмо хотел отправить, выскочил и отстал, а в поезде вещи, деньги. К маме ехал. В Москву.

— Так ты же был уже в отпуске? — Данин видел, что Левкин все-таки чувствует себя неуютно, нервничает, суетливо все шарит руками по прилавку, тщательно укладывая горкой и без того аккуратно уложенные яблоки.

— Да, договорился, отпустили. — И про увольнение свое он почему-то тоже не мог сказать.

— А-а, — протянул Левкин. — Понятно. Так ты обратно? А как же вещи?

— Сообщил уже на станции. Снимут, перешлют.

— А-а, — опять сказал Левкин. — Понятно.

Он снял шляпу, положил ее на прилавок, пригладил волосы, машинально отер лоб, будто испарина на нем выступила. А может, и вправду выступила — Данин же не приглядывался.

— Так ты без денег? — неуверенно поинтересовался Левкин.

Вадим кивнул. Совсем непохож был на себя Левкин. Всегда говорливый, похохатывающий, разухабистый, большой, крутоплечий, крупноголовый, сейчас он казался унылым, серым, невысоким и худосочным. «Неужто от

встречи со мной так его перекосило?» — спросил себя Вадим.

Левкин огляделся, искал кого-то глазами, не среди покупателей, как отметил Вадим, а среди продавцов; увидев, видимо, кого надо, прикусил губу, потер шею, словно решаясь на что-то, потом выдохнул коротко, пошевелил пальцами в воздухе, бросил Вадиму: «Я сейчас», и пошел спешно к соседнему прилавку. Там склонился к уху какого-то пучеглазого мужичонки, стал говорить ему что-то, показывая себе за спину. Мужичонка понятливо кивнул, полез в карман, вынул мятые бумажки, отсчитал несколько, сунул Левкину, тот невольно огляделся и, приподняв полу халата, запихнул деньги в карман и зашагал назад. Данин уловил на его лице досаду и раздражение. Но выражение это исчезло, когда он подошел.

— Пошли, — сказал Левкин. — В гости ко мне заедем. Я яблоки оптом продал.

— Прогадал? — спросил Данин.

— Ерунда. Это ведь я так, в качестве развлечения. Несерьезно все. Не гнить же продукту. Жалко.

— Конечно, — согласился Вадим. — Обычное дело. К тому же поощряемое государством.

— Во-во, — Левкин болезненно улыбнулся. — И я о том. И ничего страшного в этом нет.

— Совсем ничего страшного, — подтвердил Вадим.

— Да и лишние деньги не помешают, — он явно оправдывался.

— Деньги никогда не мешают. А лишних, признаться, и не бывает-то толком.

Они свернули в тихий, тенистый, не сразу заметный с мостовой проулок, прошли мимо заборов, стискивающих проход. Во двориках было тихо и уютно, и оттуда дразняще и аппетитно тянуло жареным луком и мясом.

— Небось есть хочешь? — спросил Левкин.

— Очень, — сказал Вадим.

Они вышли на другую улочку, точь-в-точь похожую на ту, с которой ушли, и асфальт здесь тоже был вздыбленный, развороченный и растрескавшийся. У заборчика напротив стояла машина, не машина даже, а корытце на колесах, залатанный, обшарпанный и растрепанный какой-то «Москвичок» старой модели. «Четыреста второй, кажется», — вспомнил Вадим. Левкин дернул гу-



бами в скупой улыбке, подошел к машине, повозился с дверью, кряхтя, залез в автомобиль, открыл другую дверцу Вадиму.

— Это так, для местных разъездов, — тихо объяснил он, когда Данин уселся. — От тестя остался. Не выбрасывать же. Если бегают.

Мотор затарахтел, зафыркал. Левкин беспокойно постучал по рулю, спросил, глядя перед собой:

— Поехали?

Щеки его на мгновение втянулись; вспухли и обмякли желваки на скулах. Он чересчур резко и сильно включил передачу, громко газанул, и машина, нервно прыгнув вперед два раза, покатила по дороге.

— Дом недалеко, — сказал Левкин.

— А удобно? — спросил Вадим. — Я не стесню тебя?

— Все нормально, — Левкин опять провел ладонью по лбу.

Остальную часть пути они молчали. Да и о чем говорить? Они и на работе-то мало общались. Служебные дела, анекдоты, вот и все темы для беседы. Через десять минут остановились возле высокого глухого забора, перед обитыми железом воротцами. Калитка отворилась бесшумно. Всполошенно загавкала собака где-то за домом. Весь участок занимали огороды и деревья. Только справа, метрах в пятнадцати от дома, под раскидистой яблоней Данин разглядел столик с лавочками. Когда-то давно сам дом был одноэтажный, потом его надстроили. И со вторым этажом он выглядел теперь не совсем привлекательно. Непропорциональным и неряшливым каким-то гляделся. Первый этаж добротный, бревенчатый, насупленный, а второй — из легкомысленных досочек сбитый, невесомый, ненадежный, того и гляди разлетится.

Вошли в переднюю, захламленную какими-то коробками, банками, пыльными тряпками. Переступив порог, Левкин словно сжался, еще меньше стал.

— Леля, Лелечка, — позвал он. — У нас гости.

Неожиданно впереди открылась дверь, и в проеме возникла невысокая женщина. Лица ее Данин сразу не разглядел, потому что свет от окна бил ей в спину.

— Что случилось? — быстро спросила женщина. — Почему ты так рано? Уже все сделал?

— Нет, не сделал, — виновато заулыбался Левкин. — Коллегу встретил. Я тебе рассказывал, — он показал на Вадима. — Данина. Он от поезда отстал. Голодный.

Я оптом все продал. Ну и сюда. Покушать сготовь что-нибудь, а?!

Женщина вздохнула, обтерла руки о мужскую рубашку, что была на ней надета, протянула Данину руку:

— Леля, — без особого энтузиазма представилась она.

«Разве есть такое имя?» — подумал Вадим и тоже протянул руку. Глаза уже пообвыкли, и он разглядел ее лицо. Блеклое, с бледными губами, с тусклыми, бесцветными, без всякой косметики глазами. Волосы были гладко зачесаны и открывали непропорционально большой лоб. На вид этой самой Леле было под пятьдесят. Неужто она старше Левкина? Тому-то еще вроде сорок четыре. Руку-то Леля протянула, но в комнату не позвала, а, наоборот, захлопнула дверь в нее. Потом шагнула к Левкину, тронула его за локоть, сказала вполголоса:

— Идем, поговорить надо.

Левкин выдохнул шумно, как после стометровки, кивнул Данину.

— Ты... это самое... подожди, я сейчас, мы сейчас, — и, ссутулясь, пошел вслед за женой на кухню. Оттуда пронзительно пахло чем-то острым, овощным.

Забубнили приглушенные голоса. Вадим различил только несколько слов: «Почему так мало?» «Отправил бы его домой», «Пять рублей тоже деньги...», «Посылай тебя». А потом они стали говорить тише. Неловко стало Вадиму вдруг стоять здесь — в тесной, загроможденной ненужными, давно просящимися на свалку или во вторсырье вещами, прихожей, — будто он специально тут остался, чтобы подслушать вовсе не предназначенный для его ушей интимный, семейный разговор, добрый или осуждающий, но интимный, для двоих. Он потоптался на месте, без всякого интереса окинул еще разок переднюю, мельком подумав про Левкина: «А ведь он стесняется неухоженности вот этой, и жены стесняется...» — и направился к двери, на крыльце вздохнул с удовольствием и спустился по разохшимся, ворчливым ступенькам на утрамбованную до каменной твердости дорожку. Позади в доме хлопнула дверь, послышался недовольный голос Лели, сказавшей что-то вроде: «Со всем рехнулся. Ты еще фрак надень...» И стих так же внезапно. И опять хлопнула дверь. «Интересно, — подумал Вадим. — Всегда она была такая? Любила ли его?» Застучали твердые шаги за спиной. Данин обер-

нулся. На крыльце стоял Левкин. Другой Левкин. Преображенный Левкин. Почти прежний Левкин. В темном костюме, в начищенных туфлях, в чистой рубашке, правда, без галстука, с расстегнутым воротом, но он на даче все-таки, не на приеме. Зачесанные назад волосы влажно блестят, на лице широкая улыбка. Он поймал на себе внимательный взгляд Вадима и уловил, видимо, в нем легкое удивление и слегка смутился, ссутулился и неуклюже, чтобы скрыть смущение, быстро сбежал по ступенькам, полубоялся Вадима за плечи, сказал: «Пошли к столику, на воздухе потрапезничаем», — и по-дружески подтолкнул его вперед.

И все-таки, несмотря на смущение, вид Левкина говорил: «Вот, смотри, мы тоже не промах, не хуже некоторых».

Когда усаживались, Левкин поставил на стол бутылку, большую, литровую, а Данин и не заметил ее у него в руках поначалу, так преображением бывшего коллеги изумлен был.

— Сидр, — пояснил Левкин. — Яблочный сок, но с градусом. Холодный — самое что надо к завтраку. Но не свой, покупной. Много его в сельпо. Однако вкусный, мне нравится. Можно изредка побаловаться.

Левкин поправил воротничок рубашки, положил широкие, сильные ладони на стол и, забарабанив пальцами по недавно выкрашенным доскам, нетерпеливо посмотрел на крыльцо.

— Как в институте? — спросил он.

— Все по-прежнему. — Данин достал сигареты. — Скука. Болтовня.

— Значит, никаких катаклизмов, — Левкин помял пальцы. И опять взглянул на дверь.

«Зря я к нему пошел, — тожливо подумал Вадим, закуривая. — Но жрать охота зверски...»

— Что Сорокин? — Левкин поджал губы, сузил глаза и уже не отрывал взгляда от двери.

— Руководит, — сказал Вадим.

— Леля! — вдруг гаркнул Левкин. — Мы заждались. И стаканы принеси. — Он развел руками и скупно, коротко улыбнулся. — Не все еще готово. Она не ждала меня.

— Ничего, — успокоил Данин и, помолчав, добавил: — А у тебя хорошо здесь.

— Правда? — тотчас отозвался Левкин. — Спасибо. Но много еще делать надо. Хозяйство как-никак.



Левкин в который раз посмотрел на крыльцо и наконец сообщил удовлетворенно:

— Ну вот и угощение идет.

Вадим скосил глаза и увидел Лелю с подносом в руках. Она осторожно пробиралась среди огородов, кривилась и тихонько что-то говорила себе под нос. Она так и осталась в мужниной застиранной рубашке, в серой длинной юбке. Только губы подкрасила. И неуместно ярко краснели они теперь на ее бледном, безучастном лице. Она поставила поднос на стол, резкими, нервными движениями сняла с него тарелки, вилки и со звоном стянула поднос со стола.

— Спасибо, — вежливо сказал Данин.

Женщина устало кивнула и повернулась.

— Лелечка, а стаканы, — с мягкой укоризной заметил Левкин.

— О господи, — вздохнула женщина и, досадливо шевельнув плечами, направилась к дому.

Левкин ткнул вилкой в жареные кабачки, кивнул на дымящуюся картошку, проговорил:

— Бери, ешь, не стесняйся.

Вадим положил себе всего понемногу и принялся есть. Кабачки были замечательные, острые с поджаренной хрустящей корочкой, а картошка была жестковатая, чуть недоваренная, именно такая, какая нравилась Вадиму, а сладкие, сдобренные чесноком помидоры просто таяли во рту. И у него быстро поднялось настроение; теперь можно жить. Бесшумно подошла Леля, поставила стаканы на угол стола и зашагала обратно.

— А вы с нами? — предложил ей в спину Вадим.

— Спасибо, — не оборачиваясь, ответила женщина. — Не могу. Дел много.

Левкин тоже посмотрел на ее утомленную, вялую спину, задумался на мгновение, потом потянулся к бутылке, ловко откупорил ее, разлил золотистую пузырящуюся жидкость по стаканам.

— Ну, со свиданьем, — он поднял стакан и, не ожидая, пока Вадим возьмет свой, выпил залпом, жадно и удовлетворенно заглатывая легкое вино. Выдохнул, заморгал часто и сразу налил еще.

— Пить хочу, — с оправдывающейся улыбкой объяснил он. — С утра самого. — И вновь с удовольствием прильнул к краю стакана. Отставил его, почмокал, привычно оттер невидимый пот со лба, хрустнул аромат-

ным мелкозернистым нежным огурчиком, попросил Вадима:

— Дай сигаретку.

Данин протянул пачку. Левкин поковырялся, извлек из нее сигарету, прикурил, затянулся глубоко, с шумом, усмехнулся кривовато и, неожиданно навалившись грудью на стол, спросил, в упор глядя на Вадима:

— Думаешь небось, вот какая дерьмовая жена у Левкина?! — Лицо его заметно побагровело, забила пульсом жилка у виска. — А он, олух, у нее под каблуком...

— Да ничего я не думаю, — растерянно возразил Вадим.

— Думаешь, думаешь, — Левкин махнул рукой почти у самого его лица. — А зря, между прочим, думаешь. Жизнь у нее не сладкая была. Сечешь? Заковыристую очень жизнь она прожила. Ей ведь сорок всего, а ты небось подумал, что под полтинник. Мать у нее умерла, когда ей четырнадцать было. А через год отца удар хватил, парализовало напрочь, а у нее сестренка и братик младшенькие. Понял? Одна она их на ноги поставила. Я, когда встретил, она худюшая была, дерганая, замкнутая, слова не вытянешь. А вот понравилась она мне. Поначалу жалко было, а потом понравилась. И у нас все не как у людей складывалось. Первый ребеночек умер в год. В год умер. Понял? — Он говорил тихо, сквозь зубы, взгляд был тяжелый, враждебный. — Слава богу, двое других живехонькие и здоровенькие остались. Мы много вместе пережили, много всякого вместе видели, и какая бы она теперь ни была, я до конца с ней. Вот так...

Он прикрыл глаза, отдышался, словно бежал долго, не стометровку уже, а марафонскую, долгую, изнурительную дистанцию. Притушил недокуренную сигарету, взял другую, прикурил от спички. Налил еще себе полстакана, поболтал в нем жидкость, отставил.

— Прости, — сказал он и невесело улыбнулся. — Сжались нервы сегодня в комок.

— Ничего, — сказал Вадим. — Бывает. Я все понимаю.

— Может быть, и понимаешь, — рассматривая кончик сигареты, проговорил Левкин. — Может быть. У меня много всякого за сорок пять годов-то было. И женщины были. Да, да. Много было. Но она для меня одна. Понял? — Он опять заулыбался, видно, вспоминая что-

то, и размягченно откинулся на спинку скамьи. — Знаешь, какие у меня женщины были? Ого-го... Не поверишь, — он почесал подбородок, как бы прикидывая что-то, потом сказал: — Эх, раз такой разговор вышел, скажу тебе... У меня ведь с Мариной нашей связь была, долгая, почти полгода...

Вадим машинально ткнул вилкой в тарелку с остывшими уже, отвердевшими, покрытыми желтым масляным налетом кабачками, подцепил кружочек, понес его быстро ко рту, но кружочек сорвался строптиво с вилки и бесшумно свалился на дощатый стол. Вадим чертыхнулся, проткнул его посильней, положил к себе на тарелку, но есть не стал, бросил со звоном в тарелку и вилку. Ни с того ни с сего у него вдруг запылали уши, казалось, будто поднес кто-то к ним зажженные спички. Он невольно потрогал одно ухо и чуть успокоился, убедившись, что они прикрыты волосами и Левкин их не видит...

— А она ведь красивая, правда? — пристально глянув на него, спросил Левкин.

— Красивая, — как можно равнодушной отозвался Вадим, но на взгляд Левкина не ответил. Не мог.

— И молодая, — Левкин качнул головой и принялся сосредоточенно разминать очередную сигарету. — Все у нас было: и жаркие слова, и признания разные...

— И давно это было? — с выдавленной ленивой полуулыбкой спросил Данин.

— Давно. Ты только-только пришел, когда у нас началось.

«Значит, уже знала меня», — с неожиданной вдруг горечью подумал Вадим, и что-то царапнуло его изнутри, шевельнулось какое-то щемящее, непонятное, неясное и раздражающее этой своей неясностью чувство. И ревность, не ревность — откуда, собственно, и — обида не обида, на что обижаться? Все в твоей власти было, а скорее всего осознание утраты, может быть, чего-то не очень большого и не очень важного, но порой необходимого ему для ощущения себя, для ощущения своей силы и уверенности.

— Все прекрасно было, — говорил Левкин, рассеянно тыкая сигаретой в пепельницу. — Но когда приходил к ней, когда видел ее, такую красивую, разнеженную, тотчас Леля перед глазами представала, грустная, усталая. И так больно становилось. Короче, не смог я. Вот так.



— И ты ушел, — сказал Данин только для того, чтобы что-то сказать.

— Да, — Левкин вытянул руки на столе и, внимательно глядя на ладони, сжал и разжал пальцы, будто разминал их после долгого писания, как в школе, в первом классе, «наши пальчики устали...» — Да. И во время. У нее новое увлечение уже появилось. Я чувствовал. Ты.

— Я? — безучастно переспросил Вадим. — Надо же...

— Передо мной-то не ерничай, — усмехнулся Левкин. — Я же видел, как ты с ней...

— Забавлялся, — Данин опять выжал беззаботную улыбку. — Хохмил...

— И у вас ничего не было? — вдруг едва заметно напрягшись, быстро спросил Левкин.

— Ничего, — сказал Данин.

Левкин расслабился, и притаенное удовлетворение мелькнуло в его глазах.

За забором деловито бряцали посудой; слышно было, как шумно текла вода в открытом кране; женский голос громко и недовольно позвал: «Валька, иди домой, завтрак готов, иди, говорю!» Вдалеке неугомонно вжикала пила, и кто-то заводил, видимо, барахливший мотоцикл; он фыркал, тарахтел недолго и глох.

— Почему же я ничего не видел? — неожиданно для самого себя спросил Данин. — Не видел, — добавил он тише, — и не слышал...

Левкин все-таки выпил оставшуюся половину стакана.

— Почему? — выразительно хмыкнув, спросил он. — А потому, что ты вообще ни черта не видел, что вокруг тебя происходит. Все собой был занят, только на себя и глядел, а на остальных чихал.

— Мне просто нет дела до интриг и всякой там мышиной возни, — сухо возразил Вадим. — Кто за кого, кто с кем, группировки, коалиции, подсиживания и тому подобная чепуха меня не интересуют. Мне нечего делить. И терять нечего...

— Нет, не то, — поморщился Левкин. — Мне тоже наплевать на эту суету. Ты людей не видишь, не вглядываешься в них, не понимаешь их, не стараешься понять. Ну кто для тебя Хомяков, или Татосов, или Рогов, или Зерчанов? Функционеры, обыватели; едят, пьют, пону-

ро ходят на работу, исполняют обязанности и спешат к телевизору, и тупо глядят в него... Так?

Данин пожал плечами.

— Так, так, — закивал Левкин. — А знаешь, что Хомяков четырнадцатилетним пацаном на фронт сбежал? Самый лихой разведчик у Плиева был, орден Ленина имеет, во! — Левкин поджал губы и поднял палец. — А уж о других орденах и говорить не приходится. Знаешь, нет? Не знаешь. А знаешь, где он в пятьдесят шестом был? В Венгрии, в самом пекле, уже капитаном. Потом ранение, потом два года неподвижности, стал заниматься наукой и одновременно верил, что встанет. Всего себя собрал в кулаки и встал. А Рогов в тридцать лет был директором НИИ. И нашлись сволочи, которым успех его покоя не давал, закидали соответствующие органы анонимками, все извернули, пару провокаций подстроили. А другие недоумки испугались за свое место, пошли на поводу, лишили человека самой большой его радости — работы. А Рогов так и не пережил удар, сломался. Так и не поднялся, больше сил не хватило. Ну и что? Человек-то ведь порядочнейший. И про Маринку ты ничего не знаешь, и про меня. Все мы на одно лицо для тебя.

— Но не мог же я в личные дела смотреть, — потирая заломивший вдруг висок, негромко сказал Данин.

— А зачем дела? — удивился Левкин. — Общаться надо было, общаться. Ты понимаешь? — Он вдруг хлопнул несильно ладонью по столу. — Ведь многие догадывались о нашей связи с Маришкой: и Хомяков, и Татосов, — я видел, а ведь молчали, чуешь, молчали. Вот так.

— Замечательные люди, — вдумчиво, в тон Левкину сказал Вадим. — И преданные товарищи. Коллектив, одним словом. Круговая порука. Все за одного, один за всех. Корку хлеба — и ту пополам...

— Перестань, — покривив губами, оборвал его Левкин. — Не скоморошничай. Ведь дело говорю.

— Ты всегда говоришь дело. — Вадим подавил зевок, спать хотелось чудовищно. В сенце-то, конечно, прекрасно покемарить, но не в отсыревшем стожке, в пяти метрах от «железки». — Ты умный. Я дам тебе медаль. Представляешь, такую замечательную медаль! За взятие Ума. Здорово, да?

— Дурак ты, — беззлобно сказал Левкин и махнул рукой.

Вадим опять потер нудно тянувший болью висок, потом расправил плечи, потянулся, прижмурившись, посмотрел на солнце, частыми лучиками просачивающееся сквозь листву яблони, сдержал готовый уж вырваться глубокий тягостный вздох, перевел взгляд на Левкина — причудливые, желто-фиолетовые разводы почти совсем заслоняли его — слишком долго Данин на солнце смотрел. Сказал, как о деле решенном:

— Поеду я. Когда ближайший поезд?

— Уже? — Левкин притворно нахмурился, будто ему страсть как не хотелось, чтобы Вадим уезжал. — А то погостил бы, завтра бы и уехал. Устал ведь.

— Нет, Сережа, надо, очень, очень надо.

— Ну, гляди, — сказал Левкин и крикнул: — Леля! Посмотри, когда ближайший поезд до города.

— Чего ж так скоро? — Леля вышла на крыльцо и, вытирая руки о фартук, неожиданно, впервые за сегодняшнее утро заулыбалась. И Вадиму совсем расхотелось здесь оставаться, даже на минуту, даже на секунду, потому что вдруг ясно понял, что плохо ли им тут или хорошо живется, улыбаются они друг другу или ругаются друг с другом, все равно у них уже все отлажено, все расставлено по полочкам, и им не надо ничего решать, нечем мучиться, кроме мелких бытовых проблем. И доживут они так до самой старости, тихо и не спеша. А вот он... Если б они знали, что ждет его, если бы он сам это знал. И так обидно ему стало, так тоскливо, что хоть плачь. И он торопливо стал подниматься из-за стола, чтобы поскорее уйти, выбраться из этого дурмана безмятежной и почему-то вдруг такой желанной жизни. Встал, потопал затекшими ногами, с усилием улыбнулся в ответ Леле, коротко пояснил причину своего ухода.

— Дела, знаете ли, неотложные, — и, чуть поклонившись, поблагодарил ее: — Спасибо за приют, за угощение. Было очень приятно.

— Я подвезу, — предложил Левкин, вставая.

— Не надо, — запротестовал Вадим. — Я дойду. Сам. Хочется прогуляться.

— Так когда поезд, Леля? — повернулся Левкин к жене.

— В десять двадцать.

— Через полчаса, — Вадим посмотрел на часы. — То, что нужно.



— Я все-таки подвезу, — Левкин неуверенно дотронулся до плеча Вадима.

— Спасибо, Сережа. Я правда хочу прогуляться.

— Учти, идти минут двадцать.

— Вот и хорошо.

— Пойдем, до ворот хоть провожу.

Вадим еще раз кивнул, поклонившись Леле, и зашагал к воротам. За ним, взглянув на жену и с легким недоумением пожав плечами, двинулся Левкин.

За воротами они остановились.

— Да, — спохватился Левкин. — Тебе же деньги нужны.

— А я и забыл, — Вадим, усмехнувшись, мотнул головой. — Сколько стоит билет?

— Четыре рубля, — ответил Левкин и, вытащив из кармана десятирублевую бумажку, протянул ее Вадиму.

— Много...

— Пригодится. Отдашь ведь.

Левкин замешкался на долю секунды, покусал мягко верхнюю губу и, не глядя в глаза Вадиму, проговорил вполголоса:

— Ты знаешь, какое дело... Я здесь тебе наболтал всякого. Ну в смысле про Марину. Хотелось бы, чтоб это между нами...

— Конечно. Не беспокойся. — Вадим уже с жадностью смотрел на дорогу, ему нестерпимо хотелось уйти. — Тем более, что я уволился.

— Что? — Левкин вскинул удивленные глаза. — Уволился?

— Потом, Сергей, все потом объясню, — сказал Данин. — Вот когда деньги отдавать буду, и объясню. Пошел я, пошел. Будь здоров.

И коротко пожав Левкину вялую его — от изумления, наверное, ослабшую — руку, зашагал прочь.

Он стоял в стылом, не угретом еще дневным теплом тамбуре, курил и смотрел в окно. Стеной тянулся лес. Он подступал почти вплотную к колее, к поезду, и казалось, что состав идет по тоннелю со стеклянной прозрачной крышей. А потом лес убегал вдруг от дороги. И мелькали золотисто высвеченные солнцем полянки. Уютными, манящими виделись Вадиму эти полянки, иные казались просто неправдоподобными, будто нарисованными восторженным художником. И нельзя было

от них глаз оторвать. И хотелось даже прыгнуть с поезда и пойти посмотреть, вправду ли это настоящая полянка, окруженная изумрудными деревьями, а не мираж, и если не мираж, завалиться в упругую, высокую, не скошенную еще траву и задремать, забыв обо всем. «Хватит, — остановил себя Вадим. — Не расслабляться. Нельзя мне расслабляться...» И он постарался думать о чем-нибудь другом. Сразу же вспомнил Хомякова и безрадостно усмехнулся. Вот как оно бывает. Боевой, и, наверное, добрый, и отличный мужик. А ты вот не увидел, не рассмотрел, некогда было, да и ни к чему. Обозначил его сразу для себя, как только увидел унылое, невыразительное его лицо, и ярлык повесил — «чайник», и больше не раздумывал уже. А он ведь тоже не дурак, увидел твою недоброжелательность и вмиг коготки выпустил, защищаясь. Опять выходит, что от тебя самого все идет, в себе причину всегда искать надо. И с Маринкой ведь так же получилось. Поплевывал ты на нее, вспомни, поплевывал ведь, с самого начала причем... Стоп! Она ведь и с Левкиным наверняка связалась, что ты равнодушен к ней был. Точно, точно. Какую-то фальшь чувствовал он в словах Левкина, горечь и изначальную зависть, когда тот о новом увлечении Марины говорил, словно не новое это было увлечение, а старое, с самого начала их связи Левкину известное. Но догадка не утешила его самолюбие, не стало ему легче. Ему вообще, видать, теперь не скоро станет легче. Он бросил сигарету в окно и пошел в купе, и просидел там в компании с тремя молчаливыми деревенскими женщинами до самого города и всю дорогу гнал, гнал от себя мысли, все боялся, что подточат, порушат они его решимость. А впрочем, решимость ли это была?

Город был прежним, и несколько не изменился. Да и как он мог измениться — меньше суток ведь прошло, хотя Вадиму казалось, что отсутствовал он месяц, а то и два, а то и того больше. Стремительны и деловиты были люди, настойчивы и нахальны автомобили. Также шумно было и беспокойно.

Думал взять такси, но увидел чудовищную очередь, ужаснулся и махнул на излишнюю роскошь, побрел к автобусу. Втиснуться в салон автобуса не сумел (машину осаждала плотная, монолитная толпа), пожал плечами и побрел пешком до другой остановки. Двигался машинально, бездумно глядя перед собой, и оттого не заметил паркующийся у тротуара автомобиль и откры-

вающуюся дверцу, выходящего из автомобиля мужчину и поэтому ткнулся неожиданно в его спину. Чертыхнулся, хотел сказать что-нибудь не очень лестное, но когда тот повернулся, разом забыл придуманные слова. Спорыхин-старший смотрел на него пристально и изучающе. Вадим подался назад, потом ступил вбок и оттянул лацканы пиджака, ловчее усаживая его на себе. Но в глаза Спорыхину глядеть не переставал, держал его взгляд. Лишь несколько секунд, как и тогда во дворе, всматривались они друг в друга, а потом отвели одновременно глаза и разошлись, каждый в свою сторону.

Пока проделывал неблизкий до дома путь (все-таки на автобусе, вытянувшись в струнку и затаив дыхание, а потом пешком), непрестанно лицо Спорыхина-старшего перед ним маячило, растянутое тонкой улыбочкой, холерное, словно умело выстиранное и отглаженное. Острые, с морозцем серые глаза его рассматривали Вадима в упор, не мигая, и мешали сосредоточиться, мешали выстроиться стройно мыслям, чтоб подвели они его к догадке, еще укрытой, пока клубящейся ватной пеленой, но пелена та рассеиваться уже начала, и едва видимые бреши в ней появились, и можно было что-то очень знакомое в них разглядеть, но если только очень-очень внимательно и долго приглядываться. А вот этого Вадиму никак и не удавалось.

У дома, у подъезда уже, с усилием отогнал он от себя это дурацкое болезненное видение, разумно сказав себе, что сейчас уже все равно, докопается он до сути или нет. Скоро он все узнает, ему расскажут, если не все расскажут, то хоть немного, а остальное он сам домыслит.

Хотя, впрочем, надо ли ему это будет? Он стиснул зубы и прикрыл глаза. Ухватившись за ручку подъездной двери, до боли отчетливо представил себе сырой сумрак камеры, а потом вдруг сразу без перехода, без паузы — съевшуюся от ужаса Дашку в руках безликого громилы...

В квартире было душно, пахло пылью, лежалой бумагой и застоявшимся табачным дымом, и еще чем-то приятным, очень близким, очень родным, свойственным только этой квартире — славному его жилищу.

Он со вздохом опустился на диван и, услышав привычное, знакомое побряхтывание и посапывание, чуть приподнялся и сел, и опять услышал те же знакомые звуки. Вадим слабенько улыбнулся, огляделся, осмотрел со всех сторон стол, прищурился, разглядывая, что там



лежит на нем, нахмурился, заметив царапину на дверце — интересно, когда она появилась? Надо замазать лаком. О господи, он сжал пальцами лоб, каким еще лаком? Зачем лаком?! Он крутнул головой, встал, опершись руками о колени, не без труда встал, как после высокой температуры, жаром изнуренный; осмотревшись, проковылял на кухню, поставил табурет перед антресолю, взобрался на него, держась за косяк двери, раскрыл створки, покопался в книжках, сто лет там лежавших, в узлах, давно забытых, извлек из-под одного из них сумку Можейкиной, стер пыль с нее рукавом, спрыгнул с табурета, бросил сумку на стол, сумрачно усмехнувшись, несколько секунд разглядывал ее — даже ведь и не открыл ее ни разу, — и пошел в комнату, к телефону. Не успел руку протянуть, как он звякнул деловито. И хоть тихий был у него голосок, Данин вздрогнул — так неожиданно подал он свой сигнал. Он положил руку на аппарат и, подобравшись, через секунду снял трубку.

— Вадим! Сколько сейчас времени? Ты где? — Ольга задавала глупые вопросы и, задавая их, почти кричала, это чувствовалось по напряженному ее голосу, но звучал он тихо, слышимость была отвратительная.

— Сейчас половина четвертого, — сказал Вадим. — И я дома.

— Что? Я не слышу. Что случилось? Почему ты дал телеграмму? Я волнуюсь, слышишь, я ужасно волнуюсь...

— Все в порядке, — бодренько сказал он. — Я просто беспокоился, почему ты не звонишь.

— Ты что там кашляешь? Ты простыл?

— Нет, я здоров. Как Дашка?

— Нормально. Очень довольна. Мы скоро приедем.

— Не надо, — Данин повысил голос, — скоро не надо. Я уезжаю в командировку. Приезжайте недельки через две.

— Что-то еще произошло, Вадим? Да?

— С чего ты взяла?

— У тебя такой голос...

— У меня превосходный голос. Все, мне некогда. Прощай.

Прощай! Он сказал ей «прощай». Он никогда не произносил этого слова всерьез, только в шутку, только усмешничая; он боялся его, боялся его завершенности, конечности, его безнадёжности. А теперь вот сказал не-

вольно, не раздумывая. Оно вырвалось, вылетело из его уст, само по себе. Нет, не из уст, не с языка, а из самой глубины его, из той самой глубины, которая не всегда подотчетна тебе, не всегда управляема. Значит, все! Значит, так надо! Значит, отступать некуда! Он быстро протянул руку к аппарату, но тот снова, во второй раз, остановил его, зазвенев неожиданно, и Вадим даже почувствовал ладонью колебания воздуха вокруг него. Он сорвал трубку, поднес к уху, ответил. Тишина. «Я вас слушаю», — зло проговорил он.

И по-прежнему тишина.

А потом, через секунду, пульсирующие гудки. Вадим выругался про себя, нажал на рычажки и принялся набирать номер.

— Уваров. — Голос у оперативника был ровный, чуть притомленный.

— Это Данин, — с внезапной хрипотцой назвал Вадим. — Мне надо приехать. Необходимо поговорить.

— Хорошо, — с готовностью произнес Уваров. — Я вас жду.

Ни минуты теперь не медлить, ни секунды, ни мгновения. Он стремительно прошел в ванную, причесался, покривился, увидев на щеках суточную поросль. Ну да бог с ней, сойдет, там побреют. Торопливо прошествовал на кухню, схватил сумку, сунул ее за пазуху, на миг остановился, как-то разом, одним взглядом окинув квартиру: и комнату, и кухню, и коридор, — и, ссутулившись, поспешно шагнул к двери.

С хмурым, неприкаянным лицом он вышел на свет, на улицу, на солнце, потому что хмуро и неприкаянно было на душе. И как ни ласкало его зардевшееся, далеко послеполуденное, ослабевшее уже солнышко, а не сумело разгладить черты, отогнать хоть ненадолго хмурь, а уж к сердцу-то тем более не смогло подобраться, не его там площадка для игр, не его там зона влияния. Он вышел на тротуар, прикидывая, как лучше ехать, и прохожие, снующие по асфальту, казалось ему, коротко осматривая его, шарахаются в сторону, от греха подальше, не дай бог заразит их этот странный тип томительной, душноватой своей тоской. Подойдя к краю тротуара, Вадим будто очнулся — неужто и вправду люди его сторонятся, обходят, боятся задеть, — сосредоточился, огляделся. Да нет, все вроде в порядке. Никому до него дела нет, у всех на лицах только свои заботы начертаны. Но все равно, все равно на такси надо ехать.

Тяжко ему будет сейчас среди людей в общественном транспорте тереться, чужим он будет себе среди них казаться, выброшенным уже из их жизни он будет себе казаться. И он вытянул руку, не глядя на шоссе. Машин много, кто-нибудь да остановится, частник или такси, а может, и самосвал или фургон с надписью «Хлеб». Он и на самосвалах ездил, и на фургонах, и на «скорой помощи», и на поливалках. На чем он только не ездил. Господи, когда это было?! Голубенькое такси бесшумно подкатило к тротуару и плавно притормозило возле него. Вадим подергал переднюю дверцу, она не открылась. Тогда он увидел руку шофера, которая приподняла кнопку замка на задней двери. Вадим щелкнул ручкой, заглянул в кабину и хотел сказать, куда ему надо, но не смог, так и остался с открытым ртом. На сиденье водителя, привалившись боком к спинке, сидел Витя-таксист и неуверенно, чуть морщась, смотрел на него. Данин отпрянул невольно, но тут же уткнулся задом во что-то. А потом все произошло невероятно быстро. Его ударили сзади чем-то твердым по копчику. «Колоном», — безучастно отметил Вадим, ойкнув от боли. Затем с силой толкнули в спину, и он повалился руками вперед, на засаленное, взвизгнувшее в ответ сиденье. Тотчас отворилась противоположная дверца, и мелькнули ноги в синих джинсах. Владелец их ухватил беспомощную, опирающуюся на сиденье руку Вадима, резко и умело подтянул за нее Данина к себе и заломил руку за спину. Вадим снова вскрикнул от боли, теперь уже громче, но никто, конечно, кроме сидящих в машине, его крика не услышал. Бесшумно выпала сумка из-за пазухи. Джинсовый присвистнул и стремительно поднял ее с сиденья. Сумка мягко шлепнулась за головой у Вадима, у заднего обзорного стекла. Потом его опять пихнули справа, и кто-то, грузный и сопящий, повозаясь, устроился рядом. Дверцы хлопнули выстрелами одна за другой, и машина лихо сорвалась с места. Инерцией всех прижало к спинке сиденья, и хватка соседа слева ослабла. Вадим повернул голову. «Курьер». Чернявый «курьер» собственной персоной. Он смотрел на Вадима с сонной кисловатой полуулыбкой. Вадим отдышался, с усилием проглотил слюну. Холодный скользкий ком стоял в горле. Вадиму было страшно, страшно до боли, до рези в животе. Но он чувствовал, что страх не сковал его. Он все-таки соображает и может двигаться и говорить. Только что говорить?



— Ну что? — с всхрипом начал он. — В гангстеров играем? Детство сопливое вспомнили? А? Пусти, руку ломаешь! Если ломаешь, будешь мне по суду бабки выплачивать... — И бегло подумал: «Какую чушь я несу!».

«Курьер» ухмыльнулся во весь рот, но промолчал. Справа шумно хмыкнули и опять засопели. Неестественно вывернув шею, Данин посмотрел и туда. Это сопел толстяк в пиджаке, со стрижкой ежиком и багровым раздражением на лбу, — тот самый, которого Вадим заметил в автобусе, когда возвращался от Наташи. Он неожиданно усмехнулся и тотчас сам подивился своей усмешке — это в его-то положении!

Но усмешка приободрила и придавала и сил и уверенности, что с ним ничего не случится. Плохого не случится.

— Ну что вам надо? — Он опять повернулся к «курьеру». У того хоть лицо не дебильное было, обычное смазливое личико центрального фарцовщика. — Зачем я вам? На мне что, свет клином сошелся?

— Куда сумку везешь? — спросил неожиданно «курьер» с беспечной мальчишеской улыбкой. Это хорошо, что он заговорил. Вадим уже решил, что они так и будут вглухую молчать — это хуже.

— Выбросить хотел, — сказал Вадим. — На кой она мне. Руки жжет.

— Врешь, — не убирая улыбки, мягко возразил «курьер». — В контору небось везешь, друзьям своим, ментам. А мы вот тут как тут. И только тебя и видели на этом шарике.

— Неужто убивать будете? — с легкой усмешкой спросил Вадим, а у самого вдруг неистово и невероятно громко заколотилось сердце. Он на мгновение только допустил эту мысль, и вспыхнул слепящий свет перед глазами, а потом темнота опустилась, и ворохнулось в темноте что-то причудливое, разноцветное; и знакомо заломило в висках, и он задышал часто.

— Вероятно, — звериным чутьем почувствовав, как ослабела, обмякла у Вадима воля, с удовлетворением подлил масла в огонь «курьер» и чуть разжал пальцы на запястье Данина, давая своей руке возможность отдохнуть.

А за окнами, как и сто, и двести, и триста лет назад, жил буднично и деловито город, и не было ему никако-

го дела до Вадима, до его страхов, сомнений, до его поломанной жизни.

Горожане беззаботно смеялись на тротуарах, освободившись наконец от служебных забот, сладостно впивались в мороженое, придерживали на ветру подолы легких платьев, ослабляли узлы галстуков, снимали пиджаки и перекидывали их через руку, заглядывали в магазины, ругались в очереди, нежно целовались, встречаясь у кинотеатра, у парка или просто на углу, и никто и думать не думал, и гадать не гадал, что вот рядом с ними, совсем в нескольких шагах, только сделай шаг, приглядишься внимательней... происходит непоправимое.

Вадим опустил голову на грудь, прикрыл глаза, и такая злость вдруг вскипела в нем, на все и на всех, но больше на себя, на жизнь свою, на глупость, малодушие, трусость свою, и взревел он вдруг яростно, вырвал левую руку у ошалевшего «курьера», двинул со всей силы локтем ему по глазам, а потом без паузы метнул правый локоть туда, где сидел толстяк, и, вскрикнув глухо, ухватил Витю за подбородок и оттянул его голову на себя. Машина завиляла, пьянея словно, но не остановилась, продолжала катиться по инерции, чудом не задевая автомобили, бегущие справа и слева. А они гудели уже вовсю, призывая к порядку расшалившегося шофера...

Боль в правом боку он почувствовал не сразу, поэтому несколько секунд продолжал еще держать Витю за подбородок и отпустил ослабшие вдруг руки только тогда, когда буквально всем телом ощутил меж ребрами острый холод стального лезвия. Толстяк прерывисто сопел и силой вдавливал нож ему в бок, через плотную ткань пиджака, через рубашку... Данин вскрикнул от ужаса и обмяк. Мгновенно отлила кровь от лица и по щекам, по лбу, по шее побежали колкие ледяные мурашки.

Витя крикнул, покрутил головой и судорожно вцепился в баранку.

— Убери нож, идиот толстый! — рявкнул неожиданно у Вадима возле уха «курьер». — Убери, говорю, рожка мясницкая... Тебе же двадцать раз повторили, чтоб осторожно, чтоб вежливо и любезно...

Толстяк перестал сопеть, отвел руку с ножом и, переводя дыхание, обиженно проворчал:

— А чего он...

Вадим отстраненно покосился на него. Толстяк туловато смотрел перед собой и неровно, с легким присвистом дышал. Короткопалая, мясистая кисть его свисала с колена, и пальцы крупно подрагивали, а лицо побгровело и покрылось мелкими капельками пота. Не из простых это, видно, занятие — втыкать в живого человека нож, даже для таких, как этот.

«Курьер» громко вздохнул и цокнул языком. Вадим, как во сне, медленно повернулся к нему. Тот брезгливо и недовольно кривился и то и дело вздергивал подбородком.

— Вот так, — сказал он Вадиму незло и внимательно взглянул на него. — Так что, как видишь, мы не шумим.

Данин молча отвернулся и стал смотреть вперед, в окно. Думать он ни о чем не мог. В голове был вакуум, ни единой, даже самой захудалой, мыслишки не держалось в ней.

В зеркальце над лобовым стеклом он поймал взгляд Вити. По глазам его было видно, что таксист что-то сосредоточенно соображал, взвешивал, прикидывал. Ненависти, или хотя бы недоброжелательства, в его взгляде Вадим не уловил. Но ему было уже все равно. Бок пульсировал болью и напоминал о пережитых секундах. Вадим расстегнул рубашку, сунул под нее руку, пощупал ребра, вздрогнув, наткнулся пальцами на теплую вязкую мокроту и вынул руку. Пальцы были в крови. «За что?» — слабея, спросил себя Данин.

— Эй, орлы, — впервые подал голос Витя, и звенел он испугом и тревогой. — А за нами хвост!

— Что?! — встрепенулся «курьер», но оборачиваться не стал — ученый. — Что ты мелешь? От испуга глюки начались?

Витя сплюнул в окно и проговорил ровно:

— Я — раллист. Мастер спорта международного класса. Пятнадцать лет за рулем. Я дорогу знаю, как свою ладонь, и знаю, как тачки себя ведут, я их чувствую, я каждого рулил чувствую. Понял? Двенадцать восемьдесят четыре, «Жигули», красные, через машину за нами. Это хвост. Он пасет нас уже минут десять...

— Черт, — прошипел «курьер». — Откуда?

— От верблюда, — остроумно заметил Витя.

— Заткнись, — отрывисто бросил «курьер».

— Что-то осмелел ты последнее время, паренек, —





заводясь, заговорил таксист. — Я ведь могу и поубавить твой пыл...

— Ну все, все, — примирительно улыбнулся «курьер». — Сейчас не время.

— Вот именно сейчас самое время, — Вадим заметил, что глаза у таксиста выстудились, даже под прищуром в них чувствовался лютый морозец.

— Ну ладно, Витенька, хватит, — ласково сказал «курьер». — Давай о деле. Кто это может быть? Менты?

— А кто же еще?

— Ну а если...

— Менты!

— Ты уверен? — и «курьер» все-таки осторожно обернулся, глаза засуетились, забежали. — Надо уходить. Как? Мы же почти за городом.

И вправду, мелькали уже пыльные, приземистые пригородные домики с небольшими заросшими участками.

— Вляпались, — мрачно сквозь зубы выцедил толстяк. И подумав немного, смачно выругался.

— Не каркай, — едва сдерживая ярость, врасстяжку проговорил «курьер». Он нервно теребил пальцами нижнюю губу и, прищурившись, смотрел в одну точку на спине таксиста.

— Если они нас не повинтили сразу, — наконец сказал он. — Значит, им надо только пропасть нас. Значит, надо отрываться, так?

— Ты очень умный, — сказал Витя, покосившись в зеркальце.

— Или остановиться, — подал голос Вадим. Судорожная пляска в груди унялась, и потеплели пальцы, будто в воду он их горячую окунул, войдя со стужи домой.

— Или порешить тебя, — без всякого выражения внес свое предложение толстяк.

— Давай, — спокойно согласился Вадим и не спеша повернулся к толстяку.

Толстяк пожал плечами и, кряхтя, полез в карман.

— Заткнись ты наконец, ублюдох! — не выдержал «курьер».

Данин уловил в зеркальце мелькнувшую на лице таксиста тоскливую усмешку.

— А ты умерь свою отвагу, герой, — устало посове-

товал «курьер» Данину. — Твои дружки далеко, а мы близко. Вот они мы, — он подергал пальцами свою куртку. — Потрогай...

Вадим не шелохнулся. Он вдруг подумал, что есть замечательный способ привлечь к себе внимание, что-нибудь такое сотворить возле первого встретившегося на пути поста ГАИ.

— Не гони, — попросил «курьер». Он сидел, вцепившись побелевшими пальцами в спинку водительского сиденья. — Не гони, — повторил он и, словно читая Вадимовы мысли, предупредил: — Скоро пост ГАИ. Объедем от греха подальше.

— Это как это мы объедем? — с ехидцей спросил Витя.

«Курьер» положил ему руку на плечо и надавил на него, проговорил вкрадчиво:

— Через полкилометра съезд будет. Ты его прекрасно знаешь. Бывало, вместе ездили. Забывчивый ты стал.

— Верно, — без особого энтузиазма согласился Витя. — Запамятовал.

И Вадим увидел, как досадливо дернулись у Вити уголки плотно сжатых губ.

«Курьер» оглянулся.

— И не отстают, и не приближаются. Значит, точно, только пасут. Интересно им, любопытно знать, куда это мы едем.

— А и вправду, куда это мы едем? — машинально спросил Вадим. Теперь надо было придумывать что-нибудь другое. Идея с ГАИ сорвалась.

— В гости мы тебя везли, в гости. — «Курьер» пристально вглядывался в правую сторону дороги — жидковатый лесок тянулся вдоль обочины, и ни единого строения, как назло. — С угощеньцем там тебя ждали, с водочкой, с кроваткой теплой... Вот здесь! — вскрикнул «курьер».

Машина резко ушла с мостовой, вздрогнула, въехав на неровный грунт, и, высекая из-под колес обмолоченный почти в крупу гравий, помчалась по проселку.

— Теперь гони! — крикнул «курьер». — Что есть силы гони!

Загрохотали, забряцали всполошенно какие-то железки в автомобиле, завыл от натуги мотор. Данин оглянулся. Красные «Жигули» отстали теперь метров на



триста. Автомобильчик подпрыгивал на ухабах, как детский резиновый мячик. Чья-то голова высунулась из кабины и мгновенно исчезла. И Данину показалось, что он узнал того, кто высовывался. Слишком приметным и запоминающимся был оперативник Петухов. Но откуда взялась милиция?

— Через пару километров параллельное шоссе, — крикнул, перекрывая шум, «курьер». — Уходи вправо.

— Сам знаю, — отозвался таксист.

Посветлело впереди, деревья поредели, а потом и во все расступились... У пересечения проселка с шоссе желтела «Волга» с надписью «ГАИ» на дверце.

— Че-рт! — заревел «курьер» и хлопнул в сердцах по спинке сиденья.

— Надо останавливаться, — Виктор сбросил скорость. — Мы ничего не нарушили. Проверят документы и отпустят.

— Ты рехнулся, рехнулся! Не тормози! — «Курьер» вцепился таксисту в плечи и стал остервенело трясти его. — Этот тип не должен быть в городе! Он вообще не должен быть! Спорыхин убьет меня!

«Тип — это, наверно, я, — догадался Вадим и с отстраненным недоумением подумал: — Отчего же такие страсти?»

— И меня убьет! — продолжал орать «курьер», — и тебя, и Ежа. Он не простит... Не дури... Я же многое знаю про тебя, я все расскажу, я все ментам расскажу...

Таксист передернул с силой плечами, вырвался из цепких пальцев «курьера», подался вперед, надавил на акселератор. Машина скакнула и стремительно помчалась по проселку. Не доезжая до милицейской «Волги», Витя резко свернул влево и погнал по густой траве. Вслед пронзительно запели свистки. Туго ударившись колесами о стенку обочины, такси вылетело на шоссе. «Курьер», громко выдохнув, обессиленно откинулся на спинку. Вот теперь можно. И Вадим снова, как и в первый раз, повторил свой маневр. Только теперь локтями по глазам «курьеру» и толстяку он бил одновременно. Те ойкнули в один голос, а Данин в это время уже ухватил обеими руками голову таксиста. Машина завихляла, как и в прошлый раз, и беспомощно покатила под острым углом к обочине. И вот теперь толстяк не стал давить ножом, он просто им ударил. Но теснота мешала ему

размахнуться и удар вышел несильным. Но все равно жестоким и болезненным. Вадим вскрикнул и отпустил руки. Толстяк снова замахнулся и на сей раз закричал Витя.

— Не смей, сволочь, не смей, довольно, поиздевались...

И резко дернул автомобиль вправо. Толстяк привалился к дверце, и нож выпал из его рук. Машина стала останавливаться. «Курьер» с истеричным надсадным воплем накинулся на Витю и сжал пальцами его шею. Предоставленная опять самой себе машина на скорости выкатила на встречную полосу. Мелькнул в окне огромный КраЗ...

«Вот и все, а ведь только-только себя разглядел», — успел подумать Вадим.

А потом хруст дробимых металлических костей, сухой треск лопающегося стекла, чьи-то звериные, отчаянные вопли и темнота...

Так иногда бывает под утро, в конце крепкого сна. Будто спишь и не спишь одновременно. Еще снится сон, и мельтешат в сознании расплывающиеся силуэты, лица, которые уже не можешь узнать, но твердо уверен, что они тебе знакомы, и «та жизнь» еще не отпустила тебя, еще развивается, беспорядочно ее действо, но все равно чувствуешь уже, понимаешь, что «та жизнь» — это сон и что через мгновение ты проснешься окончательно и все исчезнет, растает, забудется; но в силу какого-то изначального инстинкта, несмотря на это, почему-то все-таки веришь, что «та жизнь» тоже настоящая, и тебе еще хочется узнать, что будет дальше и сможешь ли ты что-нибудь там изменить, если совсем станет плохо... Но пока все было лучше не придумаешь. Он видел себя, большого, нет не то что большого — огромного. Он шел по купающемуся в солнце городу и мог заглядывать на крыши пятиэтажек, а до последнего этажа коробок-башен мог запросто дотянуться полусогнутой рукой, люди останавливались, задирали головы, смотрели на него и что-то приветливо кричали и размахивали руками. Там, внизу, он увидел маму и отца, увидел и Дашку между ними, и очень обрадовался и засмеялся, нагнулся и подхватил их на ладонь. Они счастливо улыбались и добро кивали ему, а Дашка подпрыгивала и хотела дотянуться до его лица. Ему было хорошо, и он

чувствовал, что все может. Он поднял лицо к солнцу, и слепяще высветилось под веками, и он подумал: «Сейчас проснусь», — и проснулся, хотя глаз не открыл, но просто пропал и город, и мама, и отец, и Дашка. И только белым-бело было в глазах и еще очень тепло было лицу, и он опять заулыбался и наконец открыл глаза. Солнце в упор светило на него через чистые стекла большого, почти во всю стену окна. Он удивился: у него в квартире нет таких окон. Разве он не дома? Он хмыкнул подозрительно, но усмешки своей не услышал. Что-то с голосом. Ему стало не по себе, он хотел было повернуть голову, но острая и неожиданная боль пронзила правую часть головы, и плечо, и ногу, и он вскрикнул, тяжело и хрипло. А рядом, по правую руку, кто-то тоненько ойкнул в ответ и завозился возле него, и терпко и приятно пахнуло духами. Боль прошла так же внезапно, как и началась, и он заинтересованно подумал, кто бы это мог пахнуть такими замечательными духами. И увидел выплывающее справа лицо, сосредоточенное, свежее, девичье лицо; из-под донельзя накрахмаленной белой шапочки солнечными завитушками выбегали волосы.

Вадим закрыл глаза, морщась и вспоминая, потому что понял уже, что не дома он. Только вот где?

— Вам больно? — негромко и опасливо высоким голосом спросили его. — Вы меня слышите? Вам больно?

Вадим открыл глаза и весело, как ему показалось, прищурился. А у него и впрямь было хорошее настроение, он почему-то был уверен, что ничего плохого с ним не случилось, и вообще никогда не случится, потому что он сам хозяин самого себя, и может сделать все, что захочет. Он сильный и всемогущий, прямо как тогда, когда был великаном во сне.

— Как вас зовут? — отчетливо прошептал он. — А впрочем, пока это неважно, важно, что вы очень красивая, и сегодня в семь я жду вас у кинотеатра «Орион»...

Девушка засмеялась и, смеясь, совсем по-детски вжала голову в худые хрупкие плечики, туго обтянутые шелковистым белым халатом.

— Раз вы шутите, значит, вам уже не больно. Так? — с интересом глядя на него, произнесла девушка.

— Я совсем не шучу, — сказал Вадим, чувствуя, как пробивается, крепнет его голос. — Какие уж тут шутки,



когда влюбишься, как школьник с первого взгляда. Раз и навсегда...

Он опять прикрыл глаза, потому что устал, слишком долго, показалось ему, он говорил.

Девушка подавила новый смешок и, бросив коротко: «Я сейчас!» — исчезла из его поля зрения. Он пошарил глазами вокруг и справа увидел длинную жердь штатива и прицепленную к нему стеклянную банку, и тонкую резиновую трубку, ниспадающую вниз. «Капельница», — догадался Данин и в первый раз нахмурился.

С ним, видимо, что-то серьезное, раз у кровати капельница.

А он-то сначала подумал, что больно ему оттого, что он отлежал шею и плечо.

И значит, он в больнице.

Почему? Он сморщился, вспоминая. Нет, бесполезно. Рыхлая вата в голове, и вязнут в этой вате мысли и воспоминания...

А потом приходил доктор — озабоченный, смуглый, молодой человек со всезнающими и всевидящими глазами. Он щупал Вадиму пульс, трогал лицо, водил пальцами перед его глазами, прижимурился, что-то сообщая, и задавал дурацкие вопросы: как Вадима зовут, сколько ему лет, где он живет, где работает. А потом Вадим спал, но уже без снов, словно провалившись в теплую черную яму.

А к вечеру опять приходил доктор и опять задавал те же смешные вопросы, и Данин, снисходительно улыбаясь, тихо на них отвечал, а потом ему сделали укол, и он опять уснул.

Утром он очнулся разом, как от удара, и почувствовал, что голова ясная и чистая и настроение приподнятое, и понял, что спокойно, без напряжения может думать.

И он стал думать. Когда пришел доктор, он оставался на том месте, когда приехал в город от Левкина и столкнулся со Спорыхиным-старшим. Доктор опять стал задавать свои вопросы и, удовлетворенно улыбаясь, выслушивать на них внятные, уверенные ответы, а затем вдруг за окном громко зарокотал мотор приближающейся машины и протяжно скрипнули тормоза, и хлопнули дверцы, и Данин все вспомнил и, вспомнив, ничуть этого не испугался, наоборот, ему да-

же полегчало оттого, что он все вспомнил, и, усмехнувшись, он сказал доктору:

— Все, доктор, хватит. У меня нет амнезии, или как вы там называете частичную потерю памяти. Я все помню. Сейчас все вспомнил. И такси, и его пассажиров, и водителя, и как мы вляпались в громадный грузовик, или тягач, или, бог его знает, как его там величают. Сколько я пролежал?

Доктор помялся немного, почесал идеально прямой нос, ответил вполголоса:

— Неделью...

— Как остальные?

— Все живы, — доктор с нарочитым вниманием посмотрел в окно.

— Так, — Вадим, конечно, не поверил ему. Но он все равно сейчас не скажет правды, опасаясь, как бы Данин не разволновался. Все точь-в-точь как пишут в книжках. — Мне немедленно нужно видеть одного работника милиции. Это очень важно.

— Еще не время, — покривился доктор.

— Самое время. Я буду лучше себя чувствовать. Вы сами увидите.

— Не Уваров ли фамилия вашего работника.

— Уваров, — не удивился Данин.

Доктор вздохнул.

— Вот и он тоже говорит, что вы будете лучше себя чувствовать после разговора. Но я... хотя, впрочем, если и вы, и он в этом уверены... Он здесь. Уже второй день обивает пороги и обхаживает меня. Ладно.

И он вышел.

Почти тотчас хлопнула дверь, и кто-то мягкими шагами подошел к кровати.

— Это вы? — спросил Вадим, не поворачиваясь.

— Я, — ответил Уваров. Он шаркнул по полу ножками стула, видимо пододвигая его ближе.

Вадим скосил глаза и увидел усталое сухое лицо оперативника.

— Вы осунулись, — сказал Данин.

— Много работы. Как вы себя чувствуете?

— Очень разнообразно, — сказал Вадим. — Тело плачет, а душа поет. Такое ощущение, что я очень одержимо и плодотворно потрудился и физически, и... — Вадим насунил, расстроившись, что никак не может найти нужного слова.

— Я понимаю, — сказал Уваров.

— Понимаете? — удивился Вадим. — Я сам-то еще ничего не понимаю...

— Я могу понять ваши ощущения. Не суть, а ощущения.

— Ну-ну, — усмехнулся Вадим и тотчас посерьезнел, вздохнул. — Но сейчас не об этом. Мне надо вам многое рассказать...

— Я не для красного словца сказал, что понимаю ваши ощущения, — сказал Уваров, отрывисто скрипнув стулом, наверное, плотнее сел, чтоб сноровистей и удобней было говорить. — Просто я все знаю.

— Все? — заинтересовался Вадим.

— Ну, если не все, то многое.

— Откуда? — Данин приподнял правый уголок губ, словно намекая на усмешку.

— Мы их арестовали. Всех.

— Всех? — Вадим уткнулся локтями загипсованных рук в жесткий, укрытый тощим матрасом панцирь кровати и приподнялся было, но тут же обессиленно рухнул на подушку. — Как Можейкина? Что с Можейкиной? — выдохнул он и сомкнул глаза, подавляя возникшую вдруг под веками резь.

— Все в порядке, — Уваров обеспокоенно взглядывался в Вадима. — Ее до поры до времени держали на даче, в Мелинове. Туда везли и вас. Она и вы очень опасны были для них...

— Для кого «для них»? — быстро спросил Данин, вздернув веками.

— Я все потом расскажу...

— Нет, сейчас, — повысил голос Вадим и нервно шевельнул плечами и так неудачно шевельнул, что опять ожгло болью и шею, и плечо, и руку. И заныли зубы, и слезинки вспухли в глазах. Но он не застонал. Нельзя. Он же теперь все может.

— Врача? — встревожился Уваров и с готовностью приподнялся со стула.

— Нет, — глухо и жестко возразил Вадим. — Почти прошло. Вы лучше скажите, как я выгляжу, чтоб я хоть представил себя. И что там поломано, погнуто, раздроблено.

Уваров привстал, смешливо оглядел Данина со всех сторон, словно не больного человека, а старинную скульптуру в музее рассматривал, потом сел, сказал бодро:

— Значит, так. Рука в гипсе, трещина ключицы.



Левая нога — перелом, ушибы. Правая, как ни странно, не тронута. Ну и легкое сотрясение мозга.

— А почему я не чувствую правую ногу?

— Частично парализована. От шока. Такое бывает. Редко, но бывает. Все нормально у вас. Месяца через два встанете. Как новенький будете.

«И как новенький побреду в тюрьму. За таксиста Витю и за дачу ложных показаний», — подумал Вадим и с удивлением обнаружил, что эта мысль нисколько его не тронула.

Он улыбнулся и уставился в потолок. Трещины на штукатурке напоминали решетку из тонюсеньких прутьев.

— Значит, вы все знаете? — сказал он. — И про сумку, и про угрожающие звонки...

— И про псевдограбеж таксиста, — продолжил Уваров. — И про то, что Можейкина была прекрасно знакома с Лео, и про слезку за вами, и про ваше посещение Митрошки, и еще многое другое...

— Значит, Лео и те двое его дружков арестованы?

— Они арестованы, — Уваров сделал ударение на слове «они».

— Ну так объясните мне теперь. Почему? Почему? Почему я им был так нужен? Неужто все из-за изнасилования? Что-то верится с трудом.

— Хорошо, — Уваров опять пискнул стулом, закидывая ногу на ногу. — Хорошо. Я расскажу вам сейчас. Думал повременить, пока поправитесь. Но сам уж в нетерпении. Слушайте. Мы арестовали не только Лео и его дружков. Мы задержали еще и Спорыхина-старшего, и Можейкина, и еще несколько человек, вам неизвестных, — при этих словах Данин оторопело уставился на Уварова. — Можейкин и Спорыхин-отец старые приятели, еще со студенческих лет. Можейкин был способным математиком, а потом стал довольно незаурядным экономистом. Еще в молодости защитил очень интересную диссертацию. И поэтому до последних дней оставался главным консультантом у Спорыхина. Всю жизнь у Можейкина была одна страсть — нажива. Об истоках этой страсти мы сейчас говорить не будем. Это уж дело следствия и суда. Я рассказываю лишь суть. Одним словом, защитив диссертацию, Можейкин не пошел работать ни в НИИ, ни на преподавательскую работу, а направил свои стопы на производство. Работал на кожевенных, на ювелирных предприятиях. Чуете замашки? Один раз

попал под следствие, но дело против него прекратили за недоказанность. А вот восемь лет назад он вдруг круто повернул свою жизнь и устроился в университет. А произошло вот что. Спорыхин, тогда уже начальник городского строительного треста, профессиональным чутьем уловил какие-то махинации с документами, с отчетностью с финансами у себя в тресте. Посоветовался с Можейкиным. Тот предложил свои услуги, чтобы негласно, без ревизоров и БХСС провести проверку. Спорыхин согласился. Короче, Можейкин накопал там многое. Хищение, подлоги и так далее. Рассказал об этом Спорыхину и намекнул, что, если все вскроется, тот непременно сядет. Спорыхин испугался, страшно испугался. И тогда они с Можейкиным прижали тех четверых сотрудников, с которых вся эта преступная деятельность и началась, и, как говорится, вошли в долю. А доля была, я вам скажу, ой-ей-ей. Случайно, мы еще не знаем как, в это дело ввязался помимо воли отца и Лео, его сын. Он знал о махинациях не много, но для тюремного срока папаши вполне достаточно. Когда Можейкин женился на Людмиле, то через некоторое время она стала любовницей Лео. Лео к тому времени уже прилично пил. И вот в тот день, с которого все и началось, Можейкина пришла на свидание к Лео в квартиру к Митрошке — Лео снимал там комнату для таких встреч. А он был там не один, а с собутыльниками, уголовниками Ботовым и Сикорским. Он предложил ей предаться любви прямо в этой комнате, на диване, а ребята пока посидят. Она отказалась. Тогда Лео, озлобившись, взял ее силой и предложил друзьям сделать то же самое. Ну а те, озверевшие от водки, возбужденные зрелищем, и рады стараться. А потом он решил ее проводить. Они вышли на улицу. И опять начался скандал, который вы и слышали. Можейкина хотела скрыть свое знакомство с Лео сначала потому, что боялась мужа, а во-вторых, потому что Можейкин не раз ей говорил, что они со Спорыхиным одной веревочкой повязаны. И случись что, оба в небытие канут разом. Можейкина не вдавалась в подробности, что и как, но чувствовала, что отношения и дела у них нечистые. Ну а потом, когда Спорыхин-старший и Можейкин прознали про все, ее попросту довели до сумасшествия, почва для этого была благодатная, запугали, как хотели запугать и вас. В свою очередь, Лео, узнав о том, что изнасилованием занимается милиция, испугался и вышел к своему заме-

чательному папаше с таким предложением: или ты любым способом меня выручаешь, или я закладываю тебя соответствующим органам. И Спорыхин занялся этим делом. Но занялся неумело, как дилетант, у него же не было уголовного опыта. Нанял каких-то подонков, чтобы запугивать вас и Можейкину, платил им по максимуму. Лео подключил к этому делу и своих дружков: и Витю-таксиста, и Ботова, длинного в кепке, и Сикорского...

— Значит, чернявый, который был со мной в машине, и толстяк — это люди Спорыхина-старшего?

— Да. Кличка толстяка Еж, зовут Сигаев, Дмитрий Иванович, трижды судимый. От рождения тупой и жестокий. На какой свалке Спорыхин нашел его — неизвестно. А второй, Федоров, обыкновенный фарцовщик, прельстившийся большими деньгами...

— Теперь все понятно. — Вадим вдруг ощутил, как горят у него щеки и лоб от возбуждения.

— Ребята из БХСС, — продолжал Уваров, — давно копали под Спорыхина. Когда мы вышли на Лео, то стали работать с ними в контакте.

— А как вы вышли на Лео?

— Работали... — улыбнулся Уваров.

Вадим устал. Слишком много он узнал за сегодняшний день.

Слишком много он узнал за все эти дни. Теперь надо было думать, долго думать.

Ему захотелось остаться одному. Но что-то он еще не досказал Уварову, что-то такое, что бы заставило того отнестись к Вадиму хоть с крохотным сочувствием. Нестерпимо вдруг захотелось, чтобы Уваров его понял, чтобы хоть один человек его понял.

— Я хотел все рассказать, — неуверенно начал он. — Но не мог. Хотел, но не мог. Так вышло...

Уваров смотрел на него и молчал, и не шевелился, застыл словно.

— Не смотрите на меня так, будто вы лучше! — сказал Данин. — Не смотрите!

Уваров дотронулся прохладной ладонью до его лба.

— У вас температура, — сказал он. — Я позову врача.

— Не надо, пожалуйста, пока не надо. Я хочу побыть один...



Уваров встал, поставил стул на место, к тумбочке.

— А Можейкин, мой бывший начальник, и Сорокин и впрямь знакомы? — вспомнил вдруг Вадим.

— Знакомы, — подтвердил Уваров. — Сорокин должник Можейкина. Крупная сумма за ним. Он отгрохал себе трехэтажную дачу...

— Значит, Можейкин все-таки просил его... — прошептал Вадим.

— Что? — не понял Уваров.

— Да нет, это я так, про себя...

— Ну ладно. — Уваров натянул на плечи спадающий то и дело халат. — Я пошел. Да... — Он остановился на полушаге. — Здесь ваша мама. Она сейчас отдыхает. Хотите, я позвоню ей.

— Да, пусть приходит к вечеру.

— И еще, внизу на улице, под окнами, ваша бывшая жена и дочь. И какие-то двое друзей. Мужчины и женщина. Позвать?

— Не надо, если только дочку. Но без всех. Вы знаете, пусть мама ее приведет.

— Хорошо.

— Меня будут судить? — тихо спросил Вадим.

— Выздоровливайте, — кивнул Уваров. И он ушел, ступая так же мягко и едва слышно, как и вошел.

Данин лежал некоторое время, отдыхая и стараясь не думать ни о чем. Потом открыл глаза, прищурился, пробормотал еле слышно: «Ишь ты, через два месяца встану...» — плотно, до темноты в глазах стиснул зубы, вздохнул несколько раз глубоко и начал осторожно приподниматься. Жесткая боль ударила в шею, в плечо, но Данин не остановился, он продолжал подниматься, медленно, сосредоточенно, помогая себе словами: «Я все могу, я все могу...» К моменту, когда ноги его коснулись пола, глаза уже до рези разъел холодный, терпкий пот. Теперь оставалось сделать только один шаг. До окна. А там он сможет опереться на подоконник. Вдруг он ощутил, что правая нога горит, нестерпимо пылает жаром, будто ее подвесили над костром. А раз он чувствует ногу, значит... Он пошевелил пальцами. Они двигались с трудом. С болью. Но двигались! Данин поднял ступню и с неожиданной боязнью вновь опустил на пол, и сразу ощутил равнодушный холод крашенных досок. Добрый знак. Он передохнул секунду и решительно отжался здоровой рукой. Нога, задрожав, разогнулась. Он встал и с размаху уперся в подокон-

ник. Плечо стрельнуло яростной болью. Данин вскрикнул. Кровь отхлынула от головы, и завертелось все перед глазами.

«Я могу, могу...» — вслух повторил Данин и разлепил глаза. Вертящееся окно через несколько мгновений встало на свое место. Голова мелко и знобко дрожала. Ну и бог с ней, сейчас это уже неважно. Он наконец взглянул вниз. Ольга, Беженцев и Наташа стояли рядом, лицом друг к другу, и о чем-то неторопливо говорили. Женька курил и то и дело машинально лохматил голову. Ольга все время терла глаза, а стоявшая спиной к Вадиму Наташа ежилась, обхватив себя руками. И только одна Дашка, подняв голову (как тогда в его сне), смотрела на окна. А потом она что-то закричала и, подпрыгивая, протянула к нему руки.

## ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ СМОТРЕТЬ НА ВОДУ

Он открыл глаза и тотчас решил, что делать этого не стоило. Надо было еще спать и спать, а может быть, даже и не спать, а просто ворочаться и искать местечко поудобней.

Ворочаться-ворочаться, а потом вдруг, замирая, провалиться в зыбкую полудрему и вновь вынырнуть из забытья, ощущая холод испарины на укрытой тонким одеялом жаркой спине. И так все утро, и весь день, и всю ночь, и еще день, и неделю, и месяц... и чтоб только глаз не открывать.

«С чегой-то вдруг?» — с подозрением подумал Глотов и прислушался к себе придирчиво. Громко и неровно колошматилось сердце, и голова лопалась, будто футбольный мяч, который слегка перекачали никелированным насосиком, и кожа на всем теле как бы высохла и теперь стягивалась, зудела и шелушилась, Глотов пошевелил губами и почесал темечко. Хотя нет, все в порядке. Обычное дело. Привычное. Похмельное. Сейчас бы не валяться на мягкой постельке, а заняться делом, настоящим, мужицким. Он выпростал руки из-под одеяла, приподнялся на локтях, сморщившись от заушавшей в затылке боли, и бессильно откинулся опять на подушки. Вставать не хотелось. Вокруг было тоскливо и мрачно. Холодом веяло и унылостью от блеклых обоев, от треснутого потолка, от неказистого серванта, от тусклого хрустального сверканья в нем, от салфеточек и полотенчиков, от стиранной до катышков скатерти на столе, от герани, традесканций, от портрета тещи с тестем, от портрета его самого в «свадебном» костюме.

— У-у-у-у-у, — сдавленно затянул Глотов, вцепился длинными сухими темными пальцами в лицо и стал мять его, как тесто для пирога. А помяв лицо, унял и маету.

Встал. Чуть шатнувшись на первом шаге, потопал на кухню, выхлестал литровую банку компота, запоздало вспомнив о детишках, для которых наверняка компот и предназначался.



— Прости, господи! — сказал он и сделал страда-  
тельное лицо. Поставив банку, тотчас забыл о детиш-  
ках, вернее — о том, что выпил их компот. Потянулся,  
почесался. Сплюнул в раковину. Отошел к столу. По-  
том снова вернулся к раковине, с полминуты что-то  
рассматривал в ней и после этого пустил из крана ту-  
гую струю и очень был этим доволен. Жар внутри спал,  
но теперь там что-то скребло и неприятно царапало.  
Да так неприятно, что он даже скривился. Сроду тако-  
го не было. Глотов насутился и сел на табурет, голы-  
ми ляжками ощутив успокаивающую прохладу дерева.

— Значит, так, — сказал он и на некоторое время  
сотворил глубокомысленное лицо, но бесполезно, мысли  
прятались, или их не было вовсе. Тогда Глотов сооб-  
щил себе: — Душно, — и воспрял при этом духом, ре-  
шив, что именно в этом вся загвоздка его состояния.  
Раздернул шторы, с треском, залихватски распахнул  
окно и уткнулся лицом в решетку. Он чертыхнулся и са-  
данул по решетке кулаком, она задрожала, а потом за-  
гудела тонко, рука налилась болью. Глотов подул на  
руку, чертыхнулся еще раз и сказал:

— Тюрьма... Трясется, дура, будто покрадут ее с пер-  
вого этажа... А кому она нужна? Кому нужна?! — Он,  
недобро прищурившись, покачал головой. — Ой,  
тюрьма...

Он мутно обозрел комнату и уткнулся взглядом под  
стол. Там на боку валялась спаянная из проволочек фи-  
гурка какого-то животного с жалко подогнутыми тонки-  
ми ножками и без головы.

— Ух ты! — вырвалось у Глотова. Взгляд его мет-  
нулся к столику, что ютился возле пышного дивана, где  
они спали с женой. Столик был пуст, ни проволочки, ни  
бумажки, и даже паяльника не было. На этом столике  
он мастерил своих лошадей, и там всегда толпился це-  
лый табунчик со статными скакунами и неуклюжими  
жеребятами. А сейчас пусто. Он медленно, на дрожа-  
щих ногах, подошел к дивану, и почудилось ему, будто  
хлестнуло под вздох чем-то студеным, он даже маши-  
нально глотнул воздух. Осторожно, как несмышленого  
птенца, выпавшего из клетки, он поднес фигурку к гла-  
зам и прошипел, почувствовав, как затвердели вдруг  
губы:

— У-у, дряны!

...Высунув язык, он припаивал хвост к готовой уже  
проволочной фигурке. Возле него суетился шестилетний

Алешка. За окном шелестел дождик, бежали прохожие, шлепая по лужам. Изредка кто-то весело вскрикивал. Внезапный был дождик и обильный. Но Готов ничего не видел и не слышал. Он весь был в радостном возбуждении. Он всегда пребывал в радостном возбуждении, когда «творил» лошадок. Последнее время он только и жил этим. Он их сначала рисовал, потом подготавливал нужные проволоочки, потом паял их и покрывал скелетик фольгой.

Так хорошо, как во время этой работы, он себя чувствовал только в детстве, в юности, там, в родном Утинове, на Волге, когда, отрешась от «важных» своих дел и забот, смотрел со взгорка, как, окунаясь в красный закат, неспешно плывут по степи совхозные кони.

Алешка еще немного поглядел, как паяет отец, а потом ему стало скучно, и он убежал в свою комнату.

Готов не слышал, как открылась дверь и как, недобро бормоча что-то, прошествовала на кухню жена Лида, волоча за руку заплаканную трехлетнюю Варьку, очнулся он, лишь когда над самым ухом услышал громкое и скрипучее:

— Опять!

Он потряс головой, проморгался, отложил паяльник, с тоской ощущая вновь безрадостное бытие. Сумев все-таки сотворить на лице подобие улыбки, повернулся к жене.

— Умру я, — вымученно проговорила она, и невыразительное, вислощекое ее лицо нервно дернулось. — Хоть бы польза была от этой дребедени.

Когда-то лицо ее казалось Готову свежим и ласковым, а за мягкие щечки страсть как хотелось ущипнуть. Когда это было?

Лида резко рубанула рукой и добавила, повысив голос:

— Убери эту пакость! Воняет, — и, промолчав, заключила. — Дармоед!

— Я в отгуле, — сухо сказал Готов, выключая паяльник.

Прибежала кругленькая Варька и стала карабкаться отцу на колени.

— В отгуле, — передразнила Лида. Она шлепала в огромных тапочках по комнате и подозрительно заглядывала в углы и под мебель — не насорил ли. От него всего можно ждать.

— Вон дитенку ходить не в чем. В отгуле. Пошел бы и подработал.

— Ну опять ты, — миролюбиво отозвался Глотов, поглаживая девочку по головке.

— Опять! — вскинулась Лида, она уже наслаждалась предошущением скандала. — Другие на двух, на трех работах работают.

— На десяти, — опрометчиво вставил Глотов.

— Он еще издевается! — Женщина всплеснула руками. — Он еще издевается. — Она лихорадочно подыскивала слова.

У Глотова сжалось все внутри, но он переборол себя и сказал, видно, повторяя эти слова в сотый раз:

— Я приношу тебе сто пятьдесят чистыми, ты столько же получаешь, Людмила Васильевна дает...

— Ты маму не трожь! — взвизгнула Лида.

— Да я...

— Не трожь, ты за ее счет живешь! Твои дети за ее счет живут! И вместо благодарности ты издеваешься!?

— Я только хотел спросить, куда ты их деваешь? — сисяясь подавить гнев, сказал Глотов.

— Тебя кормлю! — выкрикнула женщина и заплакала, и, как ребенок, размазывая слезы по щекам, ссутулясь, валко побрела на кухню. Варька тоже заплакала и побежала вслед за матерью. Из смежной комнаты выглянул привыкший ко всему Алеша, почесал ухо и вновь исчез.

— Давай уедем, Лида, — грустно глядя перед собой, сказал Глотов. — Как у нас там хорошо. Степь, Волга, дом все-таки...

— Уедем?! — Женщина тотчас забыла о слезах «Все об одном и том же», — вскользь подумал Глотов.

— Я здоровье не пожалела, чтоб в Москву пробраться, я денег не пожалела, и мама столько трудов положила, чтоб в столице как люди жить. А ты уедем! — Она вновь показалась в комнате. Слезы еще не высохли, и лицо было похоже на мокрую недозрелую тыкву.

— Ты бы работал лучше, деньги зарабатывал, а не крокодилов строгал. Зажрался на наших харчах, иждивенец!

Глотов встал и набылчился.

— Иждивенец! — отважно выкрикнула женщина и, упиваясь своей смелостью, подошла к столику, схвати-



ла не доделанную еще фигурку и хрястнула ее об стену.

Гловот закрыл лицо руками, прорычал что-то невнятное и стремительно выскочил из квартиры. У перекрестка у него почему-то стал сваливаться правый ботинок, и Гловот остановился. Ботинки были надеты на босу ногу и не зашнурованы. Короткие домашние брюки оголяли шиколотки, и со стороны он, наверное, был похож на босяка.

— Иждивенец, — с садистским удовлетворением процедил Гловот. — Как есть иждивенец...

Он ослабил ремень и приспустил брюки. Они прикрыли шиколотки, но теперь мятым мешком повисли между ног. Гловот мрачно усмехнулся и сплюнул. Черт с ними. Потом наклонился и завязал шнурки, намертво, на три узла. Сунул руки в карманы, ежась, и огляделся. Теперь куда? Вокруг все было одинаково, прямоугольно и бело. Рехнуться можно! И ни одного знакомого лица. В Утинове, бывало, выйдешь и через одного здороваешься. А здесь и потрепаться не с кем. Тоска! Вот только с лошадками и хорошо. И тотчас вспомнил, как ударяется о стенку хрупкое тельце, и даже звук характерный услышал. Рубанул воздух рукой и ходко зашагал к автобусной остановке. Поскорей отсюда, и из этого белого безмолвия!

Он не переставал удивляться, откуда ж столько народу в Москве. Рабочий день еще, а в метро не войдешь. И на улице не протолкнешься, лавируешь меж ошалевших граждан, как слаломист на трассе. Они тоже, что ль, иждивенцы? Выйдя на «Пушкинской», уныло побрел вниз по улице Горького. Ярость улеглась, и теперь ему было просто муторно. Увидев памятник Юрию Долгорукому, вспомнил, что здесь неподалеку имеется пивная в подвальнойке. Хорошая пивная, не особо грязная, с креветками. Бывал он там как-то с заводскими, достойно пивка попили. Он пошарил по карманам, вытащил рубль, потом еще мелочь, копеек пятьдесят. На пару полных кружек с закуской хватит. Обычного хвоста у подвальнойки не было. Гловот резво сбегал по ступенькам и, перешагнув порог, с удовольствием вдохнул терпкий пивной аромат, перемешанный с пряным запахом отварных креветок.

Первую кружку выпорожнил махом и через две-три минуты с радостью ощутил, как рассасывается тягучая маета под ложечкой и образуется в груди звонкая пущота. Он вздохнул и принялся за креветки. «Хорошо,

что ушел, — подумал бегло и досадливо покривился, на мгновение увидев перед собой колкие глазки жены: — Чего ей не хватает?» Он огляделся. Длинный низкосводчатый зал был заполнен на две трети. Пьяных не было, никто не галдел, ровный глуховатый гул стоял в помещении.

— Можно?

Он обернулся. Низкорослый, узкоплечий, с обширными залысинами мужик пристроился с парой кружек напротив.

— А чего ж нельзя? — без особой радости ответил Глотов. — Пожалуйста.

— Жарко, — сказал мужик, сделав большой, в полкружки глоток.

— Не холодно, — нехотя согласился Глотов.

— Но горяченького не помешает, — продолжал мужик.

— Чего? — не понял Глотов.

— Выпить, говорю, не помешает. — Низенький пристально глянул на Глотова прозрачными серыми глазами.

— Да уж конечно, — состорожничал Глотов и отвел глаза.

— Не желаете? — не отставал мужик.

— Дык я... — Глотов неуверенно поскреб щеку, — пустой...

— Ерунда, — махнул мужик рукой. — Сегодня ты пустой, я богатый, завтра я пустой, ты богатый. Сочтемся когда-нибудь. Я сегодня в настроении. А принять не с кем. Ну?

Глотов закусил губу, решаясь, и наконец припечатал ладонь к мокрому столу.

— Давай!

Пили портвейн, который мужик достал из трухлявого, тертого портфельчика. Вино было пакостное, но в голову шибануло с первого стакана. Когда махнули по второму, у Глотова навернулись слезы на глаза, и он сказал:

— Ты очень хороший. Понимаешь, очень хороший. Я таких здесь не встречал. Вот у нас, в Утинове, таких хороших много, а здесь нет, понимаешь?

Мужик кивал и не спеша лущил креветки.

— Мне так тяжело было, — в такт мужику кивая головой, продолжал Глотов. — А ща полегчало. Потому что что человеку надо? Добро? Правильно?

— Правильно, — подтвердил мужик и, опасливо оглядевшись, налил Глотову еще стакан.

— А себе? — участливо спросил Глотов.

— Я уже, — доверчиво улыбаясь, ответил мужик.

— Да? — удивился Глотов. — А я и не заметил. Твое здоровье.

— Из Утинова, значит? — Мужик внимательно приглядывался к Глотову. — А в Москве как?

— По лимиту. И жена и я. — Глотов расстегнул рубашку и с силой потер грудь. Он чувствовал прилив сил и вселенскую любовь. — Жена у меня есть, Лидочка, и детишки. — Он показал два пальца. — Двое. Хорошие такие детишки. И жена ничего. Мы поженились, и она уехала в Москву, на стройку штукатуром. А затем медсестрой в больницу.., а потом и я уехал. Токарь я. Коллектив у нас хороший. Я пользуюсь авторитетом. Морально устойчив. А денег мало. — У Глотова сорвался локоть со стола. Он смущенно хихикнул. — Извините. А денег мало. Жена всю душу вымотала. Мало и мало. А где я больше возьму?

— Любишь жену-то? — спросил мужик и вытащил из портфеля еще одну бутылку.

— Детей люблю, — строго ответил Глотов.

Глотов лихо опорожнил еще один стакан. Когда он поставил его на стол, сквозь мутную пелену различил, что мужик тоже вроде вытирает губы.

— Значит, не считает тебя жена за стоящего человека, — утвердительно сказал мужик.

Глотову трудно было говорить, и он только покрутил головой.

— Да, нехорошо, — посочувствовал мужик. — А ты докажи ей.

— Как? — спросил Глотов, и ему показалось, что это сказал не он, а кто-то другой.

— Достань денег.

— Где? — Глотов икнул.

Мужик пожал плечами, сморщился, будто соображая что-то, потом произнес, понизив голос:

— Тут неподалеку один гад живет. Занял у меня три штуки и не отдает. Кровные мои. Я на Севере вкалывал. Понимаешь? Потом заработал, а он не отдает. Хотя может. Торгаш он. Ворует как падла, а долг не отдает.

— Сс-с-волочь! — презрительно скривился Глотов.

— Точно. Надо наказать его. Он сейчас в команди-



ровке, квартирка пустая. Подломим дверку — и порядок.

— Это как? — какая-то тревожная мысль мелькнула у Глотова в мозгу и тотчас прочно завязла где-то в пьяных дебрях.

— Очень просто, — весело сказал низенький. — Бац — и все. Ты малый здоровый. Вон плечищи какие. Толкнешь разок, и нету дверки. Внакладе не останешься. Много денег женошке принесешь. Детишек приоденешь.

Гловотв твжело склонился над столом, зажмурился. Завертелось перед глазами лицо жены, теперь невероятно красивое и приветливое. Лида ободряюще кивала ему и посылала воздушные поцелуи, а у ног ее терлись оборванные жалостные детишки. Особо Варька была жалостная. Гловотв открыл набухшие веки. На ресницах у него блестели слезы.

— Ну что? — осторожно разглядывая его, спросил мужик.

— Давай. — Локоть у Глотова опять сорвался со стола.

Они шли по каким-то шумным улицам. Гловотв старался держаться твердо, но все равно то и дело заваливался на своего низенького спутника. Тот одергивал его, матерился жестким шепотом и все что-то про жену ему втолковывал, про детишек, про мужицкую гордость. Гловотв покорно качал головой и потихоньку наливался обидой к жене за ее такое оскорбительное к нему отношение. Потом они ковыляли по безлюдным гулким переулкам, залитым медным закатным солнцем, и Гловотву опять виделся его тихий Утинов, и он даже пропел что-то про родную хату и старую мать. А потом был прохладный подъезд с белой лестницей и голубыми стенами, лифт с зеркалом, обитая блестящим дерматином дверь, которую Гловотв выдавил с одного маха; парфюмерный аромат квартиры... Гловотв стоял, покачиваясь и держась рукой за стену, а мужик живчиком суетился по комнатам и набивал чем-то свой расхристанный портфель, а потом опять лифт с зеркалом и с неприличной надписью под ним «Варька сука», белые ступени и голые стены, и утонувший в расплавленной меди переулок.

В сырой черной подворотне мужик отсчитал Гловотву деньги, рассовал ему по карманам и сказал: «Здесь чотыреста». А Гловотву вдруг показалось, что его объего-

рили, и он выцедил с угрозой: «Мало!» — «Чего?» — спросил удивленный мужик. Готов занес над ним круглый кулак и повторил: «Мало...» Мужик съежился и снова полез за деньгами: «Вот еще двести». Готов мрачно усмехнулся и сунул деньги за пазуху. Он казался сейчас себе сильным и всемогущим. На шумной улице его замутило, он обмяк, и ему захотелось домой. Мужик остановил такси, впихнул туда Глотова, потряс его, проорав на ухо: «Скажи адрес!» — и захлопнул дверцу.

Он долго колошматил кулаками в дверь, позабыв, что имеется звонок, и когда наконец остервеневшая от злости Лида открыла дверь, неуклюже обнял жену, задевая плечами стены, протащил ее на кухню, вывалил деньги на стол и с трудом проговорил:

— Вот, распррржайся...

Лида охнула и, завороченно глядя на деньги, спросила:

— Откуда?

— Т-сс... — Готов прижал указательный палец к презрительно вывернутым губам. — Государственное дело. Спецзадание. Аванс...

И уснул тут же на табуретке...

. . . . .

— Ой, ой, ой, ой! — Готов ойкал и, обхватив голову двумя руками, раскачивался на диване. Влево, вправо, влево, вправо... Потом затрусил в ванную, сунул голову под ледяную струю и, фыркая, долго ерошил волосы плоскими пальцами. Энергично вытерся и уселся на край ванны. Полегчало. «А мож, и не найдут?» — спокойно подумал он и постучал себя по уху — показалось, что туда забилась вода. «И как меня найти? — стал размышлять он дальше. — Да никак. Вон сколько нас в столице-то, аж девять миллионов. Это только в кино им просто жуликов ловить, а в жизни-то...» — И он застыл вдруг с рукой возле уха. Это что же, он — жулик, значит, теперь? Дела! Но случайно ведь, случайно, спьяну. Зуд в груди никак не мог утихнуть. На душе было скверно и тревожно... А вообще-то, может, привиделось ему все с залитых глаз-то? А? Может, и не было ничего? Может, бред то, галлюцинации, белая горячка? Он выбежал из ванной, засуетился по комнате, принялся лихорадочно выдвигать ящики в серванте, потом полез под матрас, потом устремился на кухню и там застучал дверками и ящиками. Но безрезультатно.

Ни в одном из потаенных местечек, куда обычно Лида прятала деньги, он ничего не нашел. Значит, бред? Сердце бешено дубасило о грудную клетку, под горло давила тошнота. Готов постоял в растерянности и кинулся одеваться...

Теперь ароматы пивной заставили его скривиться. Запахи казались душными и смрадными. Готов пошарил глазами по залу. Мужичка-то, конечно, и в помине нет, если и был он вообще.. Готов ухватил за рукав краснолицего малого в белом халате. Тот сумрачно глянул на Глотова из-под тяжелых бровей.

— Эта, слушай, — начал Готов. — Мужик тут один. Такой маленький, крепенький, с залысинами. Как звать, не помню.

— Ну? — вяло моргнул малый.

— Как бы мне того, найти мужичка-то?

— Какого? — нетвердой рукой малый ковырнул в носу.

— С залысинами этого, как звать, не помню...

— Ну? — сказал малый.

— Алкоголик чертов! — злобно выцедил Готов и хотел хрястнуть малого по узкому морщинистому его лбу, но сдержался невероятным усилием и, повернувшись, грузно поскакал по ступенькам наверх, на улицу.

Значит, так, сначала они вроде шли по шумной и яркой улице, потом куда-то в переулок свернули, и там было тихо и покойно. И Готову там стало совсем хорошо. А может, и не сон, и не бред это? Куда сворачивали? И дорогу, кажется, не переходили. Значит, по правой стороне переулок должен быть. Он сунулся в один, затем в другой. Но там былолюдно. На углу третьего блеснула витрина продуктового магазина. Что-то знакомое почудилось Готову в этом блеске. Он прошел с полсотни метров, и переулок круто свернул вправо. И шум как оборвался разом. Уютным и сонным виделся переулок, и ало отсвечивали темные стены домов на солнце. Готов осторожно, почти на цыпочках, двинулся по тротуару. Заглянул во двор одного дома, другого. Все не то. Вошел в подъезд третьего дома. Ступеньки серые, а стены зеленые. Опять не то. Еще один подъезд. Та-а-а-к. Белые чистенькие ступеньки и голубые стены. Готов заволновался, и у него вспотели ладони. Дрожащей рукой он нажал кнопку лифта. Лифт опустился бесшумно. Приглушенно лязгнув, растворились двери. Под зеркалом отчетливо было нацарапано



«Варька сука». Глотов вступил в кабину и, облизнув пересохшие губы, нажал последний этаж. Спускался по ступенькам медленно и опасливо. На пятом этаже оставился и крепко сжал ладошку ладошкой. В полутьме справа возле замка одной из двух дверей ясно белел скол с деревянной рамы. Глотов сделал шаг. Она. Эта самая дверь. Подле замка порван коричневый дерматин и из-под него неряшливо торчал клочок ваты. Глотов прислонился к стене и стиснул лоб руками. И тут что-то треснуло негромко, и дверь стала приоткрываться. Глотов отпрянул и кинулся к лестнице. Ступил на первую ступеньку и невольно обернулся. Сначала из двери показалась коляска, а за ней молодая женщина с ребенком на руках. Женщина захлопнула дверь и покатила коляску к лифту. Лицо у нее было миловидное, но печальное. Узрев Глотова, она вздрогнула. С минуту, наверное, а может, больше и, может, гораздо меньше, смотрели они друг другу в глаза. Глотов ощущал, как слабеют ноги, как колкими мурашками покрывается лицо, и ему хотелось пошевелить коленками и с силой потереть щеки. Но он стоял не шелохнувшись, как истукан. И только, когда в коляске тоненько и жалобно заголосил вдруг ребенок, они отвели глаза друг от друга, и Глотов стремительно запрыгал вниз по лестнице.

Всю дорогу его трясло как в лихорадке. Он что-то яростно бормотал себе под нос и, расстегнув рубаху, с остервенением шершавой ладонью тер грудь. Пассажиры в метро боязливо косились на него и обходили стороной и в переполненном вагоне возле него образовалось пустое пространство вокруг.

У больницы, где работала Лида медсестрой, лихорадка улеглась, но по спине еще пробежал знобкий холодок. Глотов зашел в приемный покой, вызвал жену и сел на улице на лавочке. «Во дела, — изумленно думал он. — Сроду такого не было. Чего трясет-то меня, чего трясет?»

Стеклозвонно звякнули двери, и Глотов вздрогнул. На пороге появилась Лида. Она чинно спустилась по ступенькам и неторопливо направилась к мужу. Лицо у Лиды было недовольное и усталое. Но, когда мимо прошли два стройных молодых врача, лицо у нее сделалось томным и рассеянным, и она вежливо поздоровалась с врачами и при этом с достоинством кивнула, как настоящая светская дама. Врачи хихикнули за ее спиной. Но она ничего не слышала. А Глотов увидел и услы-

шал. И настроение у него еще больше испортилось, и он почувствовал глухое раздражение к своей жене. Когда она наконец подошла, хотел уже встретить ее громким, повелительным окриком — насчет денег. Но не нашел подходящих слов и как всегда в таких случаях, замялся и стал легонько мять ухо.

— Ну что? — почти не открывая рта, обронила Лида.

— Лид, я вчера того был, да? — Глотов с деланным весельем хлопнул себя пальцем по горлу.

— В первый раз, что ль? — Женщина отстраненно рассматривала что-то поверх глотовского плеча.

— Болтал чего-то там, да? — Глотов со смущением поскреб шею.

— О, господи! — Лида со вздохом закатила глаза ко лбу и вымученно произнесла: — Ну чего тебе надо?

Со скрипом распахнулось окно над входом в приемный покой, высунулась толстая женщина в мятой шапочке и крикнула:

— Лида, Лида, ты мне нужна!

Лицо у Лиды вмиг изменилось. Оно стало немного виноватым и просящим:

— Муж пришел, — чуть ли не пропела женщина. — В кои-то веки на работе навестил, — и теперь засветилось лицо ясной детской улыбкой.

Толстая тоже стала улыбаться, затем махнула рукой и проговорила добро:

— Ладно, воркуйте.

Глотов решил наконец:

— Мне нужны деньги, — деревянно сказал он, — которые я принес. Все.

— Ты что, сдурел? — Лида брезгливо поморщилась и посмотрела на мужа с сожалением. — Я долг отдала, да вон еще Марте Степановне одолжила. И себе кой-чего оставила.

Глотов прикрыл веки, ожесточенно помассировал лоб.

— Мне нужны деньги, — упрямо проговорил он.

Лида всплеснула руками:

— То на, то давай. Ты что, чокнутый? Совсем от водки сдвинулся.

— Лида, — Глотов едва сдерживал вскипающий гнев, — ты же не знаешь, откуда эти деньги.

— И знать не хочу, — Лида уже нетерпеливо оглядывалась на отделение.

— А если, если, — Гловот нервно тер подбородок, — а если я их... украл.

— Да мне-то что, — отмахнулась Лида — Украл, так в тюрьму сядешь.

Она повернулась и пошла важно.

— Масла и хлеба купи, — бросила через плечо.

Гловот возвращался домой. Ярко и весело светило солнце, а Гловоту оно казалось лживым и недобрим. Вот, мол, сейчас посвечу, посвечу, чтоб вы, дурачки, пообвыкли, размякли, а потом р-раз и кукиш вам с маслом — заледенею. И люди виделись тоже хитренькими, злобенькими, таящими какой-то подвох, только тронь их — и на тебе, пакость.

Он пошел налево. Через сотню шагов свернул к точно такому же дому, как и у него. Поднялся на лифте на двенадцатый этаж. Одна-единственная дверь из четырех не была обита дерматином с ватой. В эту дверь он и позвонил. Когда хотел было уже уйти, за дверью затопали по-слоновьи, и она отворилась. Душно пахло застойным табачным дымом и почему-то лекарствами. Из-за края двери показалось большое прямоугольное лицо.

— А, — сказала лицо. — Тебе чего?

— Ты дома? — вдруг растерялся Гловот.

— Да и ты не на работе, — спокойно ответили ему.

— Я во вторую смену, — словно оправдываясь, ответил Гловот.

— А у меня оэрзэ. Проходи.

Гловот перешагнул порог и протянул хозяину руку:

— Здорово, Сень.

— Привет, привет.

Сеня был чуть меньше ростом, но такой же кражистый и здоровый, как и Гловот. Лицо у него было литое, словно чугунное. И совсем к месту был на этом лице нос, сплюснутый и жестоко когда-то перебитый у основания. Гловот споткнулся в коридоре о валявшийся посередине гигантский ботинок и, чертыхнувшись, ввалился в комнату.

— Осторожней! — рывкнул Сеня и вошел следом.

В центре комнаты стоял стол, укрытый газетами, а на газетах пестрели бутылки с лекарствами и коробочки с таблетками. Сеня грузно забежал вперед и накрыл все это хозяйство другой газетой, которую взял с подоконника. Только сейчас Гловот увидел, что Сеня в тру-



сах и в застиранной майке. И шея у него завязана теплым шарфом.

Готов не удержался и хмыкнул. Сеня глянул на него свирепо и тотчас сконфузился, заметив мятую темную простыню на кушетке. Он торопливо покрыл ее клетчатым одеялом и шумно опустился на кушетку, она ухнула в ответ, но не обвалилась.

— Очень болею, — сказал в пространство Сеня. — Очень. Чуть не умер. На волоске был.

— А сейчас как? — вежливо спросил Готов, сев на стул.

— Вырвался, — серьезно сказал Сеня. — Откачали.

— Неужто так тяжело? — искренне изумился Готов.

— Ага, — сказал Сеня и вздохнул. — Я часто болею. У меня и плеврит, и люмбаго, и метеоризм, и еще разное там.

— А как же ты грузчиком работаешь, если ты такой больной? — с лицемерным участием поинтересовался Готов.

— Скриплю, — не стал уточнять Сеня.

— А в зоне как же ты жил?

— А! — Сеня скривился и махнул рукой. — С нее все и началось. Я же не жулик какой. По глупости попал. Ну ты знаешь. За драку. Я ж боксер. — Он слегка приосанился. — А там ворье в законе. И не шибко меня зауважали. Да еще за одного пентюха там вступился, за молокососа. Ну и эти законники метель-то меня не стали, побоялись, падлы. А выдумали другую гадость. Подсыпали мне какую-то мерзость в шамовку. Ну меня и скрутило. Вроде дизентерии. Две недели отходил. Нет, три, а может, четыре. Перепугался здорово. Помру, думал. А потом то там заболит, то там. Врачи, козлы, говорят: ты здоров, ты здоров, а я-то знаю, что не здоров. Что б я теперь за кого заступился, хрен с маком, здоровье важней...

— А ворья там много сидит? — осторожно спросил Готов и вспотел отчего-то.

— Хватает. Но больше грабителей и мошенников разных. Воров поймать трудно. Тем более, ежели он один работает. Сломал дверку, уволок шмотье — и ищи ветра в поле. Вору на продаже сыплются. А ежели деньги красть, то это верняк, никогда не свинтят.

— А ты не пробовал? — что-то якобы разглядывая в окне, тихо спросил Готов.

— Чего? — не понял Сеня.

— Ну это... воровать...

Сеня изумленно воззрился на Глотова и спросил вполголоса:

— Зачем?

— Ну деньги там. То, се...

Сеня почесал за ухом, съежил лоб, оглядел комнату рассеянно и опять уставился на Глотова.

— Не смог бы я, — не совсем уверенно произнес он.

— Почему?

Сеня пожал плечами. Они жирно залоснились на свету.

— Не смог бы, и все тут...

— Но почему, почему? — не унимался Глотов, то и дело стирая испарину над верхней губой.

— Да что ты пристал?.. — грубо оборвал его Сеня. — А сам бы смог, орел?!

Глотов увял. Он вжался в стул, знобко повел плечами, и ему захотелось стать маленьким-маленьким, и что-бы дядя Сеня погладил его по голове и подарил шоколадку.

— Я чего пришел-то, Сень, — едва слышно проговорил он. — Одолжи денег.

— Денег? — насторожился Сеня и колюче посмотрел на Глотова. — Много?

— Надо много, — сказал Глотов. — А ты сколько можешь. Позарез надо. — Он провел ребром ладони по кадыку. — Понимаешь — позарез. Пряма даже не знаю как.

— Денег, — повторил Сеня. Он поднялся. Глаза его беспокойно забегали по комнате. — Деньги я Вальке отдаю. А она у родителей. Убежала от меня. Говорит, не могу с занудой жить, а сама будто не зануда, зануда еще больше меня. Я просто больной человек... — Продолжая говорить, он подтянул просторные трусы и зашаркал в коридор, а оттуда на кухню. — Мне лекарства нужны, и за мной ухаживать надо, а она зануда, — слышался его приглушенный голос. — Ну и черт с ней, здоровье важнее.

Глотов сидел, уныло уставившись под кушетку, и вяло кусал большой палец. Голос вдруг оборвался, Сеня погромел на кухне чем-то и вернулся в комнату. Страдальческие глаза его теперь радостно блестели. Он поставил на стол початую бутылку портвейна и мокрый стакан.

— Во, давай махни... а мне нельзя. — Он был очень доволен собой.

Увидев бутылку, Глотов тотчас выпрямился, потому что бурая жидкость, маслянисто еще шевелящаяся в сосуде, враз вызвала тошноту. Под горлом сделалось горячо и противно. И тотчас вспомнились давешний поганец с залысынами и жалкое безголовое тельце лошадики... И Глотов встал, повел нервно подбородком и сказал внятно:

— Да пошел ты...

— Чего? Чего? — незлобливо зачастил Сеня. — Красненькое же...

— Да ничего, — сумрачно отозвался Глотов и повернулся к двери. — Ухожу я. Привет.

— Ну жалко, жалко, — с плохо скрытой радостью заметил Сеня. — Ну что ж, раз надо, так иди.

И пошел провожать Глотова до двери.

Глотов ехал на автобусе на работу и все злился на Сеню. Жмот чертов! Здесь все жмоты. В Утинове он мог бы к любому корешку зайти и, не стесняясь, попросить, мол, дай денегжат. И дали бы. Сколько могли, столько и дали бы. А потом Глотов перестал злиться на Сеню. Потому что вспомнил, что он тоже такой же, как и Глотов, неприкаянный. Также зачем-то приехал в город и не знает теперь, как отсюда выбраться, ни профессии, ни друзей, ни радости душевной — только пакостный портвейн, да никому не нужные лекарства, да еще обидчивая жена Валя, которую Глотов никогда не видел и которая представлялась ему похожей на его Лидку — только потолще и поуродливей.

Смену отработал знатно. Вкалывал как заведенный. Почти в два раза перевыполнил норму, хотя и запорол несколько десятков деталей. Испорченные втулки его не расстроили, главное, что на эти семь часов он совсем забыл, что случилось, и чувствовал себя расчудесно. Весело и споро прибрал станок в конце смены, ловко опередив нескольких ребят, занял кабинку в душе, хоча, отбивался, когда его пытались вытащить оттуда, потом растерся до красноты полотенцем, кряхтя от удовольствия, надел прохладные брюки и рубашку, совсем разомлел от умиротворения и уселся на жесткой скамье, раскинув руки и широко расставив ноги, словно загорая. Несколько рабочих копошились в углу раздевалки.



Они шептались и лазили по карманам. Лохматый краснолицый Ленька обернулся к Глотову и прогудел негромко, чтобы в другом конце раздевалки было не слышно:

— Эй, Глот, давай бабки, ща взбодримся.

Глотов невольно подтянул ноги и сел нормально. Умиротворения как не бывало. Опять стало тоскливо и гадко, он опять «вынырнул» в эту постылую суету.

— Нет, — излишне резко сказал он и встал.

— Что нет? — искренне удивился Ленька.

— Без меня, — обронил Глотов через плечо уже у двери и повторил: — Без меня.

— Ух ты какой! — едко произнес Ленька. — Заболел, что ль?..

Он добавил еще что-то вполголоса, и все, кто стоял рядом, громко и обидно засмеялись. Глотов остановился, едва заметно шевельнул плечом, словно развернуться хотел и продолжить разговор, только в других уже, более подходящих тонах, но не стал ничего этого делать, а только дернул болезненно щекой и с грохотом распахнул дверь.

В коридоре его догнал бригадир Зотов, крепкий сорокалетний мужик.

— Погоди. — Он придержал Глотова за локоть. Тот даже не обернулся, а локоть вырвал раздраженно. Зотов забежал тогда вперед и заглянул Глотову в лицо. Волосы у Зотова были мокрые и аккуратно причесаны, но на макушке смешно торчал петушиный хохолок. Глотов хмыкнул и остановился.

— Ну чего?

— Молодец, правильно, — серьезно и горячо заговорил бригадир. — Так им, пьянчужкам. Бросил, что ли?

Глотов нетерпеливо пожал плечами.

— Вот и хорошо, мы теперь вместе...

— Ладно, — оборвал его Глотов. — Вы уж как-нибудь одни. Я сам по себе.

— Да ты не понимаешь, — настырничал Зотов. — Это же государственное дело. Всем миром против пьянства.

Глотов сморщился обессиленно.

— Замучил ты меня. А я устал. Спать хочу. — Он отстранил Зотова и зашагал к проходной. «Не понимаешь, не понимаешь, — повторял он слова Зотова. — И, верно, не понимаю, ни черта не понимаю. Спать хочу, зараза такая».

— Не думал я, что ты такой, — в спину ему крикнул упорный Зотов.

И Глотов неожиданно обернулся и, прищурившись, сказал громко:

— Дай денег в долг, Зотов.

Бригадир недоуменно вытаращился на Глотова.

— Дашь на дашь, что ли? — наконец спросил он догадливо.

— Дурак ты, — Глотов сплюнул.

— Да не ерепенься, постой. — Что-то в Глотове, видеть, нравилось бригадире (Глотов и раньше это замечал), потому он и не обиделся на него. Он тактично осведомился:

— Совсем, что ль, на бобах?

— Совсем, — хмуро ответил Глотов.

— У меня, понимаешь ли, сейчас нету. — Зотов говорил искренне, и Глотов видел это по его неподдельному смущению, и неожиданно для себя он вдруг почувствовал что-то похожее на симпатию к этому человеку. Ему даже захотелось с ним поболтать, не по пьянке, а просто так, по-человечески, задушевно. Глотов вздохнул.

— Слушай, — обрадовался Зотов. — А в кассе взаимопомощи?

— Я уже брал. Так скоро опять не дадут. У меня еще вычитают.

— Будь спок, — подмигнул ему бригадир. — Я поговорю с кем надо. Двести хватит?

Глотов машинально кивнул. Хотя можно было бы и побольше, но он же не какой-нибудь там нахал, он... «Жулик», — испуганно прошептал Глотов, повернулся и, оставив Зотова в изумлении, побежал к проходной.

Автобус был совсем пустой и ехал медленно и подолгу стоял на остановках, а людям, томившимся на остановках, не нужен был именно этот автобус, а нужен был другой, но водитель почему-то все равно стоял.

Глотов сел и стал смотреть в окно. Дом на другой стороне показался знакомым. Глотов вспомнил, что еще сегодня утром хотел зайти после Сени в этот дом, к Мишке, еще одному своему знакомцу по магазину. Мишка был парень ничего, всегда бодренький, веселый и обладавший одним неоценимым достоинством — его никогда не донимало похмелье.

Увидев его, Мишка сначала обомлел и не хотел даже пускать, почти одиннадцать, у него все спят, но по-

том что-то прикинул, ухмыльнулся большим ртом и махнул, мол, давай проходи. Мишка работал лаборантом в каком-то НИИ, и поэтому Глотов не удивился, увидев на кухне какие-то колбочки, трубочки, резиновые и стеклянные змеевики.

Он удивился другому — мебель на кухне была такая, какую он только на картинке видел в журналах, да еще в квартире Жанки-официантки, что на третьем этаже его дома жила. Глотов ей как-то новый импортный замок вставлял. Красивая была мебель и, наверное, очень дорогая, бело-красная, глянцево поблескивающая, веселая и уютная. И Глотов подумал, что ему из такой кухни и уходить, наверное, не захотелось бы никогда.

Вот уж никак не мог представить, что у неряшливого Мишки такая мебель. Правда, Глотов всегда подозревал, что водятся у Мишки деньги. Когда ребята скидывались, Мишка обычно жался, кряхтел, цыкал, мотал головой и доставал мятый рубль, а то и просто мелочь. Но, бывало, когда разойдется, закрутятся у него мозги пьяным вихрем, вырывал из кармана по-барски то червонец, то четвертной, оправдываясь, мол, должок получил... Жена, что ль, зарабатывает? Хотя Мишка вроде говорил, что она нянька в детсаду, а там много не заработаешь.

Мишка ловко и привычно суетился по кухне, доставал из мягко открывающихся ящичков чашки, блюда, конфеты и изредка кидал на Глотова хитрые взгляды. Глотов робко присел на краешек табуретки и смущенно сложил руки меж колен, будто он только что из глухой деревни приехал, в барский дом попал.

— Эх, Глотыч, Глотыч! — Мишка расставил чашки, налил воды в чайник, водрузил его на электрическую плиту. — Чего ручки сложил, как сиротка пропадающая? Маешься, что ль? Долбануть охота? — Глазки у Мишки были маленькие, черненькие, остренькие и совсем не увязывались с мягким и пористым, как губка, лицом.

— Да нет, — тихо ответил Глотов. — Я по делу.

Он страсть как не любил чего-то у кого-то просить, а сейчас и вовсе, когда увидал такое Мишкино богатство, заругал себя последними словами, что пришел.

— Ну ежели по делу, тады прощаю твою бесцеремонность, — с усмешливой серьезностью проговорил



Мишка и пододвинул Глотову пачку «Космоса». Глотов поблагодарил кивком, но достал «Приму».

— Хорошо живешь, — сказал Глотов и стал сосредоточенно разминать сигарету. Он решил, что не будет ничего говорить Мишке про деньги, а придумает сейчас какую-нибудь чепуху, спросит его об этой чепухе и уйдет.

— А ты думал, — весело отозвался Мишка. — Мы не босяки какие вроде Сеньки-боксера или там Носатого, мы, понимаешь ли, интеллигентные люди. Наука великая вещь. Ежели мозги имеешь, прибыльная эта штука. Главное — научиться соображать, что к чему, и из самого простого научного закона можно пользу извлекать. — Мишка глубоко затянулся, откинулся на спинку стула и победно посмотрел на Глотова. — Скоро я, Глотыч, большим человеком буду, оденусь, как лорд, тачку куплю, и будем мы с Лизаветой шикарно подкапывать к роскошным ресторанам. Иностранцы, артисты, музыка гремит, Лизка в мехах, я в лакированных ботинках...

Глотов глядел на него во все глаза и ничего не мог понять.

— А для чего живем-то? — пьянея от собственного рассказа, продолжал Мишка. — Только для этого ведь и живем... — Тут он умолк разом, вытянув шею, повел носом, как натасканный охотничий пес, сдвинул брови, вскинулся и поскакал на цыпочках в коридор и скрылся в каком-то чуланчике, негромко хлопнув дверью. Глотов тоже принюхался и уловил кисло-сладкий запах. И почудилось ему, что этот запах он знает уже тысячу лет. Глотов почесал ухо и опять принюхался. Мишка вернулся, сел и облегченно вздохнул — пухлые розовые губы его произвели звук, похожий на «тпру-у-у».

— Ну что за дело там у тебя? — Машка потянулся к чайнику и снял его с плиты. — Давай шибче, а то спать охота.

А Глотов все размышлял. И наконец решился. Не жена эти деньги, выходит, зарабатывает, а он сам, и ничего страшного, если попрошу, вот если бы жена...

— Деньги нужны позарез. — Глотов почесал подбородок и потрогал шею, словно проверяя, отросла ли щетина за день.

— Деньги? — Мишка отставил чайник и удовлетворенно чему-то усмехнулся. — Очень нужны?

— Очень, очень нужны, хоть помирай! — И от стеснения Глотов наконец закурил.

— А то кранты? — Мишка что-то прикидывал, теребя щеку и глядя на Глотова.

— А то кранты, — обреченно кивнул Глотов.

— Должок, что ль? — не унимался Мишка.

Глотов понуро кивнул.

— Так, — протянул Мишка, потом повторил: — Так... Ну что ж. Сколько?

Глотов поднял глаза и с надеждой посмотрел на собеседника:

— Много... Ну сотни три-четыре...

Мишка присвистнул и покрутил головой, мол, даешь.

Глотов развел руками.

— Я тебе дам денег, — после небольшой паузы сказал Мишка. — Только...

— Я скоро отдам, заработаю и отдам, ты не беспокойся, — заспешил Глотов. Потому что на душе у него враз полегчало, и ужасно ему не хотелось, чтобы Мишка все перерешил из-за недоверия, из-за сроков или еще чего там.

— Только, — продолжал Мишка, — ты мне поможешь.

— Хорошо, конечно, — закивал Глотов.

— Пойдем, — сказал Мишка и поднялся.

Они подошли к тому самому чуланчику. Щелкнула щеколда, и дверь распахнулась. Густо и душно пахло тем самым ароматом. И Глотов вспомнил, так пахнет брага. Мать его в Утинове изредка варила самогон к разным семейным праздникам. Мишка зажег свет, и Глотов ошарашенно растопырил глаза. Почти весь чуланчик был заставлен пол-литровыми бутылками с белой мутноватой жидкостью. А в углу на табуретке самодовольно поблескивала никелированная, любовно сработанная емкость литров на десять, и из краника, что был приварен в самого дна, тоненькой струйкой лился самогон в подставленное ведро.

— Высший класс, — Мишка повернулся к Глотову. — По последнему слову техники и науки, ни тебе змеевиков, ни жбанов, ни трубок и прочей чепухи. Комбайн. Производительность, как у лучших зарубежных фирм, только подкидывай сахарок, как дрова в печку. Прямо в институте сварганил.

Глотов прислонился к косяку двери и провел ладонью по лицу. Ему сделалось тошно. Больно заняло сердце,

и стало трудно дышать. Сладкий терпковатый запах забивался в нос и горло.

А Мишка как ни в чем не бывало нагнулся и хозяйски чуть прикрутил кран и деловито поправил ведро. И Глотову вдруг неудержимо захотелось въехать Мишке по его толстому задку. Мишка выпрямился и сказал:

— У себя на заводе сагитируй ребят и продавайте, дело простое, особо не криминальное. Ежели застукают, штрафом отделаешься, и все. Понял? У меня рынка сбыта пока хорошего нет. Трудно довериться, честных людей мало. После указа все трусливые стали. Того и гляди продадут. А ты мужик добротный, да и деньги тебе нужны...

— А без этого не дашь денег? — глухо спросил Глов.

— Не дам, — Мишка внимательно поглядел на термометр, прилаженный на боку аппарата. — Деньги надо заработать. Трудом, понимаешь. Трудиться надо.

— Но мне очень нужно, — тихо, но отчетливо проговорил Глов и спрятал сжатый кулак в карман.

— Всем нужно, — беззаботно ответил Мишка, поднял одну бутылку и взболтал ее. — Слезай! Нектар! Любовь!

— Сволочь! — выцедил Глов и спрятал вторую руку в карман.

— Что? — не понял Мишка, повернулся к Глову и, увидев ненавидящий взгляд, в испуге отступил на шаг. И этот испуг подхлестнул Глота пуще. Он размахнулся ногой и с грохотом и звоном снес целый ряд бутылок, потом еще один, и еще, а затем схватил обеими руками чан и ухнул его об пол. Звук был такой, будто в колокол ударили. Жбан прогудел низко и коротко, и эхо тяжелым гулом пробежалось по квартире. И через мгновение, когда гул стих, тонко завопили детские голоса где-то в глубине квартиры, и тотчас, вторым, завизжал Мишка. «А-а-а!» — не стесняясь, кричал он, мял с боков круглую, как мяч, голову руками и раскачивался из стороны в сторону. И всю эту жуткую картину — плавающие в белесой мути, скрюченные бутылочные осколки, поврежденный мятый жбан, обезумевший, всклокоченный Мишка, завалившийся вдруг на колени, — зловеще освещал медный свет от мелкой голубой лампочки, болтающейся на длинном перекрученном проводе.



— Сволочы! — переводя дыхание, сказал Глотон, окинул чулан еще разок и добавил с удовольствием: — Зараза такая!

Чуть не упав, тяжело развернулся на месте и, ступая на всю ступню, двинулся к выходу. Дети наконец умолкли, и уже у двери он услышал жесткий и громкий шепот Мишки: «Убийца! Убийца!..» В проеме комнатной двери неслышно возникло белое объемистое привидение и яростно сказало в спину переступающему порог Глотову: «Что б ты сдох, гад!»

В постель его не пустили, потому что от него безбожно несло сивухой. С трудом гася ненависть в сонном голосе, Лида выговорила:

— Возьми матрац на антресоли и дрыхни на кухне, пропойца!

Утром Глотова никто не разбудил, ни она, ни дети — Лида, видимо, взяла ребят и сразу повела их в садик. Он проснулся, сел на матраце в мятых брюках и жеваной рубашке и закурил. Привычно едкий дым от «Примы» немного прояснил ватную со сна голову.

Глотов никак не мог вспомнить, какая такая замечательная мысль пришла к нему вчера ночью, когда он лазал на антресоли за матрацем. Но вот, слава богу, вспомнил, обрадовался, заулыбался. Он вчера там чемоданы видел и большие белые тюки. Чемоданы были массивные, из толстой кожи, с крепкими ремешками и никелированными замочками. Он и не знал, что в доме у них такие имеются. Видать, Лида купила на всякий случай, и ему забыла сказать. Но с чемоданами-то, бог с ними, его интересовали тюки. Там, верно, вещи старые, ненужные, отношенные уже, но раз хранятся, значит, не совсем негодные. А раз так, то их можно на рынке, в комиссионку сдать, глядишь сотню-другую и выручишь. А ежели Лида озлится, так он и скажет ей, я, мол, тебе вон какую денгу намерен принесть, забыла, что ль? Ничего, поорет, поорет и успокоится, не впервой. А у него ведь дела поважней, ему ж камень с души снять надо, огромный такой, черный многотонный камень...

Чтобы до тюков добраться, надо было сначала снять чемоданы. Глотов потянул один на себя и обмер. Чемодан был неподъемный. Вот те на. Что ж там, кирпичи, что ли? Он поднапрягся, покряхтел, выволок чудище наружу, с грехом пополам опустил на пол, помял ухо в нерешительности и стал открывать чемодан. Когда крыш-

ка откинулась, Глотов вдруг задышал часто, и стало невозможно стоять — ноги непонятно почему ослабли, хотя ничего такого ужасного в чемодане и не было. Аккуратно сложенные, а иные упакованные в цветастые пакетики, там лежали легкие кофточки, пестрые заграничные платья... Глотов вынул их, под ними оказались джинсы, трусики узенькие на молоденьких девчонок, бесстыдные такие трусики, лифчики, которых Лида сроду не носила, уж больно срамные, прозрачные, а потом опять кофточки, платья, брючки... и все лежалое, щедро занафталиненное... Чертовщина какая-то! Это дело надо перекурить! Глотов сел на табурет, чиркнул спичкой. Так вот, значит, деньги-то куда уходят. Вот почему она все кричит: «Мало, мало!» Вот почему обшарпанный такой я хожу, по три года из одних брюк не вылажу, вот почему картошку с дешевыми консервами едим, вот куда премиальные мои уходят! Но зачем?! Зачем?!

Он попил воды из чайника, прямо из носика, обтер губы, опять сел. Хранит. Бережет. Для кого? Наверняка все из моды давно вышло, а так и не относила ни разу. Глотов раздраженно покрутил головой: «Не понимаю, совсем не понимаю. Наверное, я дурак, полный дурак, кретин. Она понимает, а я нет!»

И точно, начал он вспоминать, сколько раз приходила Лида взмыленная, злая, ворчливая, все разворачивала тайком что-то на кухне, шуршала хрустящей бумагой. Он-то думал, с работы просто приходит уставшая, а это она из магазинов, из очередей, с поля боя, с Бородина...

А ему ничего не говорила, потому что за дурковатого считает, за не умеющего жить, за иждивенца. Ну Лидка, ну Лидка!.. Вот дрянь! Вот... Глотов пнул босой ногой чемодан, он закрылся с легким хлопком, и с крышки густо взметнулась пыль.

Глотов побрился, надел другую рубашку (всего у него их было две), сложил в полиэтиленовый пакет двое джинсов и две кофточки и побрел к входной двери.

Когда он вышел, всю палило солнце, а потом неожиданно его завесило облачко, темное как туча, но маленькое и рваное. Оно не полностью заволокло диск, и кусочек поутихшего солнца лимонно высвечивался поверх него. И теперь на улице было и не пасмурно, и не солнечно, непонятно как, серединка на половинку, и от этой непонятности Глотову сделалось неуютно и пакостно. Он поднял плечи, сунул мешок под мышку, а руки впихнул в карманы. Порывами задул неожиданно сты-

лый ветер, то с одной стороны, то с другой, и стало совсем грустно, и Глову показалось, что ничего не будет, то есть вообще никогда ничего у него не будет...

— Далеко ль собрался, зятек? А зятек? — Глов вздрогнул от голоса, и большое мускулистое тело его напряглось, будто в ожидании, что за голосом последует еще и выстрел. Он опасливо повернул голову и узрел свою тещу Людмилу Васильевну. Она стояла на другой стороне улицы и, оперев руки в боки, подозрительно глядела на Глова. Лицо у нее было толстое и потное — теща не переносила жару и каждым летом говорила, что на сей раз обязательно помрет, но, к изумлению своему, не помирала и от этого непонятно почему злилась и обвиняла всех в коварстве.

Лида прописала ее через два года после свадьбы (каким волшебным образом это ей удалось, никому неизвестно), но Людмила Васильевна с ними не жила, она по дешевке снимала комнату на Дмитровском шоссе у одной своей деревенской подруги — той жилось скучно и ничемно, вот она и отдала теще комнату. Раз в неделю она приезжала к дочери, помогать убирать квартиру.

Теща стремительно перешла дорогу, даже не посмотрев ни налево, ни направо («Объедут», — всегда говорила она, с ненавистью глядя на автомобили), вплотную приблизилась к Глову и спросила:

— Ну?

Глова густо обдало луком и потом. Черт его дернул идти этой дорогой, он же знал, что она должна сегодня прискакать.

— Дык... — Глов не сообразил с ходу, что ответить, и развел руками. Пакет упал и тихонько зашелестел, разворачиваясь.

— Это еще что?! — с угрозой протянула Людмила Васильевна, переводя взгляд с мешка на Глова. — А?! Что спрашиваю?!

Шумно выдохнув, как штангист перед рывком, она грузно нагнулась, ухватила пакет пухлыми красными пальцами и распрямилась, вытаращив от усилия глаза.

— Лидочкины вещи! — ужаснулась она. — Лидочки моей вещи! Кровью и трудом заработанные! Годами копили, не ели, с ног того, валились... А ты, стервец!.. Ах ты, негодяй! — От слова к слову голос ее повышался. — Мы тебя кормим, поим, а ты воровать, воровать, да?! Продавать понес?! Алкоголик! Бандит! Люди, посмотри-



те! Это что же делается?! Что же делается?! — Теперь она уже кричала: — Вор! Ворюга!

Готов зажмурился до кровавых кругов под веками и свирепо гаркнул, не открывая глаз.

— Ма-а-лчаты!!

Он гневно перевел дыхание, и когда Людмила Васильевна умолкла разом, то ли от громкости крика, то ли от испуга, процедил отчетливо:

— Я не вор, поняла?! И никогда им не был! Поняла?! И не буду! Поняла?! А ты вот возьми и сожри это шмотье, все равно ведь не носит никто! Все равно в равные ходите, мля!..

Он наконец открыл глаза, но Людмилу Васильевну поначалу и не увидел, вернее — увидел, но очень расплывчато, не контрастно, потому что слезы дрожали на ресницах и застилали зрачки. Он, как ребенок, двумя руками отер глаза, не глядя на тещу, повернулся и пошел прочь.

Всю неделю Готов приходил домой поздно, когда жена и дети уже спали. Лида, может быть, и не спала, но делала вид, что десятый сон уже видит, когда он осторожно заглядывал в комнату, чтоб узнать, дома она или нет. Она с ним не разговаривала, и не звонила ему с работы, и не оставляла ничего поесть, и Готов сам себе покупал продукты и сам готовил. Выходило не очень вкусно, но терпимо.

Спал он на матрасе и совсем привык уже жить на кухне. Он мог там и покурить лежа, и водички попить, не ходя далеко, и из холодильника чего достать, практически даже и не вставая с матраса. Но чаще, когда приходил, сразу засыпал, раза два даже забыв раздеться, потому что он теперь работал еще на Павелецкой дороге, слава богу, в черте города, укладывал шпалы. Работа была зверская, однако платили замечательно, тридцатник в смену. Уставал смертельно, но настроение зато у него теперь не такое было паршивое, плохонькое оно, правда, было, но не такое гадостное все-таки, как раньше. К тому же и Зотов и впрямь хорошим мужиком оказался, сдержал слово и помог Готову в кассе взаимопомощи получить триста рублей.

В один из вечеров, когда он возвращался с работы, показалось, что увидел того, низенького, с которым был ТАМ, в той квартире. Подбежал, ухватил яростно за

плечо, развернул к себе, хотел вдарить для начала, чтоб разговор добрый получился, но, к несчастью, это совсем другой мужичок случился, он затрясся мелко и чуть в обморок не упал, и пришлось Глотову тащить его на лавочку и приводить в чувство...

В субботу поутру пересчитал он причитающиеся ему двести рублей за работу, приложил их к тем, что получил в кассе взаимопомощи и сотню из аванса, надел чистую, самим выстиранную рубашку, и старательно отутюженные брюки, побрился тщательно, наодеколовался, выпил чаю горячего, покурил, посидел на дорожку, словно в дальний-предальний путь собрался, сунул толстую пачку в карман и вышел из дому.

Возле метро в киоске «Союзпечати» купил газету, зашел за киоск, оглядевшись по сторонам, вынул пачку из кармана, завернул ее аккуратно в газетный лист, примял пачку, чтоб поменьше она была, сунул ее обратно, а остальную газету скомкал и выбросил в урну. Когда у самого уже входа в метро был, увидел на шоссе, у тротуара лошадь, впряженную в чистенькую телегу.

Глотов остановился, взялся зачем-то рукой за щеку и, наклонив голову набок, заулыбался глупо. Вот те на! Лошадь в городе, в столице! И на миг все исчезло вокруг, и машины, и люди, и дома, остались только лошадь и солнце, белое, палящее, и вместо домов холмы зеленые выросли, вместо мостовой речка потекла искрящаяся, веселая, свежестью манящая. Как во сне, подошел Глотов к лошадке, погладил нежно проплешинки, запустил пятерню в гриву, живым гребешком расчесывая ее.

— Ах ты, бедная моя, — пробормотал Глотов, тербя жесткое ухо животного.

— Приезжий? — раздался тихий, низкий голос за спиной. — Деревенский?

Глотов обернулся. Распутывая вожжи, на Глотова усмешливо глядел широколицый рыжебровый мужик лет сорока пяти. Был он в резиновых сапогах, в теплом штопаном пиджаке, в черной кепке.

Глотов смутился, что застали его за такими нежностями, а затем и разозлился, что смущение свое показал.

— Местный, — без особой любезности сказал он, нехотя шевельнув губами, и добавил почти сквозь зубы: — Москвич.

— А, ну понятно, — не скрывая иронии, протянул

мужик и, кряхтя, взобрался на телегу. — И коренной небось. Коренной, да?

Готов тяжело поглядел на мужика и промолчал.

— Я вот тоже коренной, — слабо усмехнувшись, заметил мужик. — Ага, из-под Владимира. Такой коренной, прям страшное дело. Пятнадцать лет на «Серпе и молоте» вкалывал, а потом рраз — и к лошадам... Вот так, брат, потянуло, понимаешь, к лошадам. А домой не поехал. Чего не поехал — сам не знаю. Вот и маюсь, вот и маюсь. Чего не поехал... Но!

Он хлестнул лошадь по крупу. Та вздрогнула и потопала, сухо поцокивая по асфальту. А мужик так и не взглянул больше на Глотова.

Готов постоял еще минуты две, глядя вслед телеге, потом почесал грудь под рубашкой и сказал беззлобно:

— Ну и черт с тобой...

И пошел к метро.

Почти через час он уже шагал по тому самому переулку, где стоял ТОТ дом. И в субботний день переулок был пустынный и тихий, словно люди по нему никогда не ходили, а уж про автомобили и говорить нечего, не шелестели они здесь ни в какие времена своими скатами, не коптили свежий воздух прозрачным дымком. Из открытых окон вкусно пахло едой, чем-то жареным и острым, слабо доносились оттуда невнятные голоса, и кое-где мурлыкал телевизор, или магнитофон, или проигрыватель.

Возле самого дома Готов заволновался. Напряглась спина, засадило затылок, руки сделались непослушными, тяжелыми. Готов обтер руки о рубашку и вошел в подъезд. Пока ждал лифт, прислонился лбом к прохладной стене, потому что запыхал лоб, словно обгорел с непривычки на палящем солнце. Неприличную надпись про Варьку в лифте так и не закрасили. Готов за то время, пока ехал, старательно затирает ее слюнявым пальцем. Вышел он этажом выше. По лестнице спускался мягко, неслышно, как в кино про преступников или про разведчиков показывают. Уже у самой двери перевел дыхание, потер грудь там, где сердце. Дверь уже починили, косяк был новый, свежеевыкрашенный, а на дерматине темнела аккуратная заплатка.

— Так, — сказал Готов и полез в карман за деньгами. Он оставит деньги у двери, на половичке, позвонит



и убежит. Этажом ниже остановится и послушает. Если дверь откроется, то все в порядке; если нет, тогда до следующего этажа. Газета развернулась, и из пачки виднелся уголок сиреневой бумажки. Готов стал ее снова заворачивать, но ничего не выходило. Он вспотел, пальцы дрожали и не гнулись.

— Зараза такая, — пробормотал Готов и помял мочку уха.

И тут свет, яркий, дневной, ударил ему по глазам. Это открылась соседняя, что справа, дверь. На пороге громоздилась массивная дама в халате. Из-за плеча ее взглядывал редковолосый мужичок с круглыми удивленными глазами.

— Чем это вы тут занимаетесь, гражданин? — громко воскликнула дама. Она уперла руки в круглые тяжелые бедра и чуть подалась вперед. — А? Я за вами десять минут в глазок наблюдаю.

«Десять минут, так долго, не может быть», — машинально подумал Готов и отступил, цепenea, на шаг.

— Дверь сломать хотите?! — еще громче проговорила дама и бросила через плечо мужичку. — Лева, звони в милицию!

И добавила уже тише, задыхаясь от негодования:

— Ворюги чертовы, давить вас надо! Меня еще на старой квартире два раза грабили, ублюдки! Я вас!

Ничего уже не соображая, Готов попятился назад. Шаг, еще шаг, еще. И покатился кубарем по лестнице. Пока катился целый пролет, выронил сверток, чуть пришел в себя, поднялся и дальше вниз уже бежал привычно и сноровисто, разом перескакивая через три ступеньки. Вылетел из подъезда, полусогнувшись, головой вперед, будто кто пинка ему под зад дал. Выскочив в переулок, вильнул налево и помчался к шумной и людной улице. Мелькали люди, дома, витрины магазинов, киоски. На какой-то улице вскочил в проходящий троллейбус, протиснулся в самый угол, отдышался с грехом пополам, отфыркиваясь и потряхивая головой. Огляделся мутноватым взором, заметил, что смотрят на него все как-то странно, будто на пьяного, или на сумасшедшего, или на преступника. «На преступника», — механически повторил он про себя и, опустив голову, выбрался из троллейбуса на следующей остановке и тут же пересел в другой, что следом шел. Там свободней было и тише, и люди друг на друга и на Готова тоже, слава богу, никакого внимания не обращали. Он уперся лбом в стекло

и стал смотреть на улицу. Остановки через две мелькнула за мостовой голубовато вода. Москва-река? Пруд какой? Глов вышел из троллейбуса, перебежал дорогу — захотелось на воду ему посмотреть, он с детства любил на нее смотреть, завораживала его вода. Если долго-долго глядеть на нежную невесомую гладь ее, то совсем в другие миры перенестись можно, в безоблачные, радостные, счастливые, где все друг друга любят, помогают друг другу, заботятся и очень от этого счастливы.

Не пруд это был и не Москва-река, это был бассейн «Москва». Вот те на, бегал-бегал, а все вокруг центра крутится. А ведь думал, что удрал куда далеко. А все оттого, что это время в прострации, в оцепенении пребывал, смотрел вокруг и не видел ничего, вглядывался и не узнавал, другим, верно, голова была занята. А чем? Страхом? Нет. Страх он не чувствовал. Реального страха не чувствовал, того самого, который сердце колотиться заставляет, и коленки дрожать, и ладошки потеть, когда милиционер к тебе подходит или двое в штатском замедляют шаг и смотрят пристально. Этого нет. Значит, отчего-то другого он незрячим стал? А вот посмотрим на воду и узнаем, она подскажет. Успокоит и подскажет, и пусть даже это бассейновая вода, стерилизованная, никакая, в бетон закованная, чужой волей строго дозированная. Глов спустился к бассейну, не по лестнице, а прямо по газону зеленого склона. Спустился и щемяще пожалел о вытоптанной травке. Вернулся назад — ползком на коленях попробовал заровнять рваные ямки от каблучков, но увидел несколько пар недоуменных глаз наверху, застеснялся, сполз обратно, отряхнулся и зашагал торопливо вокруг бассейна. Когда голубая чаша открылась ему полностью, остановился. Сунул руки в карманы, вздохнул, посмотрел на голубизну. Не получится ни черта у него — не та вода. Или он не тот. Вырос. Взрослый стал. По-другому все видит. В сказки не верит. Сказки... Точно. Все миры, что в мозгу у него рождались, когда он на воду смотрел, — это от сказок, вспоминавшихся вдруг детских сказок. Еще два-три года назад верил он, что есть другой мир, добрый и безмятежный, и сыну об этом говорил, что есть он, обязательно есть, только найти его надо — уметь искать надо. А теперь вдруг понял, что нет его. Нет. Нет. Нет. Что же он детишкам теперь говорить будет?

Глов побрел обратно, к мостовой. Шел медленно,

рассеянно глядел себе под ноги и вдруг стал понимать, что ему не так уж скверно, как еще несколько минут назад, что он почувствовал прилив сил, слабый еще, но все же, а все оттого, что голова вдруг сделалась ясной, думалось легко и думалось много и как-то для него самого неожиданно, словно это не он сам думал, а какую-то умную книгу читал, и еще ему показалось, будто в мозгу плотина какая прорвалась, сдерживающая раньше поток этот и выпускающая на волю только строго определенные, нужные лишь для сносного существования мыслишки.

Он огляделся, отметил, что находится уже у самой лестницы, взбежал по ней легко и стремительно, немножко красуясь своей ловкостью. Налево посмотрел, направо, раздумывая, куда податься. Потом вперед посмотрел. Большой дом с колоннами увидел, двор перед ним, чугунным литым забором огороженный, и очередь разглядел, вдоль забора по тротуару тянущуюся. Интересно ему стало, что там такое, пойти посмотреть надо. Пересек мостовую, подошел ближе, милиционера строгого увидел у входа во дворик, а возле него щит, а на нем написаны слова: «Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Выставка картин эпохи Возрождения». А ниже этих слов плакат с репродукцией картины какой-то. И на картине той красуется всадник на поджарой мускулистой лошадке, вернее — на коне, это Глов вмиг определил. Коник был как настоящий, с бархатистой кожей, стройный, устремленный вперед, вот-вот готовый сорваться с места и помчаться стрелой, и страсть как захотелось Глову увидеть эту картину живьем, не на плакате. Да и ко всему прочему, может, там еще какие картины с лошадками есть. И Глов пошел в конец очереди. Пока шагал, разглядывал людей. Разглядывал и дивился — какие-то они не такие, эти люди, не такие, каких он привык в городе видеть, в метро, в автобусах, магазинах — худее они, что ли, или нет, вон и толстые стоят; печальнее? — тоже нет, вон двое заливаются, давятся смехом; вольные, небрежные? Тоже нет, но другие, другие.

Глов встал в конец очереди и настроился терпеливо ждать. Скоро за ним еще люди встали, а за теми еще, и через полчаса человек двадцать-тридцать за ним гомонилось. Глов внимательно прислушивался, о чем они говорили, но понимал мало, хотя слова все были русские, знакомые, а вот разобраться в смысле того, что говорят,



было почти невозможно — что-то про дух, про настроение...

А еще через полчаса к тротуару подъехал темно-зеленый «рафик» с надписью «Телевидение» на дверцах, и оттуда вышли три парня. Один из них, что постарше, бородатый, вытащил из машины кинокамеру с треногой и поставил ее на тротуар, почти у самой очереди, двое других, волосатых, возились с микрофонами и негромко ругались.

Кончив препираться, пошли вдоль очереди, пристально вглядываясь в каждого. Наконец выбрали кого-то, направили на него лампы, яркие, добела раскаленные. Бровастый усмешливый мужчина в дорогом костюме что-то деловито проговорил в микрофон, и бородатый все это снял. А волосатые опять пошли вдоль очереди. И тут один из них остановился возле Глотова, окинул его оценивающим взглядом, спросил отрывисто: «Профессия?» — и Гловот ответил автоматически: «Токарь». Волосатый крикнул в спину второму: «Вова, это то, что нужно». Махнул рукой, и тут же зажглись лампы, и застрекотала камера, а бровастый заговорил радостным голосом:

— Люди совершенно различных профессий интересуются великим искусством. Потому что оно гениально, а значит, понятно всем. Только что мы с вами разговаривали с доктором наук, а сейчас наш собеседник — токарь. И я уверен, что он пошел сюда не потому, что это модно, престижно, для настоящего труженика, я думаю, таких понятий просто не существует, а потому, что потянула его чудодейственная магия живописи...

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут? — Парень поднес микрофон к Гловоту.

У того запылали уши, а потом лицо. Он качнулся. «Не волнуйтесь», — доброжелательно сказал кто-то сзади. «Я не волнуюсь, — хотел ответить Гловот. — Просто мне нельзя. Это не про меня. Перепутали». Он отер лоб — на коже проступила испарина, отвел рукой микрофон, пробормотал едва слышно: «Перепутали», вышел из очереди и двинулся по тротуару, мимо машины, мимо милиционера, опять не видя ничего вокруг.

А потом увидел троллейбус, скрипуче подкативший к остановке. Гловот быстренько побежал и вскочил в него в самый последний момент, полез в карманы и нашел там только две монетки, пятак и гривенник. Поискал еще, но безрезультатно. Вот так. Столько денег еще час-

полтора назад в руках держал, а теперь вот пятак и гривенник. И ему стало очень обидно за эти так глупо потерянные шесть сотен. Теперь их наверняка прикарманит эта горластая корова, прикарманит и глазом не моргнет, и не станет раздумывать даже, и потратит их на какую-нибудь дребедень, и положит эту дребедень в сундук впрок, и будет там эта дребедень гнить до самой ее смерти. А это ж ведь его деньги, личные, собственные, тяжким трудом заработанные, а она — в сундук! Черт! И Глотов хватанул себя по колену кулаком. «А почему я говорю: «мои деньги»? — подумал он неожиданно. — Совсем не мои деньги, это вор... чужие деньги, и никакого права я на них не имею. А что теперь делать? Опять заработать и опять отнести к той же квартире, положить в почтовый ящик. Ах ты, господи! Точно, надо было сразу положить в почтовый ящик. Ах ты, господи! Голова садовая! Так, значит, заработать и отнести? А не глупость ли это? Ведь украдено-то больше, гораздо больше...»

Ох, как раскалывается голова, гудит, распухает... А впрочем, что страшного произошло? Ну и украл. Да не я один краду, вон жена рассказывала, как у них в больнице у больных взятки берут врачи и сестры, и ничего, живут припеваючи. А раз все воруют, то почему и мне нельзя? Раз всем закон побоку, то почему мне он указ?.. Да чхать я хотел! Украл, и слава богу, доволен должен быть... Только жалко, что деньги потерял... Нет, нет, нет, все не то, не то... Ой, как плохо, как тошно, выпить бы сейчас... Выпить... выпить..., и провалиться в сладкое забытье, уснуть и не проснуться... Господи, о чем я, о чем?! Душно здесь, тесно, жмет со всех сторон железная коробка, и нет мочи уже в ней находиться. Чудится, что так и не выйдешь отсюда никогда, останешься навеки. На воздох, на волю! Скорей!

Повеяло ветерком, легким и душистым. Откуда здесь, в городе, душистый ветерок? Глотов потряс головой, помотал ею из стороны в сторону, вздохнул, огляделся. Господи! Опять вода. Где это он? А, Крымский мост, набережная Москвы-реки. Паршивенькая водичка, мутная, зелено-коричневая и вязкая, словно всю грязь из города в ней размешали. В такой даже топитья противно. Глотов угрюмо усмехнулся. Вроде полегчало, раз шутить начал. Ну и ладненько. На той стороне изумрудом отсвечивали на солнце пышные деревья, серебрился над самой почти рекой огромный горб кегельбана, а дальше в

глубине сонно вращалось «чертово колесо» и еще какие-то хитросплетенные пестрые железки торчали над деревьями — видать, аттракционы. И ко всему прочему слышалась с той стороны ритмичная, веселая музыка. Вот так, в отличие от него, дурака, отдыхают люди, радуются жизни, да просто выходному дню радуются. И он тоже когда-то радовался выходному дню и веселой музыке. И совсем недавно это было. Неделью назад? Две?.. Вот пойду сейчас туда и тоже буду скакать козлом, и кататься на аттракционах, попить холодную «Фанту», и глазеть по сторонам. Он пригладил волосы, оглядел себя со стороны, заправил выбившуюся рубашку под ремень, обтер потные ладони о брюки и пошел к мосту.

«Фанты» Глотов не попил — очередь как за воблой, даже у фонтанчика с обычной водопроводной водой спрашивают: «Кто последний?» И на аттракционах покататься не сумел, к ним просто не подойдешь, тройным кольцом толпа их окружает, и все ругаются друг с другом, норовят первыми влезть, даже детишек расталкивают. Глотов насупился и пошел искать тихое местечко. Весь парк обошел и нашел-таки. «Кто ищет, тот всегда найдет». В тенистом, заросшем уголке возле решетчатого забора, за которым отдыхали поливальные машины. Отдохну, подумал Глотов, покурю и пойду.

Минут через пять другую лавочку заняли пятеро потных, возбужденных парней, они разом закурили, стали сплевывать — харкаяюще — под ноги и материться. Потом один из парней — приземистый, коротко стриженный и самый горластый (глянув на него сбоку, Глотов на миг затвердел лицом, показалось опять, что наконец того, низенького, углядел), достал из сумки две бутылки вина, откупорил их, и парни стали пить по очереди из горлышка. Глотову стало противно, безотчетная злость уже понемногу вскипала в нем. Но все бы ничего, если бы не вышла неожиданно из-за деревьев в тот момент усталая полная женщина лет пятидесяти и не направилась, припадая на опухшую ногу, к свободной лавочке. Когда она оказалась прямо против парней, то поскользнулась вдруг на влажной, не просохшей еще после ночного дождя земле и неуклюже упала на бок. Сумочка вылетела из ее рук и приземлилась возле парней. Низенький гоготнул, а вслед за ним загремели молодыми глотками остальные. А низенький встал, нарочито вежливо поднял сумочку и, держа ее двумя пальцами, стал



дождаться, пока женщина поднимется. Кряхтя и постанывая, та поднялась наконец. Низенький с полупоклоном подал ей сумочку. Женщина улыбнулась робко и поблагодарила низенького. У Глотова потемнело в глазах. И он шестым чувством, спинным мозгом понял, что сейчас ему себя не остановить. Вся боль, вся тоска, вся ненависть к этому неправильному миру, к себе самому, что скопились в нем за последние дни, сейчас пульсирующими толчками рвались наружу. Он медленно, очень медленно встал, набычился, чуть приподнял руку, развел их в стороны и неожиданно мягко для его грузной комплекции пошел к парням. Они почуяли опасность, исходящую с его стороны, и повернулись к нему все разом. Уже в двух шагах от них Глотов рывкнул:

— На колени!

Глядя стылыми глазами в упор на низенького, он подошел ближе и гаркнул снова с еще большей силой:

— На колени!

По лицу низенького было видно, что он еще толком не сообразил, в чем дело. Он вроде как обалдел от такой наглости и машинально стал подниматься с лавочки, чтобы не глядеть на Глотова снизу вверх, а хоть как-то с ним уравниаться. Но когда он встал, то все равно смотрел снизу вверх, потому что ростом был Глотову по середину груди. Наконец он начал приходить в себя, прищурился, оглядел своих корешков и, вытянув вперед подбородок, спросил развязно:

— На перо просишься, дядя?..

— Ах ты, гриб! — мотнул головой Глотов, подумал секунду и добавил: — Ворюга! — стремительно поднес руку к голове низенького, накрыл широкой ладонью его лицо и толкнул легонько. Но это только самому Глотову показалось, что легонько, а на самом деле толчок был достаточно сильным потому, что голова у низенького запрокинулась и сам он полетел на лавочку.

Краем глаза он уловил, что парни напряжились и были готовы к драке. Они только ожидали сигнала от низенького. А тот пока молчал, обтирая пот с лица.

— Ну?! — Глотов нехорошо оскалился.

— Пошел ты на...! — выпалил низенький и снова вскочил, как Ванька-встанька. И тогда Глотов сгреб его в охапку и потянул к земле.

— Мочи его! — сдавленно взвизгнул низенький, и Глотова ударили в ухо, потом в лоб, потом кто-то заехал

ему ногой по пояснице. Но он не отвечал, он гнул низенького к земле. Тот хоть и хлипкий на вид был, но жилистый и сопротивлялся отчаянно, и Глотову требовалось немало усилий, чтобы сгибать его. Пронзительно кричала женщина, матерились и хрипели парни, обрабатывая Глотова со всех сторон. Он шатался, голова его болталась из стороны в сторону, но с тупым упорством он продолжал делать свое дело. Кто-то справа настойчивыми и довольно сильными ударами мочалил Глотову ухо.

Вдруг что-то лопнуло со звоном в затылке, горячая волна ударила в голову, вспыхнул красный свет перед глазами, и Глотов рухнул на утоптанную, заплеванную землю.

— Зачем бутылкой-то, козел?! — сквозь забытье услышал он и провалился в чернильную темноту...

Чьи-то жесткие, крепкие руки, подняли его, усадили куда-то, что-то холодное, мокрое, мягкое ко лбу прижали, а потом Глотов ощутил на языке кисловатый привкус «Фанты». Ну вот наконец и попил водички. Он слышал далекую музыку, возбужденные голоса и даже шорох листьев на деревьях. Глотов открыл взбухшие веки и увидел перед собой некрасивое лицо молодой женщины, ее длинные, встревоженные глаза с белесыми, будто выгоревшими ресницами. В одной руке женщина держала пустую бутылку «Фанты», а другой рукой оттирала Глотову лицо мокрым платком. Правее он разглядел двух строгих парней с повязками дружинников, крутоплечего бородатого мужчину и ту самую пожилую женщину, из-за которой все началось. Бородатый потрясал кулаком, женщина суетливо жестикулировала, а дружинники подозрительно глядели на них, словно раздумывали, сейчас их арестовать или погодить чуток, дать выговориться.

Вот бородатый мотнул головой, как бы с досады, повернулся в сторону Глотова и позвал:

— Марина, иди сюда, чертовщина какая-то выходит, ничего им не объяснишь.

Марина заглянула Глотову в глаза, улыбнулась сухим крупным ртом и, кивнув, спросила ласково, как дитенка малого:

— Ну как! Лучше?

— Лучше, — глухо выдохнул Глотов через разбухшие губы. — Спасибо...

— Вот и чудесно. Погодите немного, я сейчас...







Женщина поставила бутылку на лавочку, приладила мокрый платок у Глотова на голове, прямо на темечке и пружинистым шагом направилась к дружинникам. Строгого, прямого фасона твидовая юбка до половины скрывала полные икры, а плечи длинного пиджака были пухлые и широкие, и со спины женщина выглядела коренастой и приземистой. «Мода, что ль, такая? — подумал Глотов и осудил тотчас: — Дурацкая».

— Ох, все из-за меня, все из-за меня, — завздыхала вдруг женщина, с которой все началось. Тонкие седые волосы выбились из-под гребешка и пепельно отсвечивали, и казалось, что над головой у женщины мерцает нимб. — Такая беда, такая беда, и хороший человек пострадал ни за что.

— Все в порядке, — шевельнул губами Глотов. — Нормально.

— Как вы? — Бородатый прищурился и тотчас хмыкнул, а потом не удержался и хохотнул. Глотов нахмурился и с недобрим удивлением уставился на него. Вслед за Бородатым не сдержала смехок и Марина, и та женщина, с которой все началось, тоже заулыбалась. Глотов обалдело смотрел на них и никак не мог понять, в чем дело. Он наклонил голову, оглядел себя и тотчас что-то белое заслонило левый глаз. Глотов машинально отмахнулся, и влажный платок свалился с его головы. Так вот над чем они смеются. Уж очень нелепо он, здоровый, хмурый дядя, выглядел с этим платком. И он тоже засмеялся, и ему стало хорошо, впервые за все эти дни он почувствовал что-то похожее на радость. Он был в центре внимания, и внимание это было искренним и добрым. Он поднял платок, встряхнул его, сложил аккуратно и протянул Марине:

— Спасибо большое.

— Лазарет на лавочке, — сказал Бородатый. — Передвижной медпункт. Доктор Марина Клокова оказывает первую помощь пострадавшим от стихийного бедствия с ласковым мужским названием «Портвейн». — Он серьезно посмотрел на Глотова. — Что же это вы, здоровый сильный мужчина, не могли оказать сопротивления этим пьяным соплякам? Или сами того? — Он щелкнул себя по шее.

— Я не пьяный, — Глотов насунился.

— Тогда почему?

Глотов молчал.

— Ну что ты пристал к человеку? — подала голос Марина. — Он еще в себя не пришел. — Она ловко наклонила голову Глотова к себе. — Ах ты, господи, опять кровь, рассекли, мерзавцы, кожу на затылке. И вправду надо в медпункт. Где тут медпункт?

— Ага, — сказал Бородатый и сунул руки в карманы протертых джинсов. — Чтобы там травму зарегистрировали и вызвали милицию. И начнут его, бедного, таскать туда-сюда. А тех пятерых давно и след простыл.

— Верно, — Марина задумалась, прищипывая нижнюю губу. — Тогда к нам.

— Ну-ну, — сказал Бородатый и с сомнением посмотрел на Глотова.

— А что прикажешь делать? Не оставлять же его здесь? — В голосе у женщины появились жесткие нотки.

Мужчина пожал плечами:

— Как хочешь.

— Все. Встали и пошли, — быстро скомандовала женщина. Она была врач, и для нее начиналась работа.

Она помогла встать Глову, попрощалась с женщиной, с которой все началось, и торопливо пошла вперед по тропинке. Вслед за ней двинулись Бородатый и Глов.

Идти было тяжело. В ушах стеклянно позванивало, а ноги были как чужие.

Бородатый, его звали Валентин, поддерживал Глотову и, отвлекая его, бодренько рассказывал:

— Мы шли мимо, вон там, за деревьями. Вдруг слышим шум, крики, звон какой-то. Ну, думаю, драка. Немного струсил, человек все же. А мимо пройти не могу, понимаешь. Я же спортсмен и преподаватель, студентов добру учу, понимаешь, да и вообще... Толком даже и не раздумывал. Ну вот, вбегаем с женой в эти самые кусты, там тебя лупят, да так смачно, что у меня аж задрожало все внутри. И тут я как заорю: «Всем стоять, гады, милиция!» — и свистнул, как милицейский свисток, я умею так, могу показать. Ну а эти шалопаи врассыпную, с хрустом и треском через кусты, как лоси. А потом дружинники прилепали к шапочному разбору и говорят, что ты пьяный и хулиганил, и хотели тебя в отделение отвести. Вот так.

У выхода из парка они сели в такси. Ехали молча. Марина прижимала к его затылку холодный мокрый платок, и это было очень приятно, и Глов, совсем уже

оклемавшийся, все хотел спросить, куда же они все-таки едут, но так и не спросил до конца пути. Ему было неудобно. Он подумал, что своим подозрительным вопросом может оскорбить людей, которые желают ему добра. Так мало людей, которые просто так, ни за ради какой-то там выгоды, желали ему добра.

Марина и Валентин жили недалеко, в середине Ленинского проспекта, в солидном кирпичном доме послевоенной постройки.

Когда Глотов вышел из машины, ему почудился легкий запах керосина и слабый горьковатый аромат дыма от печки, и на несколько мгновений он так явственно ощутил, что он у себя в Утинове, что даже заволновался: а не теряет ли он сознание на ходу? Он где-то про такие штучки читал.

Квартира была трехкомнатная, очень чистая и очень светлая. В прихожей их встретил серьезный, аккуратно причесанный мальчик лет десяти. Он улыбнулся Марине и Валентину и вежливо, совсем по-взрослому пожал руку Глову и представился: «Сергей». Валентин потрепал его по шее — мальчик снес это достойно, хотя по темным большим глазам его видно было, что такая фамильярность ему претит, — и сказал гордо: «Мой старший. Очень талантливый. Моя надежда». Мальчик, извинившись, ушел в свою комнату, а Глотов и Марина провели в просторную, заставленную самой необходимой мебелью гостиную.

Марина сказала с осуждением:

— Опять ты его хвалишь? Зачем? Портишь ведь.

— Ерунда, — резко возразил Валентин и махнул рукой. — Наоборот. Человек, если он талантлив, должен знать, что он талантлив. Это прибавляет ему сил и уверенности в себе...

— И самомнения, и тщеславия, — перебила его Марина, роясь в многочисленных ящиках приземистого современного серванта.

— Ну хорошо, хорошо, — примирительно выставил ладони Валентин. — Время рассудит. Я пошел в ванную. Если надо помочь, крикни.

Марина наконец нашла то, что нужно, какие-то железные коробочки, бинты, вату, унесла все это на кухню, вернулась, сняла жакет, приказала и Глову раздеться до пояса. А он стеснялся, улыбался глупо и все говорил тихо и слабо: «А может, не надо, может, и так



сойдет». Но она решительно сняла с него рубашку, положила на плечи ему холодную скользкую клеенку, отчего у Глотова мурашки побежали по спине, наклонила голову и стала выстригать волосы возле раны. И Гловот покорилося и молчал, и ему было очень хорошо, и легко, и даже как-то умильно на душе, точно так же, как в детстве, когда мама вот так же сажала его решительно на табурет и стригла жесткие, непослушные мальчишеские волосы.

А потом он даже чуть не заснул под ласковыми женскими пальцами. Марина опять ушла и опять вернулась с железной коробкой. Через минуту Гловот почувствовал режущую боль, но он молчал, стиснув зубы. Если бы страдание было во сто крат сильнее, он тоже бы молчал, умер бы, но молчал... Наконец все кончилось. В затылке, правда, все еще стучало болью, но приглушенной, затухающей.

— Я зашила вам рану, Володя, — сказала Марина, подавая ему рубашку. — Отдыхайте, сейчас будем обедать.

Она удалилась на кухню, а через минуту явился Валентин, бодренький, улыбчивый, волосы и борода у него были влажные, и от него пахло мылом.

— Обычно гостям показывают семейные альбомы, — сказал Валентин, устраиваясь рядом. — Я не исключение. Но фотографии здесь немного другого рода.

Валентин перевертывал толстые картонные страницы, шелестел папиросными вкладышами и комментировал каждую фотографию. Оказывается, они с Мариной и с друзьями — спортсмены-туристы, каждый месяц ходят в походы с разной категорией трудности, и у Валентина даже есть какой-то разряд, Гловот не запомнил какой, и на этих снимках запечатлены разные интересные моменты этих походов. Валентин рассказывал смешно и очень интересно, — вот здесь у них унесло плот, здесь они спасали мальчика-пастуха из-под какого-то обвала, а вот тут они варят уху, а вот тут поют песни. Говорил, как походы сплывают, что все становятся как родные и что у походников самый высокий дух коллективизма, агитировал Глотова ходить в походы, потом рассказывал туристские анекдоты, и Гловот хохотал до саднящей боли в зашитом затылке, а Марина кричала из кухни, что она тоже хочет посмеяться...

Гловот был очень благодарен Валентину, что тот ничего не расспрашивал про него самого, про Глотова.

Потому что если бы тот стал расспрашивать, то Глотову нечего было бы и рассказать, если только наврать, а врать он как-то не любил с детства, да и повзрослев, тоже не научился...

А затем Валентин стал говорить про себя, что ему сорок лет, что время идет, но ничего, он еще покажет, засядет и разработает тему так, что академики ахнут, что просто дела отвлекают, бытовая текучка на работе, да и походы тоже хотя и помогают, но время все-таки крадут. Валентин порозовел, глаза его возбужденно блестели, и каждую фразу он заканчивал ударом кулака по столу. А Глотов поддакивал ему искренне, потому что верил, что Валентин обязательно засядет и напишет такую диссертацию, что все ахнут. А Валентин говорил уже про то, какой его работа даст экономический эффект, о том, какой она сделает переворот, шум и бум...

— Хватит! — Голос Марины прозвучал тихо и властно.

А Валентин вскинул на нее глаза, и смутился, и замешкался. Суетливыми движениями закрыл альбом, положил его на диван. А Глотов удивился: чего-то она так его обрывает, и чего, интересно, он испугался?

— Положи скатерть на стол, — уже мягче сказала Марина и, улыбнувшись, кивнула Валентину.

Глотов чувствовал себя как в раю, ему было хорошо, как никогда, и казалось, что этих людей он знает тысячу лет и всю эту тысячу лет преданно и бескорыстно их любит, и сказали бы ему сейчас: умри за них — и он умер бы, не раздумывая.

Обед был вкусный и разнообразный, и Глотову очень хотелось есть, но он старался есть мало, чтобы не подумали, что он невоспитанный или из голодного края, он сидел прямо, как аристократы в кино, и старательно манипулировал ножом и вилкой.

Потом Валентин попросил сына показать Глотову, какие у него врожденные математические способности. Глотов называл астрономические цифры, а Сережа их складывал, делил, множил и даже извлекал корень, Глотов смеялся и восторженно повторял: «Ух ты!»

После обеда Валентин и Сережа, извинившись, ушли в комнату, на пять минут, как они сказали. Глотов и Марина остались одни. Глотов хотел курить, но спросить позволения не решался. Марина некоторое время внима-

тельно смотрела на него, а потом неожиданно спросила:

— Вы из деревни, Володя?

Готов кивнул.

— Давно?

— Шесть лет.

Марина покачала головой, расправила скомкавшуюся на углу скатерть:

— Мой муж тоже был деревенский.

Готов удивленно посмотрел на дверь.

— Нет, нет, не Валентин, — она слабо улыбнулась. — Мой первый муж. Он погиб. В автокатастрофе. Он был шофером. Толей его звали. Вы очень похожи на него, Володя. Я как увидела вас, лежащего, так чуть плохо не стало, так похожи. Мы пять лет всего прожили. Я вышла за него в девятнадцать. Он был очень хороший и добрый, и искренний, и сострадательный. Я с ним на практике познакомилась, в Смоленской области. Вы очень похожи, — она как-то странно посмотрела на Глотов, он страшно смутился и опустил глаза. — Он очень был беспокойный, все чего-то искал, за всех и за все переживал, мучился. И все домой рвался, меня изводил. А я же не могу там, я же горожанка, — она мягко свела губы и спросила после паузы. — И мне кажется, вы тоже такой же, да?

Готов ничего не ответил и, в свою очередь, стал разглаживать скатерть. Откуда он знает, какой он? Разве задумывался когда-нибудь над этим — жил и жил себе без затей.

— ...Я шесть лет потом не могла ни с одним мужчиной встречаться. А потом стало страшно, я ведь совсем одна, родители умерли давно. Стало страшно одной, и когда Валя предложил пойти замуж, я сразу согласилась...

— Он хороший, — наконец сказал Глотов только для того, чтобы что-нибудь сказать, а не сидеть тупым чурбаном.

— Хороший, — согласилась Марина. — И мы с ним ладим. Только ладим, и все.

— А чего еще надо? — удивился Глотов. — Чтоб мирно было и тихо. И дети чтоб были... Квартира у вас есть, и мебель, — он нахмурился, каким-то вторым слогом сознания сообразив, что говорит что-то не то.

— Да, да, конечно, — опять согласилась Марина. — Все есть, все есть... И спокойствие есть, очень много



спокойствия, чрезмерно много. Вокруг Валентина спокойствие и пустота, и он заполняет эту пустоту походами, нелепыми проектами и другой чепухой.

Глотов никак не мог взять в толк, почему она говорит все это с почти нескрываемой горечью, ведь дружная, нормальная у них семья, все как у людей — и квартира, и достаток, и ребенок, такой умный и такой воспитанный, и относятся Марина и Валентин друг к другу с уважением, это сразу видно (Глотов считал, что глаз у него наметанный, разные семьи он видывал). Наверное, все бы хотели так жить?

— А вообще, все у нас замечательно! — Марина словно подслушала мысли Глотова. Она улыбнулась весело и широко, выпрямилась на стуле, запустила пальцы в густые черные волосы, откинула пряди назад. — Все отлично, все чудесно! Все у нас тихо и гладко. Мы образцовая семья.

— Ну вот, конечно, — Глотов обрадовался, что теперь все ему понятно и именно так он все и увидел в этом доме. — Очень хорошая у вас семья, можно позавидовать.

Марина только покачала головой, поднялась и начала собирать посуду со стола. А Глотов опять заметил, что глаза у нее стали совсем безрадостными. Почему?

Не его это дело, конечно, но все-таки почему? Значит, чего-то не хватает? Может быть, денег? Любви? Но любовь-то, наверное, есть, раз живут вместе и не скандалят, не злобятся, ладят. Когда ладят, это и есть любовь...

— Вы женаты? — спросила Марина.

— Да, — ответил Глотов. — И дети есть. Двое.

— И все у вас хорошо?

Глотов дернул болезненно щекой и, испугавшись, что Марина это углядела, стал тереть щеку пальцами, будто она зачесалась. Марина едва заметно усмехнулась краешком губ и попросила:

— Помогите мне.

Когда они вернулись в комнату, Валентин и Сережа с довольными, раскрасневшимися лицами уже сидели на диване.

За спинами они что-то прятали.

— Ну, мать, теперь гляди, — торжественно произнес Валентин и вытащил из-за спины грузовичок размером с коробку из-под обуви.

— Ну и что? — с нарочитой усмешливостью подна-  
чила Марина.

— А вот что, — не сдержавшись, выкрикнул воспи-  
танный Сережа.

Он схватил машину, что-то покрутил сбоку, поста-  
вил ее на пол, и автомобильчик побежал по паркету,  
рокоча и металлически позвякивая. Валентин и Сережа  
завизжали от восторга и бросились вслед за машинкой,  
чтобы остановить ее, а то ударится, не дай бог, обо что-  
то и поломается.

— Мы ей мини-моторчик приделали, — сказал Се-  
режа, подняв машинку высоко над головой. — Полго-  
да с папой работали. Это подарок Саньке.

— Санька, наш младший, он сейчас за городом, с  
садом, — объяснила Марина Глотову, а потом она за-  
цокала восторженно языком, закачала одобрительно  
головой и похвалила: — Молодцы, ну молодцы, вот  
Санька обрадуется.

Мальчик снова поставил машину на пол, она шустро  
покатилась в прихожую, а Сережа и Валентин опять бро-  
сились за ней, хохоча.

Марина смотрела им вслед и пощипывала пальцами  
нижнюю губу.

Потом все смотрели телевизор, шла передача «Кино-  
афиша», где представляют, какие картины будут идти в  
кинотеатрах в этом месяце. Валентин с сыном внима-  
тельно вглядывались в экран и то и дело о чем-то спо-  
рили, то танки Валентину не понравились, то Сережа  
запальчиво твердил, что шестиклассники такими слова-  
ми не разговаривают, и все это неправда, и придумали  
все это какие-то глупые дяди. Марина ушла, потом вер-  
нулась, стоя посмотрела немного телевизор, усмехну-  
лась какому-то глубокомысленному замечанию Вален-  
тина, подошла к нему, поцеловала в затылок, потом по-  
целовала и Сережу, а они этого даже и не заметили.  
Почувствовав на себе взгляд Глотова, она повернулась  
к нему, — он сидел на диване, — потерла лоб, якобы  
случайно, закрывая ладошкой глаза, и скорым шагом  
вышла из комнаты. Его никто не гнал и не намекал, что  
нужно уйти, но он сам сообразил, что уже пора. Им за-  
нимались, когда ему нужна была помощь, а сейчас все  
в порядке, и квартира зажила своей обычной, повседне-  
вной жизнью, и в этой жизни Гловых был уже лишним.  
А уходить ему не хотелось, но он понимал, что надо. Он  
поднялся, поправил рубашку, старательно разгладил ла-

дошками помявшиеся брюки, сказал в затылок Валентину:

— Ну пошел я, и так уж задержался.

— Досмотрел бы передачу, — не оборачиваясь, отозвался Валентин.

— Да надо уже.

— Ну что ж, — Валентин полуобернулся, протянул руку: — Заходи, коли рядом будешь.

Готов пожал руку и сказал:

— Спасибо вам, — потом пожал хрупкую ладошку и Сереже.

— Ну пошел я, — сказал он, заглянув на кухню. Марина отставила кастрюлю с плиты, вытерла руки о фартук, валявшийся на стуле, подошла к Глову почти вплотную:

— Я очень рада, что познакомилась с вами, Володя, — она открыто, не смущаясь, смотрела ему в глаза. — И защищайте себя, как положено, независимо от настроения, независимо от чувств, которые вас одолевают. Вы же ведь могли этой шантрапе взбучку дать? Ведь правда?

— Правда, — тихо ответил Глов. Ему захотелось вдруг поцеловать эту грустную милую женщину.

— Дайте, я вас поцелую, — просто сказала она, взяла его за шею, притянула к себе, а сама встала на цыпочки. У Глова закружилась голова, и он зажмурился.

Когда он открыл глаза, Марина была уже в прихожей.

— Запишите мне ваш телефон, — вполголоса попросил он.

Марина покрутила головой:

— Нет, Володя, не надо. И больше не приходите сюда. Мне будет тяжело. Все, идите, — она подтолкнула его к двери.

— Дык... — Глов растерянно развел руками.

— Идите, идите. — Марина щелкнула замком.

Дверь за спиной захлопнулась, и Глов остался один, совсем один. Он вышел на лестничную площадку, медленно спустился к окну, суетливо пошарил по карманам, нашел «Приму», обломал две спички, наконец прикурил. Порывисто затянулся и невидяще уставился в окно. Ну вот, все и кончилось. И надо было возвращать-



ся в прежнюю жизнь, а сил уже не было. Он это понимал. Он это чувствовал — всем существом, каждой клеточкой. И Глотову даже не хотелось выходить из подъезда, потому что казалось, что там на улице его встретит душный, зловонный буран, он будет забиваться в горло, легкие, будет вертеть его из стороны в сторону, как тряпичную куклу, назойливо и колко лезть под веки... Глотов поежился, бросил сигарету и пошел вверх по лестнице. Он тяжело и размеренно ставил ноги на ступени и думал. Уехать в Утинов, к старенькой маме? Но и там будет то же самое. Куда бы он ни укатил, хоть на самый Сахалин, там все равно будет то же самое. И в квартире у Валентина и Марины он тоже не смог бы спрятаться, даже если бы ему и позволили это сделать. Он поднялся уже на три этажа. Солнце приветливо светило в окна, но там, у подъездной двери, его ждал буран. Он это знал. Еще два этажа. Все рассказать? Кому? Боже мой, кому?! Дальше был чердак. Все, хода нет. Последний этаж. Глотов шагнул к окну, глянул вниз. Высоко. Люди пестрыми горошинками перекатываются по двору. Хорошо, что окно выходит во двор, неожиданно деловито подумал Глотов. Он вынул сигареты, опять закурил, затянулся три раза и бросил сигарету на пол. Склонился, щелкнул шпингалетом, выпрямился, потянулся к верхней задвижке, с едким писком открыл раму, затем то же самое проделал со второй рамой, тоже открыл ее. Свежий ветер вмиг освежил потное лицо, и кожа натянулась на скулах, как после купания. Глотов, крихтя, влез на подоконник, держась за раму, сделал полшага, нога повисла в воздухе. Он сдвинул веки. Сейчас... Но что-то не пускало его. Никак. Он открыл глаза, оглянулся. Рука судорожно вцепилась в раму, побелевшие пальцы одеревенели. Глотов попытался их разжать, не вышло. Он постарался оторвать их левой рукой, и опять не вышло. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и осторожно сполз на пол. Пальцы как приклеились к раме.

— Вот карусель, — сказал он и мотнул головой. Захотелось курить. Он увидел догорающий окуроч, машинально нагнулся, и рука отклеилась от рамы. Глотов мелко засмеялся. Откуда-то снизу потянул сквозняк, вторая рама задребезжала стеклянно и захлопнулась со свирепым треском, рассыпчато звеня, посыпалось разбитое стекло. Глотов вздрогнул и выронил окуроч. Струйки пота щекотали ему щеки. Скрипнула дверь на

этаже, потом послышались решительные шаги, и внизу лестничного марша появился мужчина с недовольным костистым лицом. Он был в летней милицейской рубашке с белыми погонами. «Капитан», — машинально отметил Глов.

— Ну? — спросил капитан, стряхивая крошки с губ. Он, видимо, только что пообедал. — В чем дело?

Глов медленно покрутил головой, мол, ничего, все в порядке, затем не спеша закрыл на щеколды обе рамы, ногой задвинул осколки в угол, повернулся и стал спускаться. Капитан с интересом смотрел на него.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПЕРЕГОН

3

### ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ СМОТРЕТЬ НА ВОДУ

297



Псурцев Н. Е.  
П 86 Перегон : Повести. — М. : Мол. гвардия,  
1989. — 343[9] с., ил. — (Стрела).

ISBN 5-235-00390-X

Герой повести «Перегон» — сотрудник одного из НИИ — становится свидетелем преступления. Скрыв на следствии многое из того, что удалось ему заметить, герой стал в положение косвенного соучастника. Постепенно проявляется главное — не может человек стать борцом со злом, если не борется со своими недостатками, если движет им всего лишь желание доказать, что люди хуже его самого. Изживая в себе эти недостатки, герой в конце концов находит выход из духовного тупика, принимает пусть запоздалое, но единственно верное решение. Вторая повесть — «Человек, который любил смотреть на воду» — о том, как душевная апатия, равнодушие к собственной судьбе могут привести к преступлению. Повести написаны в остросюжетной форме.

П 4702010201—005  
078(02)—89 — 177—89

ББК 84Р7

ИБ № 6049

**Псурцев Николай Евгеньевич**

**ПЕРЕГОН**

**Заведующий редакцией В. Володченко**

**Редактор Г. Бынова**

**Художник В. Васильев**

**Художественный редактор К. Фадин**

**Технический редактор Е. Брауде**

**Корректоры Т. Пескова, В. Назарова**

Сдано в набор 27.06.88. Подписано в печать 29.11.88. А13609.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура  
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-  
отт. 18,9. Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р.  
Заказ 1749.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-  
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».  
Адрес ИПО: 103030. Москва, Сущевская, 21.

**ISBN 5-235-00390-X**

2 руб.